



Содержание

Страница главного редактора
«Мой Град Креста» 3

ПРОЗА

Идиллия Дедусенко
История странной любви Повесть 15
Александр Мосинко
Мой милый Мальчик 97
Владимир Петров
Наследство Повесть 119

ПОЭЗИЯ

Анатолий Маслов
Стихотворения 5
Станислав Подольский
Стихотворения 89
Вера Чубченко
Стихотворения 259

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Николай Блохин
О Сургучеве 263

КРАЕВЕДЕНИЕ

Виктор Кравченко
Исторические новеллы 281

Сведения об авторах 313



Литературное
Ставрополье
№ 3_
(2017)



ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2017 г. № 3.

Адрес редакции:

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.

Тел.: (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: А.А.Рудометова

Дизайн, верстка: С.В. Плясова

Сдано в набор 10.06.2017. Подписано в печать 20.06.2017.

Формат 130x200 84x108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 10,6.

Заказ № 5532 Тираж 979 экз.

ООО «Алатырь» Россия, 115114, г. Москва,

2-й Кожевнический переулок, дом 1

ISBN 978-5-906930-47-7



Мой Град Креста

...Почти полвека назад ступил я на твою землю юношей, одиноким и потерянным от разлуки с донской землей. Помню, каким ты был тогда! Особняки с венецианскими окнами, соседствующие с хатенками и высотками; малолюдзе на улицах, обилие сирени в палисадниках, брусчатка на Кавалерийской, разносящиеся по ночному городу голоса петухов и перестук колес поезда, запахи пирогов в коммунальных дворах... Всё это придавало тебе вид провинциальный и степенный, и походил ты на задумчивого старца, смотрящего из-под руки в осеннее небо, где смутным призраком проблескивают очертания Эльбруса...

Ты не знал меня, а я – тебя. И первая эта отчужденность томила, заставляла уезжать к родителям, в родной хутор. Там всё было близким с детства и понятным. И земляки казались мне своими, гораздо добрей, чем хозяйки квартир, где ютился в годы студенчества. Однако жизнь несла вперед, исподволь давая присмотреться к городским пейзажам, привыкнуть к названиям улиц и окраин, скверам и аллеям, где я назначал свидания девушкам. И ты странно помолодел, наполнился моими однокурсниками и друзьями. А литературная студия негаданно свела с названным «старшим братом» – Александром Мосинцевым, выдающимся поэтом. Саша стал наставником и человеком, которому я



**СТРАНИЦА
ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА**





смог довериться. И ты еще больше подобрел и открылся как-то по-новому – точно улыбнулся и посулил удачу. И она на самом деле заметила меня, и одарила встречей с любимой, разделившей со мной судьбу, уже перед самым отъездом...

Целых семь лет я приезжал к тебе урывками. Ты беспрестанно менялся, – центральные улицы обретали вид краевой столицы, размахистыми кварталами прирастал на юго-и северо-западе, развивал индустрию. И когда я окончательно вернулся полноправным горожанином, – понял, сколь усложнилась жизнь во всех проявлениях! Я стал частью тебя, и ты, вселив терпение и уверенность, направил мои устремления к творческой работе. В маленькой комнатухе, у окна, затененного яблоней и шиповником, написал я свои первые книги.

И это взаимное сближение душ наших, узнавание друг друга продолжается и поныне! С возрастом появляется некое шестое чувство, – умение воспринимать особую энергетику места, земли, святой обители. Уверен, что твое духовное обаяние проистекает от ауры, которую оставили предшественники, твои великие жители. Их множество: казаки-хопёрцы и губернаторы, меценаты-купцы и священники, учителя и писатели, ученые и архитекторы, краеведы и рабочие, инженеры и врачи. Сопричастность с ними дает мне силы! Знал ты и грозные времена, и кровь, и разруху, и голод. Но и купался в розах, оглашался счастливым смехом и победными залпами, гремел свадьбами...

Ты, Ставрополь, позволил мне испить жизнь полной чашей. Здесь встретил я людей, которых не просто полюбил, но прирос к ним сердцем. И познал силу ответных чувств! Однако ты испытал меня и злоумышлениями клеветников. Господь простит их, но не я, грешный...

А сегодня хочу побыть с тобой наедине. В тишине летнего вечера. Смотри, за Таманским лесом пламенеет закат. Помолчим, дорогой. Пусть громче поет счастливая птаха!

Велением свыше дано мне нести свой крест земной в Граде Креста. Открыто и честно, невзирая на летящие вдогон камня.

На то перст Божий – и воля моя.



Матери

Бабе лето. Красивая осень
Укрывает подворье листвою.
Моя бедная матушка спросит:
- А какой нынче день? Год какой?

Прошуршит тихим шагом к калитке
И обратно бредет на крыльцо.
Что-то шепчет себе, и в улыбке
Просветлится в мгновенье лицо.

Что ей вспомнится? Годы какие?
К сердцу радость какая прильнет?
Когда были с отцом молодые,
И любовь была сладкой, как мед?

Мою душу сжимает в тревоге,
Я смотрю со слезами ей вслед.
Сколько в жизни осталось дороги
Моей маме на этой земле?

Так продлись же, красивая осень,
Чтобы мама по саду тропой
Здесь ходила счастливая очень
В хороводе листвы золотой!..

...И казалась такой молодой!

Ласточка

Я убил касаточку. Она
Радостно над крышами порхала...
Светлая в тот год была весна
И печали ласточка не знала.



**АНАТОЛИЙ
МАСЛОВ**

ПОЭЗИЯ





Под стрехой в коровнике жила.
Желторотых птенчиков ждала,
По утрам о чем-то щебетала.

- Божьи пташки!.. Не чини им зла,-
Бабушка мне часто говорила,-
Гнезд не разоряй их, внучек милый...

Я убил касаточку пращой.
Так, на вскидку, выстрелил я в небо.
Там живая ласточка еще
Ликовала. То мгновенье мне бы
Вдруг вернуть...
Упала с высоты
Щупленьким комочком мне под ноги.
Вздрогнул я и замер, как застыл
Среди пыльной хуторской дороги.

Плакал слезно, Боженьку просил
Покаянно, чтоб меня простил.

Горе горевал свое негромко
До вечерней сумрачной зари.
У колодца ласточку зарыл,
Крестик ей поставил из соломки.

... Ласточки покинули наш дом...
Отломилось старое гнездо...
Годы шли. Но больше никогда
Ласточки не свили здесь гнезда.
С тех далеких отроческих лет,
Только вспомню –
Мне покоя нет!..



Н. Черенкову

Не бывал я в Кайеркане
И не знал твоих печалей.
Меня ветер на аркане
Здесь, к степи родной, причалил.

Но мои степные вьюги,
Как и вьюги Кайеркана,
Тоже милые подруги –
Врачевали в сердце раны.

Выходил я на дорогу,
Растворялся в круговерти,
И водил меня – ей-богу! –
По степи просторной ветер.

Братья риска и азарта,
Мы дурачились и пели,
А за нами аж до марта
Увивались все метели...

*Посажу этот сад
и построю здесь дом*

И вырос сад, и сад был спилен,
И разлетелись сыновья.
Но я, болезнью обессилен,
Сажаю новый сад, друзья.



Вон внук бежит передо мною,
И внучки радостно снуют,
И я хочу, чтобы весною
В моем подворье был уют.

Чтобы опять под отчим небом
Мой изумрудный сад шумел,
И мой потомок, где б он ни был,
Спешил в свой родовой удел.

Чтоб ощутил здесь крепь и корни,
Чтобы любил отчизну так,
Чтоб лютый враг и непокорный
Русь обходил за сто атак.

Не вздыхай, душа, напрасно
Перед этим скорбным видом...
Моя родина ужасно
Заболела снова, видно.

Всюду ржавые бурьяны
Там, где раньше полевые
По лугам цвели тимьяны
И лазорики живые.

Все не так уже, как было:
Нет радости, веселья.
Оттого и жизнь постыла,
В сердце смута и безверье.

Побредем, душа, к погосту,
Поскорбим там о потерях...
Будет срок, и нам по росту
Милой родины отмерят...



Н.

Какая осень бродит по садам,
Заманчиво расхристанная осень!
Цветные сарафаны тут и там
И платица мелькают среди сосен.
Но скоро тлен притронется к кустам,
И небосвода вылиняет просинь.

И закружится в суматохе дней
Зима, зима, пушистая подруга!
Я знойным летом тосковал о ней,
О песне той, что запевала вьюга;
По легкому скольжению саней
До горизонта призрачного круга ...

Душа давно желает перемен...
Но не спеши ты бросить ногу в стремя,
А вдруг прелестной осени взамен
Нас ждет судьбы неодолимой бремя?!

...Ах, осень, осень!
Я люблю твой плен!
Пусть медленно, как мед, стекает время!..



Памяти друга

*О, дай мне, Бог, уснуть в покое
У праха матери родной.*

Н. Черенков

Земная кончилась дорога,
Со скрежетом арба судьбы
Твой гроб доставила к порогу
Буни,* где все одни гробы.

Но счастлив ты: твоя могила
Приют желанный беглеца –
У изголовья мать почила
И тут же, рядом, прах отца.

Чего же ты искал в скитаньях?
Какая призрачная высь
Тебя манила на свиданье,
Мечта какая или мысль?..

Ты не искал себе кумира,
Но к славе шел ты, как Нерон,**
И жаждал страстно, чтобы Лира
Навеки забрала в полон.

И сожалел, что шлейф миражный
Остался, где прошла судьба,
Что пропустил момент свой важный...
А жизнь надменна и груба.

И вот - увы! - весной березка
Зашелестит у ног твоих.
Как прошлой жизни отголоском,
Прошепчет твой надгробный стих.

*Буни – мир мертвых в мифологии некоторых народов мира.

**Нерон Клавдий Цезарь Август Германик – римский император; любил петь, сочинял пьесы и стихи



Без корня и полынь не растет.
Русская пословица.

Е.А.

Задрожит, словно марево, свет
И откроется далью ковыльной
В той стране, где затерян твой след
На дороге проселочной пыльной.

...Нам дано возвращаться всегда
В хутора и в родные станицы,
Где в ярах ключевая вода
Нам остудит горячие лица.

Побредешь по знакомым местам,
По земле, что досталась в наследство,
Поклониться отцовским крестам,
Отыскать след далекого детства.

Как на крыльях взлетишь на курган
Огнеликому солнцу навстречу,
И расстелется сразу к ногам
Снизу луг, что цветами расцвечен.

Здесь течет голубая река,
И, как будто от быстрой погони,
Мчат на выгон от Егорлыка
Сквозь столетья казацкие кони.

Дух полынный плывет по холмам,
Запах родины душу тревожит.
Помолитесь святым образам:
Дай земле нашей радости, Боже!



Мне нравится бродить по пустырям,
Когда метет листву осенний ветер,
Или слетает снег под ноги, светел,
Вокруг меня и дальше – по полям.

Какой простор откроется душе!
Какие чувства захлестнут неожиданно,
Когда над белым пологом тумана
Степное солнце выскользнет уже.

Я так люблю весенние ручьи –
Их гомон и журчанье в половодье;
Когда цветы на солнце хороводят,
Поют в садах скворцы, кричат грачи...

Я думаю о родине светло.
И счастлив я, когда мальчишек стайки
Вдруг выпорхнут на пруд или лужайки,
И, значит, живо отчее село.

Заблудилась случайно пичуга
У меня в медоносном саду.
Бог с тобой, оставайся, подруга,
Пой, а я подыграю в дуду.

Щебетала она без умолку,
Затихали при ней соловьи,
Вдруг махнула за Дон иль за Волгу
Петь беспечные песни свои.

Улетай, улетай, не заплачу,
Коль исчез в твоей жизни испуг,
А в саду медоносном на даче
У меня столько певчих подруг!



Но душа у меня заболела,
Без вина стал я дерзок и пьян...
За три моря ль она улетела?
Или вовсе за тот океан?

Вспомню тебя – хмелею,
После душой страдаю.
Вижу тебя – немею,
Милая, молодая!

Как я тебя ревную,
Прав на то не имея,
Словно музу степную
В сердце моем лелею.

Вырву тебя из сердца,
Будто бы жизнь – вначале...
...Нет, никуда не деться
Светлой моей печали!..

Как вышло такое, мой друг:
Какой притягательной силою
Случилось сплетение рук
И губ, и сердец наших, милая?

Мы пьем, как хмельное вино,
Любовь второпях и отчаянно –
А вдруг перебродит оно?
А вдруг наша встреча случайная?



Пока нам понять недосуг,
Что завтра наступит похмельное,
И пить будем горечь разлук,
Как будет судьбой нам отмерено...

Разве тебя я выдумал
Синими вечерами?
Гляну в окошко –
 всюду май
Шастает за дворами.

Благоухает розами
Воздух, в садах цветение.
Хлещет лицо мне розгами
Ветер степной –
 сиренью.

В сердце моем любви дурман.
С ветром пойду шататься я.
Ах, поглядите, всюду май!
Ах, как цветет акация!

Снова скребется бес в ребро.
Разве пройду мимо я?
Глажу волос твоих серебро:
- Здравствуй, моя любимая!..



История странной любви

Повесть

1

...Это невероятно: я смотрю на себя будто бы откуда-то сверху. Я не слышу стука своего сердца и вижу, что лежу под белой простынёй. На ней несколько жёлтых цветков. Кажется, голландские хризантемы. Это осенние цветы, а сейчас зима. Наверное, их положила мама. Только она могла не пожалеть несколько сотен рублей, чтобы положить дорогие цветы на бездыханное тело сына.

Мама, тоненькая, хрупкая, в свои пятьдесят с лишним лет похожа на девочку с утомлённым лицом, но всё ещё очень красивая. Она стоит молча. Ни стенаний, ни слёз. Может быть, и она, наконец, поняла, что это лучший исход для моей жалкой, никчемной жизни.

Во мне зашевелилось что-то, похожее на угрызения совести: при жизни я доставлял ей много огорчений. Нет, «огорчений» - это слишком мягко сказано. Я был настоящим бедствием, сокрушительным цунами, которое разрушило всё, что она создавала своим трудом многие годы. Но, пожалуй, самым тяжёлым для неё стало ра-



ИДИЛЛИЯ ДЕДУСЕНКО

ПРОЗА





зочарование во мне, её сыне, с которым она связывала надежды на лучшее будущее. На лучшее для меня, потому что я, как считали многие, был наделён немалыми творческими способностями. А я всё погубил...

Может быть, жизнь моя сложилась бы иначе, если бы я поверил предостережению одной женщины. Это было в Лоо, маленьком местечке на Черноморском побережье. В начале девяностых, как ни трудно было, мама и бабушка старались вывезти меня и старшего брата Стаса, уже учившегося в школе, хоть на недельку на море, считая, что это укрепляет здоровье. В конце девяностых мне уже было двенадцать лет, и в это самое Лоо мы отправились вдвоём с бабушкой.

Ехали ночь на автобусе от какой-то фирмы, поселились в крохотной комнатухе, которых у нашего хозяина было десятка два. В ход шли и сарайчики, и палатки, и даже шалаши. «Удобства», разумеется, на улице, и при таком количестве постояльцев к ним всегда была очередь. Но мы мирились с этим, потому что за наши деньги лучшего не найдёшь, говорила бабушка.

К морю мы шли вдоль заросшей тиной речушки, источавшей неприятный запах, и было непонятно, то ли она втекала в море, то ли вытекала из него – всегда казалось, что вода в ней просто стоит. Местные рыбаки с утра устраивались здесь с удочками и даже умудрялись что-то поймать, видимо, угощение для своих кошек.

На повороте к пляжу стояли торговцы раковинами, засушенными крабами, бусами из мелких ракушек и другими сувенирами. Я с завистью поглядывал на эту «роскошь», а бабушка дёргала меня за руку и тащила дальше. Наш курортный бюджет не позволял тратить деньги на «безделушки». Но однажды я всё-таки задержался около одного из столиков и стал разглядывать огромные раковины необыкновенной



красоты. Смотрел с таким восхищением, что продававшая их женщина позволила мне взять самую красивую и приложить к уху. Я, как замороженный, слушал шум моря. Вот бы увезти её с собой, чтобы море, которое я любил самозабвенно, всегда было со мной! Но это была недостижимая мечта. Женщина, конечно, не могла подарить мне такую дорогую вещь, но понимала моё желание увезти с собой на память «кусочек моря». Она осторожно приняла из моих рук дорогую раковину и сделала знак подождать. Потом наклонилась и достала из сумки, стоявшей на земле, небольшой стеклянный шарик на маленькой металлической подставке. Протянув его мне, сказала:

– Бери. Денег не надо. Только смотри в него чаще – он предсказывает судьбу.

– Как это? – удивился я.

– Потом сам увидишь. Прежде чем совершить необдуманый поступок, посмотри в этот шар.

Я подумал, что это она так «воспитывает» меня, и засмеялся. Женщина улыбнулась, глядя на меня. Правда, улыбка её была очень странной, как будто женщина, морщась от боли, слегка растягивала губы. Её чёрные глаза будто сверлили меня, а голос, густой и низкий, звучал немного таинственно. Но я был так рад подарку, что тогда не придал этому никакого значения. Я держал в руке «кусочек моря»! Шарик был прозрачным, но довольно тяжёлым. Его нижняя часть имела цвет моря, менявшего оттенки в зависимости от освещения от зеленовато-бирюзового к лазурному и густо синему.

Это было занятно, и пока мы находились в Лоо, я почти не выпускал из рук свой драгоценный шарик, доверяя его бабушке лишь тогда, когда шёл купаться. А дома я поставил его на полочку секретера и первые несколько недель действительно, как и советовала женщина, сделавшая мне такой подарок, ча-



сто смотрел на него. Но шарик ничего не предсказывал. В моей жизни ничего не менялось. Я по-прежнему учился без троек, ходил в шахматный клуб при Доме культуры, в свободное время много читал. В нашей семье было повальное увлечение чтением, а книг в домашней библиотеке было столько, что к пятнадцати годам я прочитал уже почти всю русскую классику и многое из зарубежной.

Шарик, стоявший среди других сувениров, нечаянно задвинули за керамическую вазу, и я надолго о нём забыл. Наверное, потому, что перешагнул из детства в тот возраст, когда тянет уже к другим «забавам» – один из одноклассников, Дмитрий, а попросту Митяй, принёс полпачки сигарет, и мы с ним попробовали покурить. Нам понравилось. Я вспомнил вдруг о своём шарике: надо было прежде заглянуть в него. Поделился своим беспокойством с товарищем, но он категорично изрёк:

– Ерунда это! Какие предсказания? Муры всякой начитался...

И я успокоился, совсем забыв о своём шарике. До тех пор, пока...

...Я снова посмотрел на маму. Почему она стоит одна? Где же мои друзья, которых было так много при жизни? А впрочем, я вижу двоих, стоящих чуть в отдалении. Слышу, как они переговариваются шёпотом.

– Как это случилось? – спрашивает один.

– Нелепость какая-то, – отвечает другой. – Его нашли голым в сугробе на газоне.

– Ограбили, убили?

– Кто же может это знать, кроме него...

Я не совсем понимаю, почему я всё это вижу и слышу. Наверное, моя душа, всё ещё живая, незримо витает над телом. Возможно, благодаря ей я ещё долго буду наблюдать и свои проводы в последний путь, и то, как бу-



дут жить без меня мои близкие и те, кого я считал друзьями, и девицы, не претендовавшие на серьёзные отношения, и она, та, с которой и началось моё крушение.

2

Я открываю глаза и не сразу понимаю, где нахожусь. Вокруг много белого. Ну, на то она и зима. Хотя нет, это не снег. Это белые стены, белые кровати, белые люди... Вернее, люди в белых халатах. Наконец до меня доходит: я в больнице. А что же тогда мои похороны – всего лишь неприятный сон? Или это всё-таки моя беспокойная душа, которая будет витать где-то поблизости от тела ещё сорок дней, не даёт мне расстаться с прошлым? Ведь всё, что я сейчас видел, очень похоже на правду. И Лоо, и шарик, и книги, и первая выкуренная мною сигарета, и первый стакан вина – всё это было в моей жизни. Тяжёлые веки снова смыкаются, а мне кажется, что я слышу чей-то радостный возглас:

– Он очнулся! Он открывал глаза!

– Тебе показалось, – возразил низкий женский голос. – Смотри, я колю руку иголкой, а он не реагирует.

– Но я видела! – настаивал звонкий голос.

Мне хотелось вновь открыть глаза и подтвердить: да, я очнулся! Но сил не было ни на что, я не мог даже пальцем пошевелить, а веки словно склеились. Нет, никак не разомкнуть!

Пытаюсь понять, может, я всё-таки ещё жив? Хочу вспомнить, как попал в больницу, но перед закрытыми глазами почему-то опять всплывают картины детства. Беззаботного детства, когда жизнь представлялась мне гладкой дорожкой, расстеленной для меня заботливыми руками мамы и бабушки.

Отца не помню, потому что он умер в год больших перемен, которые потом назовут переходом страны



на рельсы демократии. Вслед за ним ушли в мир иной и его родители, а дед со стороны мамы умер за несколько лет до моего рождения. Я долго не понимал, как тяжело было малообеспеченным женщинам растить двух пацанов, когда в стране с довольно устойчивыми социальными условиями резко поменялся политический и экономический формат. На первый план выплыли деньги, а их-то у нас как раз и не было. Бабушкина пенсия в одночасье превратилась в жалкое пособие, и ей пришлось вернуться в научно-исследовательский институт, но на такую же жалкую зарплату. Мама после работы бежала из библиотеки вечерами к юным балбесам, чтобы вдолбить в их тупые головы хоть какие-то знания английского языка. Бабушка живёт в соседнем городе, в трёх часах езды от нас. При первой возможности она приезжала и привозила деньги. В общем, они обе старались сделать всё для того, чтобы мы с братом не чувствовали себя ущемленными.

Неполноценность собственной жизни я стал ощущать в старших классах, когда начал понимать, что такое разный достаток. Угораздило же меня попасть в друзья к сыну местного миллионера! Мы учились вместе с первого класса, и я часто бывал у них дома ещё тогда, когда его отец, как и мой, был обыкновенным инженером. В новых условиях он быстро сориентировался и занял свою нишу в торговле новой бытовой техникой. Они обзавелись коттеджем. Бывая у них теперь, я остро ощущал разницу между их и нашими возможностями. Но я не завидовал Владу, нет! Я не завидовал его заграничным шмоткам, довольно крупным ежедневным суммам на мелкие расходы и даже мобильнику, которым из тридцати учащихся нашего выпускного класса владел он один. Но я видел, что благодаря такому замечательному финансовому положению семьи Влад обладает внутренней свободой. Он знал, что его не накажут за разбитое стекло,



за грязные следы, оставленные в школьном коридоре, за сорванное собрание. А впереди у него – прекрасное будущее, обеспеченное отцовскими деньгами. Мне хотелось чувствовать себя таким же свободным, так же пренебрегать мелкими замечаниями учителей, и я невольно ему подражал. Но если его неурядицы легко утрясал отец-миллионер, выделявший время от времени деньги на нужды школы, то мои, как говорится, выходили мне боком. Бабушка, приезжая к нам с очередной финансовой поддержкой, недовольно качала головой, слушая мои рассказы о том, что мы с Владом опять вытворили на потеху классу, и предостерегала:

– Что бы он ни сделал, его отец откупится, а у тебя нет отца, и помочь тебе в случае чего некому. Ты должен понимать, что твоя судьба зависит от тебя самого.

Я не хотел понимать ничего. Жизнь всё время как-то устраивалась без моего участия. Так зачем же было ломать голову раньше времени? Но вдруг появилась первая угроза: математика! Алгебра, геометрия, тригонометрия... Я не очень-то вникал в суть этих предметов, они мне не нравились, а я с некоторых пор привык делать только то, что мне нравится. Мне уже давно не нравилось учиться вообще. Из хорошиста я превратился в троечника, а в перспективе засветились двойки по ненавистой математике. Чтобы получить аттестат, а не справку, пришлось взять в репетиторы нашу же учительницу (за бабушкины деньги, разумеется).

– Просто удивительно, почему учителя не могут дать нужные знания за зарплату, а когда становятся репетиторами, у них это получается, – ворчала бабушка, выделяя нужную сумму.

Аттестат я всё-таки получил. Там стояли почти одни тройки, но я, интеллигент в четвёртом поколении, понукаемый мамой и бабушкой, полез в университет. Они же готовили меня к вступительным экзаменам, заставляя сидеть за учебниками с утра до вечера.



– Вот поступишь, выучишь два языка – английский и немецкий, это откроет дорогу на телевидение, – убеждала бабушка.

Но, как я ни старался, по результатам входившего тогда в моду ЕГЭ мне не хватило двух баллов, чтобы поступить на бюджетное отделение. Снова понадобились деньги, чтобы официально оплатить учёбу. Предусмотрительная бабушка давно собирала их именно на эти цели, и я стал студентом престижного факультета в университете.

3

Наш факультет находился в новом корпусе. Этот дом-красавец, похожий на дворец, как утверждают старожилы, построили на месте бывшей водокачки, стоявшей здесь, в центре города, ещё с начала двадцатого века. Мне понравились и само здание, и большая светлая аудитория, и весёлая шумная суета, которая всегда возникает там, где собирается хоть небольшая группа молодёжи. Моё самолюбие тешило такое значимое сейчас для меня слово «студент». Далекое не всем моим одноклассникам удалось поступить хотя бы в колледж, не говоря уже об институте, а тем более об университете. А я сумел доказать, что чего-то стою, несмотря на аттестат с тройками.

В аудитории я увидел несколько знакомых лиц – мы сдавали экзамены в одно время. Крепкий паренёк, примерно одного роста со мной, широко улыбаясь, подошёл ко мне:

– Так ты тоже прошёл? Это хорошо, я тебя ещё на экзаменах приметил.

– Что, понравился? – так же дружелюбно и полушутливо отозвался я.

– Понравился! – не стал отпираться он. – Что-то в тебе есть...



– Породу издалека видно, – нескромно пошутил я, и мы вместе засмеялись.

– Андрюха, – представился он.

– Павлуха, – в тон ему ответил я.

С тех пор на всех лекциях и практических занятиях мы сидели вместе.

У Андрюхи не было никаких пристрастий, кроме одного: он любил выпить. Не сильно, но часто. Кружечка пива после лекций – это святое. Звал меня, но я первое время редко составлял ему компанию. Тогда у меня был другой интерес в жизни: музыка. Я не играл ни на одном инструменте, не знал нот, но просто балдел от рок-групп. Афишами модного в ту пору немецкого «Рамштайна» были оклеены в нашем доме все двери и шкафы. Я знал репертуар этой группы наизусть и часто пел школьным друзьям под старенькую гитару, оставшуюся от отца. Узнав, что в университете существует ансамбль именно такого направления, я пошёл записываться.

Пятеро ребят и одна девушка посмотрели на меня с интересом. Особенно девушка! Как оказалось, солистка ансамбля, студентка второго курса филфака. Я объявил им о своём желании войти в их группу. Четверо ребят и девушка посмотрели на высокого художавшего парня, сидевшего за клавишами. Он поднял голову, спросил:

– А что ты умеешь?

– Я пою!

Это было смелое заявление, но я рассчитывал на удачу, потому что узнал, что бывший солист ансамбля покинул его, так как закончил обучение в университете, завёл семью и пошёл работать – ему не до самодеятельности. Клавишник кивнул мне:

– Ну, давай! Что будешь петь?

Я предложил вещь из репертуара «Рамштайна». Ребята мне подыграли, и я заорал, налегая на горло. Мне



казалось, что у меня здорово получается. Однако, когда я закончил, клавишник сильно поморщился, а ребята с сомнением смотрели друг на друга. Но за меня вступилась девушка, она сказала:

– Голос сильный, но с ним надо поработать. Зато какая фактура!

Фактура у меня тогда действительно была на загляденье: высокий рост, красивый торс, правильные черты лица, лёгкий открытый взгляд, светлые волнистые волосы чуть не до плеч... Девчонки таких «романтиков» любят, а успех всякой подобной группы по большей части зависит от поклонниц.

– Витя, – обратилась к клавишнику девушка, – он будет хорошо смотреться.

Витя, руководитель ансамбля, как потом оказалось, третьекурсник физико-математического факультета, со вздохом посмотрел на меня. Не дав ему опомниться, я кинул «замануху»:

– Я ещё тексты могу сочинять, даже на английском.

– Попробуем ещё раз, – вздохнув, сказал Витя. – Только не ори, слушай музыку.

Его грубоватый тон резанул по моему самолюбию, но я сдержался и снова запел – уж очень хотелось стать солистом ансамбля. Через несколько репетиций я вписался в группу и нередко пел дуэтом вместе с премиленькой солисткой Лилей. С ней мы не только пели, но и сошлись довольно быстро.

Однажды Лиля затащила меня в какую-то компанию не знакомых мне парней и девиц. Чья это была квартира, не знаю, но мы там здорово повеселились. Помню, что было много вина и мало закуски. Потом какой-то кент подошёл ко мне с бутылкой, на которой красовалась заграничная наклейка.

– Не надоело тебе пить суррогат? – Он стоял передо мной, покачиваясь и ухмыляясь. – На вот попробуй напиток для мужчин, – и налил мне полстакана виски.



Ничего, кроме сухого вина или кружки пива, я прежде не употреблял, но не хотел выглядеть слабаком, взял стакан и почти залпом выпил.

– Молодец! – похвалил парень. – Наш человек!

Он налил ещё четверть стакана... Потом кто-то подошёл с фужером вина...

Как закончилась вечеринка, практически не помню, но проснулся я в той же квартире, на кровати рядом с Лилей. На полу, прямо на ковре, спал тот самый парень, который угощал меня виски. В соседней комнате тоже ещё спали. Лиля открыла глаза и, нисколько не смущаясь, подскочила ничем не прикрытая.

– Ой, уже и на вторую пару опоздали, – сказала она и начала торопливо одеваться.

Я последовал её примеру, но голова была такой тяжёлой, что ни о каких занятиях и речи не могло быть. Я поплёлся домой и там вырубился до вечера. Проснулся, когда с работы пришла мама.

– Ты где пропадал? – спросила она. – Я всех твоих друзей обзвонила. Ночь не спала, а целый день пришлось работать. Если бы сейчас не застала тебя дома, пошла бы с заявлением в милицию.

– Мам, ну извини, так получилось, – лопотал я в своё оправдание. – Задержался у товарища, готовились к латыни. А там, где он живёт, телефона нет.

– Придётся, наверное, нам всё-таки купить сотовые телефоны, – вздохнула мама, понимая, что очень трудно выделить из семейного бюджета деньги на эту «роскошь». – Только где же взять сразу такую сумму?

– А если у Стаса попросить? – подсказал я.

– Пересылать деньги сейчас очень дорого, а он так далеко, – возразила мама. – Да откуда у него? Там семья, ребёнок скоро будет. А зарплата у лейтенанта... сам знаешь, какая.

Брат после окончания военного института служил в Сибири и готовился стать отцом.



4

– Он очнулся, очнулся! – слышу я звонкий голос, и мне кажется, что он отзывается эхом несколько раз: «Очнулся...очнулся...очнулся!»

– Не похоже, – возражает низкий тяжёлый голос, и я чувствую, как он сжимает мне голову холодным железным обручем и ложится камнем на грудь.

Камень наваливается всей тяжестью, и уже нечем дышать. И вдруг я вижу, что это вовсе не камень, а женщина. Её огромные ладони изо всей силы упираются в мою грудь, а длинные чёрные волосы чуть не касаются моего лица. Женщина сверлит меня острыми чёрными глазами и криво усмехается. Где-то я её уже видел, наверное, в какой-то прошлой жизни. И вдруг слышу странный пугающий голос:

– Я тебя предупреждала... Ты мог бы изменить свою судьбу, если бы советовался с шариком, который я тебе дала...

Шарик? Какой шарик? О чём она говорит?

– Поднимайся! – сурово командует женщина. – Ну же! Давай руку!

Она стаскивает меня с постели, и мы вместе поднимаемся к потолку. Отсюда хорошо видны белые покрывала на кроватях. Они лежат, как саваны. Женщина хватается одно из покрывал и накидывает его на меня, продолжая тянуть за руку. Куда она меня тащит, эта колдунья? Я вырываюсь и плюхаюсь на постель. В голове раздаётся сильный звон, долгий, пронзительный. Он не умолкает минуту, две, три... Наконец я понимаю, что звонят у двери.

Пришёл Андрюха. После вчерашней попойки моя голова к вечеру прояснилась, и я вполне осознанно слушал друга.

– Ты чего сегодня на занятиях не был? – спросил Андрюха. – На всякий случай я сказал старосте, что ты заболел.



– Ну да, грибочками отравился, – засмеялся я.

– Колись, где был?

Я шёпотом рассказал и добавил:

– Только мама думает, что я у какого-то кента зубрил латынь. Не проговорись.

– Не понимаю, на кой чёрт нам эта латынь, – заявил недовольно Андрюха. – Чтобы преподавать иностранный в школе, достаточно знать один английский.

– Ну как же, прародительница нескольких европейских языков! Но я её тоже ненавижу.

Однако при всей нашей нелюбви к латыни пришлось всё-таки хоть как-то подготовиться. И когда мы свалили её и несколько других зачётов и экзаменов, Андрюха предложил:

– Это надо отметить в кабаке.

– А деньги?

– Деньги есть, мне недавно оба родителя подкинули.

Андрюха не был сыном миллионера, но каждый из его предков сидел на какой-то если не золотой, то уж точно на серебряной жиле. Мать – врач в частной клинике, отец – в руководящих верхах. И хотя они были в разводе, отец сыну ни в чём не отказывал.

В ресторане мы просто ужинали, но с бутылкой водки. Мы тогда еще только начинали привыкать к спиртному и пьянели быстро. После трёх стопок хмельной Андрюха, приметивший какую-то барышню, сидевшую с подругой, решил пригласить её на танец. Он подошёл к ней одновременно с молодцем явно не русского типа и заспорил, отстаивая своё первенство. Назревал скандал, и я вмешался, уводя Андрюху к нашему столику.

– Щенок! – бросил брезгливо ему в спину молодец.

– А ты чурка! – не остался в долгу Андрюха.

Молодец яростно сверкнул глазами и сжал кулаки. Но я уже усаживал Андрюху за наш столик, стара-



ясь не замечать злобного взгляда парня. Мы ещё посидели с полчаса, а когда выходили из ресторана, нас уже поджидал молодец со своим товарищем. Они сразу кинулись с кулаками, и Андрюха получил сильный удар по голове от «чурки». В ответ я ударил парня в челюсть и совершенно случайно попал в уязвимое место – молодец упал навзничь и вырубился. Его товарищ кинулся на Андрюху с ножом. На какой-то миг я увидел широко раскрытые глаза друга, который беспомощно отступал от нападавшего. Не раздумывая, я подскочил к парню и изо всех сил потянул руку с ножом книзу, буквально повис на ней, а потом вцепился в неё зубами. Нож выпал из руки, я далеко отшвырнул его ногой и стукнул парня кулаком по носу. Хлынула кровь, и парень уже не сопротивлялся. Я подхватил Андрюху и потащил его к стоянке такси. С тех пор считалось, что я спас ему жизнь, за что и был почитаем его матерью.

Учились мы оба без необходимого прилежания и кое-как добрались до второго курса. Андрюхины проблемы решались с помощью денег, а мне делали поблажки как солисту группы, получившей первое место на студенческом конкурсе. Нам аплодировал даже сам ректор.

К тому времени наши отношения с Лилей дали трещину. Её всё чаще и чаще уводил после наших выступлений на вечерах Жорж с исторического факультета. Мне говорили, что видели их то в кафе, то в ресторане. Я ничего этого дать Лиле не мог – у меня не было своих денег даже на сигареты, я выпрашивал то у мамы, то у бабушки, когда она приезжала.

Лиля была инертной, холодноватой, иногда даже высокомерной, и я не испытывал к ней ничего, кроме привычки. Она ведь сама затащила меня в постель на той злосчастной вечеринке, когда я в первый раз напился до бесчувствия. Но мне было обидно, что она прельстилась на деньги Жоржа, у которого дру-



гих достоинств не было. Я решил с ней объясниться, но на разговор она пришла вместе с Жоржем. Здоровый, плотный, как хорошо упитанный боров, он смерил меня пренебрежительным взглядом и изрёк:

– Слушай ты, птичка певчая, не понимаешь, что такие девочки, как Лиля, не для тебя? Отстань от неё.

– А может, мы сами разберёмся? – возразил я исключительно из чувства противоречия, потому что мне было совершенно безразлично, уйдёт Лиля с ним или останется со мной.

– Чего тут разбираться? Знай своё место. Ты никогда и ни в чём не будешь прав, потому что у тебя нет денег.

– Права заслуживают, а не покупают, – не сдавался я.

– Да ты так ничего и не понял! – изумился Жорж. – С такой башкой ты никогда ничего не добьёшься. О заслугах он заговорил! Причём тут заслуги? Деньги! Деньги решают всё! И если ты этого не понимаешь, то тебе нет места в новой жизни. Хозяева – мы! А вы, вот такие, всегда будете зависеть от нас. Усёк?!

Я слышал, что его отец работал раньше продавцом в мясном магазине. На недовесах и каких-то перекупках коровьих, свиных и бараньих туш у крестьян, не имевших больше возможности содержать скот из-за сложностей с кормом, он быстро накопил состояние, позволившее ему выкупить магазин за ваучеры, которые люди, как бесполезные бумажки, отдавали ему за бесценнок. К тому времени, как его единственный сын поступил в университет, он уже имел целую сеть мясных магазинов, наследником которых был Жорж. Возможно, и не Жорж, а просто Георгий, но за деньги всегда хочется иметь что-либо необычное.

Обиднее всего, что Жорж унижал меня при Лиле, а она отворачивалась, будто стыдилась меня. Я не хотел свести разговор к драке, но, чтобы хоть чем-то уколоть обоих, небрежно сказал:



– Да забирай свою Лилю, мне она давно надоела!

Дуэтом мы с ней больше не пели, а вскоре Лиля вообще ушла из ансамбля: так приказал хозяин жизни Жорж. Узнав, что я стал свободен, меня начали одолевать поклонницы ансамбля. Они и раньше горячо аплодировали мне, иногда даже визжали от восторга, но Лиля сдерживала их порывы.

5

– И всё-таки он очнулся! Я видела, как он рукой пошевелил!

Голос звонкий и радостный. Кому-то не безразлична моя жизнь. Кому? Я с усилием приподнимаю веки. Сквозь туман проступает большое светлое пятно, похожее на солнечный круг. Неужели она? Та самая? Неужели...

Она вошла в мою жизнь, как входит тихая, спокойная радость. Занятия на втором курсе только начались. Сентябрь был таким жарким, будто стояло лето, что совсем не удивительно у нас на юге. Будущее представлялось радужным и непременно счастливым. На очередной репетиции ансамбля Витя сказал:

– Есть возможность немного заработать. Нам предложили дать три концерта в летнем театре в парке.

– Ух ты! – восхитились ребята. – А сколько мани пообещали?

– Я же сказал: немного. Главное, нас признали не только в университете, но и в городе.

«Вот она, слава! – подумал я. – Чертовски приятно! А какие перспективы открываются!»

– Паша, соберись! – услышал я голос Виктора, превративший моё восторженное состояние. – Нам предстоят ответственные выступления, а у тебя что-то с голосом в последнее время... Керосинишь?

– В меру, – немного обиделся я. – Иногда позволяю...самую малость...пивка.



– Ну, смотри, не подведи. Ты ведь теперь у нас единственный солист.

И тут вошла девушка. Вернее, девочка. Робкая, с мягким улыбочивым лицом. Невысокая, чуть полная, совсем не из тех красавиц, которые одним только своим видом завоёвывают мужчин. Но у неё были роскошные длинные волосы цвета спелой пшеницы и большие светлые глаза с выражением преданной собаки.

– Второкурсница с нашего факультета, – представил её Витя. – Мы из одного города. Давно хочет с тобой познакомиться.

Девушка крепче зажала руками тетрадку и, глядя на меня с восхищением, тихо сказала:

– Паша...

– А вас как зовут? – спросил я.

– Паша, – повторила девушка.

– Паша? – удивился я. – Это как же будет полностью?

– Прасковья...

– Необычно...по нашему времени.

– Из вас двоих получается Паша в квадрате, – пошутил Витя, и мы все засмеялись.

Смех у Паши был негромкий, и если бы можно было определять его на ощупь, то я бы назвал его тёплым. Паша приходила теперь к нам на репетиции, как своя, тихо садилась в уголочке и оттуда преданно смотрела на нас с Витей. Он дважды проводил её до общественного транспорта после концертов, которые мы давали в парке, – земляк проявлял беспокойство о безопасности девушки. С последним концертом мы сильно задержались, а вид Паши, тихо стоявшей в отдалении, говорил сам за себя: ей страшно было идти одной по полутёмному городу.

– Ты не проводишь? – обратился ко мне Витя. – Мне сегодня совсем в другую сторону.



Мне было всё равно, в какую сторону идти, и я, как галантный кавалер, пошёл с Пашей. В руке она держала книгу.

– Витя сказал, что ты искал «Чёрный обелиск» Ремарка, – она протянула мне книгу.

– Искал! Прочёл уже почти всего Ремарка, а эту не мог найти даже в нашей библиотеке.

– Я взяла у знакомых.

– Спасибо! Я быстро прочту и верну.

– Держи, сколько хочешь, они подождут.

Заговорили о литературе. Паша, конечно, не успела прочесть столько, сколько прочитал я, но кое-что знала. На том и сошлись. Нередко занятия у нас бывали в разное время, и Паша в свои свободные часы появлялась вблизи наших аудиторий и якобы случайно попадалась мне на глаза. Мы перекидывались несколькими фразами и расходились. А однажды я встретил её прямо около нашего дома. Конец сентября, день был по-летнему тёплым, но иногда набегал прохладный ветерок. Паша, видно, давно вышла из дома, потому что была в платье с короткими рукавами.

– Привет, – тихо сказала она, внезапно представ передо мной.

– Привет, – ответил я, – могу вернуть тебе Ремарка. Подождёшь? Я вынесу.

– А ты здесь живёшь? – она смотрела на дом с таким же обожанием, как на меня.

Я увидел, как её оголенные руки покрываются пупырышками от прохладного ветерка, и сказал:

– Давай лучше поднимемся ко мне. Хоть чуть согреешься. Я тебя чаем напою.

У меня и в самом деле не было никаких грешных мыслей. Паша с готовностью вошла в подъезд. Дома я напоил её чаем. Потом показывал ей нашу библиотеку. Она шла по комнате впереди меня, разомлевшая от горячего чая. Её длинные густые волосы колы-



хались передо мной пушистой копной, в которую так и хотелось зарыться головой. Паша вдруг резко повернулась и обхватила меня руками, прижавшись головой к груди. Я не знал, что делать, а она прижималась всё сильнее. Я, кажется, угадал, чего она хочет, но, всё ещё сомневаясь, осторожно расстегнул две верхние пуговицы на платье. Она не отстранилась, только подняла голову и посмотрела на меня таким зовущим взглядом, что я не выдержал. В конце концов, это не я её, а она меня соблазняла. И такая большая девочка должна понимать, чем это может кончиться.

После расставания с Лилей у меня не было постоянной девушки. Я повстречался немного со Светой из медакадемии, потом с Оксаной из политехнического. Ни та, ни другая меня ничем особо не заинтересовали – интеллект у обеих был на уровне средней школы, а к плотским утехам я тогда был ещё не очень расположен. И девушкам, видимо, не удалось разбудить во мне пылкого мачо.

Паша оказалась мягкой, податливой и такой жаждущей, что после холодной и расчётливой красотишки Лили и двух безликих девиц я впервые испытал настоящее удовольствие. Лишь после того, как Паша ушла, я стал припоминать подробности, опасаясь, что лишил её невинности. Наконец, понял: я не первый. А кто же первый? Может быть, Витя? Правда, меня это мало трогало. Даже был рад, что упрекнуть меня было не в чем.

Я и не думал о продолжении близких отношений, но Паша с завидной регулярностью приходила к нам на репетиции и держалась всё увереннее. Мы искали новую солистку вместо Лили, но это было не так просто – Витя почему-то всех отвергал. А Паша на это не годилась, она совсем не умела петь. Зато она умела так посмотреть и так «нечаянно» прижаться, что невольно возбуждала желание. Паша жила в однокомнатной



квартире у тётки, с которой плохо ладила, и я не отказывал ей в «гостеприимстве», когда она сама напрашивалась. Я стал привыкать к ней, как к наркотику. В интимной близости эта несколько простоватая девочка из заштатного городка, ещё недавно бывшего селом, пожалуй, превосходила меня. Я удивлялся её ненасытности, но этим она и воспламеняла меня. И я уже имел дело не с тихой доверчивой девочкой, а с искусной женщиной, в которой не затухал костёр страсти.

Паша стала преображаться и внешне: чуть похудела, иногда закалывала волосы изящной застёжкой, сменила платья на фирменные джинсы и топики. От меня она ничего не ждала, кроме любви. И я не заметил, как привязался к ней настолько, что скучал по ней, если день, а то и два её не видел.

Мама уже знала о наших отношениях, и Паша нередко оставалась на ночь в моей комнате. После зимней сессии я съездил в их городок, чтобы познакомиться с её родителями. Они держали небольшой магазин и жили без тех финансовых проблем, которые постоянно испытывали мы с мамой. Я вроде произвёл неплохое впечатление на родителей Паши, и в перспективе засветился союз двух любящих сердец. Свадьба откладывалась до лета, чтобы мы могли спокойно сдать весеннюю сессию за второй курс.

Паша переселилась к нам на правах гражданской жены. Я настолько сильно отдавался своему чувству, что и не заметил, когда из глаз Паши исчезло выражение преданной собаки. Совершенно не раздумывая, я выполнял любую её просьбу. Она хотела пойти в кино, когда у них не было пары, и я шёл, хотя у нас в это время были лекции или практические занятия. Ей хотелось прогуляться по парку или по лесу – и мы гуляли, а я в очередной раз пропускал занятия.

Сессия надвигалась, как суровая неизбежность. Я понимал, что моих знаний не хватит даже на трой-



ку с минусом, и рассчитывал только на поблажки, которые мне до сих пор делали как солисту успешного ансамбля.

Однажды на репетицию вдруг пришла Лиля. Зачем приходила, я сначала не понял. Она о чём-то пошептала с Витей, чуть-чуть послушала нас и заявила мне:

- Павел, ты совсем осип. От пьянок, что ли?
- Тебе какое дело? Ты вон за Жоржем смотри.
- А ты рога почеси и тоже смотри за своей...

Лиля не договорила и вышла. Её слова меня больно укололи. На что она намекает? До сих пор я не знал, что такое ревность. Доверял Паше беспредельно, хотя в последнее время она стала задерживаться после занятий, объясняя это тем, что вместе с однокурсниками нагоняет упущенное. И я, и она очень мало внимания уделяли учёбе, поэтому Паша тоже боялась сессии. Теперь она просила не заходить за ней после занятий, но я, вспоминая слова Лили, буквально подстерегал её у выхода.

По этой причине стал пропускать и репетиции ансамбля. Один раз даже забыл о предстоящем выступлении. Я задержал концерт на полчаса, и Виктор уже собирался отменить его, придумав какую-нибудь причину, которую можно было бы объявить собравшимся зрителям. Но тут явился я и залепетал что-то несуразное в своё оправдание. Виктор не пожелал со мной поговорить и после концерта сразу ушёл.

– Паша, мы с тобой почти не видимся, – с обидой сказал однажды Андрюха, когда я, наконец, пришёл на какую-то лекцию. – Что с тобой происходит?

- А ты чего перестал к нам ходить?
- Так там же эта...жена... Не хочу мешать.
- Мне ты никогда не мешаешь. Так что приходи.
- Нет, давай лучше встречаться на нейтральной территории.



И мы зачастили к пивному ларьку или в наше любимое кафе, где можно было без затей выпить по два-три бокала вина. Паша, уловив запах спиртного, недовольно хмурилась и говорила:

– Опять встречался со своим дружкой? А если сопьёшься?

– Не сопьюсь, я крепкий.

– У тебя голос садится. Ты не замечаешь?

– И ты с тем же! – воскликнул я, вспомнив слова Лили, которая тоже на это намекнула.

– А что, тебе уже говорили об этом? Смотри, как бы не было у тебя неприятностей в ансамбле.

– Накаркаешь! – грубо оборвал я, а Паша недовольно глянула на меня и ушла на кухню.

До сессии оставалось три недели. Ко мне подошёл наш очкарик староста:

– Слушай, Павел, у тебя столько прогулов и не выполненных работ... Да ты ни одного реферата не сдал! Тебя могут не допустить до сессии.

– Раньше тоже так было, но допускали же! – возразил я.

– То раньше, а теперь требования повысились. Всё-таки второй курс...

– Ну и что ты предлагаешь?

Староста помялся, а потом сказал:

– Из-за таких вот, как ты, придётся дань собирать... на нужды деканата.

В прошлом году и в зимнюю сессию я в этом не участвовал – успешному солисту ансамбля многое прощалось. Но на этот раз у меня действительно положение аховское. С этими мыслями я пошёл встречать Пашу. Она стояла в дальнем конце коридора у окна с одним из парней с её курса, который, по моему мнению, слишком тесно прижимал Пашу к стенке. Мне это было неприятно, и я громко кашлянул. Паша метнула на меня быстрый взгляд и, отодвинувшись от парня, неловко соврала:



– Мы тут одну формулу разбираем...

– Ладно, потом разберёте, – сдержанно сказал я, но меня уязвило то, что она своей ложью хотела что-то скрыть.

– У тебя сегодня репетиция, – напомнила Паша, направляясь ко мне.

– Пойдёшь со мной?

– Нет, я домой. Надо готовиться к сессии.

Парень ушёл первым, потом и мы разошлись в разные стороны. На репетицию я явился не в лучшем настроении. Витя, не глядя на меня, сказал:

– Павел, Лиля нашла нам хорошего солиста (так вот зачем она приходила!), мы его уже прослушали и взяли. А ты, если хочешь, оставайся на подпевке.

Это был удар под дых! Я – на подпевке? Да что он, с ума сошёл? Я только первые несколько секунд стоял, словно оглушённый, но скоро понял: это дело решённое, меня просто выкинули из ансамбля! Витя прекрасно понимал, что я не приму его предложения. Ребята молчали и отворачивались – им нечего было сказать мне в утешение, а скорее всего, они были согласны с руководителем. Я тоже не стал тратить слова попусту и молча вышел.

Я молчал, но моя боль рвалась наружу! Сначала я хотел пойти домой, но потом раздумал – мне было бы неприятно предстать перед Пашей в состоянии такого страшного отчаяния. Даже она вряд ли могла понять, как много значил для меня этот ансамбль, из которого меня только что выгнали без объяснения причин, хотя, конечно, сам я знал, что поплатился за свою расхлябанность. Андрюха, как истинный друг, погоревал бы вместе со мной, но сразу после лекций он ушёл к каким-то знакомым по поручению матери, а я не знал, куда. Мне не к кому было пойти со своей болью, и я направился в магазин.

У меня было немного денег из тех, что нам дали за выступления в летнем театре. Я купил бутылку вод-



ки и пошёл к дому. Снова подумал, как тягостно будет объясняться с Пашей, и остановился на детской площадке. Мамаши и бабушки со своими чадами уже давно ушли отсюда, потому что был поздний час. Я пристроился на скамеечке и тут только подумал, что не взял никакой закуски. Пить одному, да ещё без закуси, мне до этого не приходилось. Но я решительно открыл бутылку и приложился к горлышку. Первые несколько глотков обожгли горло, но мне это было даже приятно. А потом я уже просто ничего не чувствовал. Мне и хотелось дойти до абсолютно бесчувственного состояния.

6

Как попал на свой этаж и открыл дверь, не помню. Очнулся утром, когда было уже совсем светло. В комнату вошла мама и, помахивая рукой около носа, строго спросила:

– Павел, в чём дело?

– Да, собственно, ни в чём... Ну, выпил...

– Напился! – перебила мама. – Такого ещё не бывало.

Это она не знала про ту вечеринку с Лилей, когда я впервые напился до бесчувствия и всё-таки выжил. Оказалось, стоит только начать, повторить уже несложно.

– А где Паша? – спросил я.

– В университете! Сегодня же суббота, не воскресенье. У тебя тоже, наверное, есть лекции.

– Я ещё успею на практические занятия по английской грамматике, – спохватился я.

Собирая себя «в кучу» после вчерашнего возлияния, я никак не мог вспомнить, куда положил часы, когда снял их с руки. Стал выдвигать ящички секретера и в одном из них наткнулся на свой давно забытый шарик. На море я уже не был года три и стал забывать, как оно выглядит, а шарик светился приятной голубизной. Я извлёк его из ящичка и поставил на по-



лочку. Здесь же, за керамической вазой для цветов, обнаружил свои часы.

Поставив шарик на видном месте, я начал одеваться. В голове раздавались тупые удары тяжёлого молота, всё время хотелось пить. Внутри у меня словно дрожали туго натянутые струны. Состояние этого жуткого похмелья надо было чем-то снять. Я надеялся найти в холодильнике томатный сок, который иногда покупала мама, но его не оказалось. Зато я увидел маленький пузырёк со спиртом, предназначенным для компрессов при простуде. Помнится, мама говорила, что удалось достать совершенно чистый.

Я слышал, что его можно разбавить, и получится почти та же водка. Отлив немного и разбавив наполовину водой, я выпил. Через некоторое время почувствовал, что «струны» внутри меня ослабли, и мне стало немного лучше. Одевшись, я поспешил в университет. Когда прикрывал дверь в свою комнату, взгляд мой нечаянно упал на шарик. Мне показалось, что нижняя его часть сильно потемнела и вдруг вздыбилась крутой волной. «Игра света», – мелькнуло в голове, и я вышел из дома.

В университет я шёл в пресквернейшем настроении, но и предполагать не мог, как круто изменится моя жизнь через какой-нибудь час. На занятия я опоздал, но преподавательница, всего год назад окончившая тот же факультет, войти мне разрешила, хотя и высказала неудовольствие в обидной для меня форме:

– Не следовало бы опаздывать тому, кто имеет очень слабое представление об английской грамматике.

Хмель лишил меня осторожности. Я разозлился. Кто она такая? Аспиранточка, которой дали несколько часов, чтобы она не умерла с голоду, пока учится. Ещё совсем недавно мы, можно сказать, были на равных – оба студенты, только я первокурсник, а она выпускница. И тогда она горячо аплодировала мне, со-



листу ансамбля, поглядывала на меня с вожделием, подходила с какими-то разговорами о современной эстраде и явно была не прочь сойтись поближе, а сейчас строит из себя строгую учительницу. Проигнорировав её замечание о моих скромных знаниях, я громко затопал к столу, за которым сидел Андрюха, и грубо заметил: «Молоко ещё на губах не обсохло...». Как оказалось, я произнёс это довольно громко.

– Что вы сказали? – трагическим голосом спросила юная леди.

– Что слышали! У самой знаний не больше.

Какой чёрт во мне сидел? В аудитории было так тихо, как никогда. И в этой тишине прозвучал негромкий, но твёрдый голос преподавательницы:

– Я не выпущу вас из университета...

У меня мелькнула мысль, что за дерзость придётся как-то отвечать, но изгнать из университета, да ещё по её воле – это слишком! И я с едкой иронией произнёс:

– Да ладно уж...Вершительница судеб...

– Вон из аудитории!

– Да пожалуйста!

Я пошёл к выходу, верный Андрюха, быстро собрав вещи, побежал за мной.

– Что с тобой? Ты с ума сошёл! – беспокоило говорил он. – Давай зайдём в кафе, полечим нервы.

Мы зашли, заказали по сто пятьдесят граммов водки и по кружке пива. Уже навеселе пытались разобрататься в ситуации.

– Сегодня староста зачитывал, у кого сколько пропусков, – говорил Андрюха. – У нас с тобой солидно накопилось, особенно у тебя. А ты ещё выкинул сегодня номер. Что с тобой?

– Да всё как-то пошло наперекосяк, – пытался я найти объяснение своему поведению, а в душе понимал: наверное, что-то делаю не так. Да почему же «что-то»? Всё делаю не так! Не так, как принято в этом об-



ществе, где любимая откровенно лжёт, где какой-нибудь Жорж с деньгами может увести у тебя женщину, где друзья по творчеству запросто выбрасывают тебя за борт, а какая-то пигалица угрожает отчислением. Своей вины я тогда ещё не понимал... Или просто не хотел этого признать?

– Ох, Андрюха, надоел мне этот университет! – вздохнул я.

– Мне тоже. Но теперь трудно что-то поменять, предки не поймут.

– А мы для них, что ли, учимся? Это бабушка раз-мечталась: «Вот окончишь этот факультет, будешь знать два языка, откроется перспектива устроиться на телевидение». Ну, скажи, разве это реально, если денег нет, а место на телевидении тоже надо купить?

– Ну, это ты загнул. Там, по-моему, всё по-честному. Только мы пока ни одного языка не знаем.

– Да пошли они, эти языки! – я залпом выпил оставшуюся в стопке водку.

– Но если не языки, то что? – допытывался Андрюха.

– Не знаю. Я ничего не хочу. Разве что петь в хорошем ансамбле... Но туда фиг попадёшь. А если бы попал, представляешь, Андрюха, после концерта сажу в отличной гостинице на диване в бархатном халате, а по бокам – по две девицы-красавицы.

– Сразу четыре? – удивился Андрюха. – Ну ты и сластолюбец!

Мы посмеялись над моим шутливым представлением о будущей жизни, но в этот момент я осознал, что больше всего на свете хотел бы связать свою жизнь с эстрадным творчеством. Наш ансамбль мог бы открыть мне к нему дорогу, а я по своей глупости потерял такую возможность.

После инцидента с юной преподавательницей я ждал расправы и потому почти перестал ходить на занятия. Однако ни к ректору, ни в деканат меня ни-



кто не вызывал. Сообразив, что, возможно, всё сошло на тормозах, я усилил свой интерес к учёбе, но из-за больших пропусков и неумения работать с учебниками почти ничего не понимал. Языки требуют многочасовых повседневных упражнений, а я не мог засадить себя за зубрёжку хотя бы на полчаса. Оставалась надежда на поборы «для кафедральных нужд». Оказалось, чтобы закрыть сессию, мне потребуется тысяч десять. Где их взять?

Рассказы бабушки о том времени, когда преподаватели не то что мзду не брали, но даже стеснялись принять букет цветов после экзаменов, мне казались её выдумкой специально для того, чтобы подстегнуть моё усердие. У нас в первую же сессию староста намекнул: у кого нет денег, того и знания могут не спасти. Меня спасало участие в ансамбле, а теперь я этого лишился. Теперь нужны десять тысяч, а где их раздобыть?

Объяснил ситуацию бабушке по телефону. Она сначала возмутилась и сказала, что на «такое подлое дело» не даст ни копейки, что в их времена о таком кощунстве никто и не заикался. Тогда я напомнил, что это была её идея, чтобы я выучил два языка, а мне самому всё равно, буду я знать хотя бы один. Бабушка сдалась и привезла девять тысяч, сказав, что у неё больше нет.

Бабушка тут же уехала. Я пошёл к университету встречать Пашу с занятий. Она вышла с тем парнем, который несколькими днями раньше зажимал её в углу коридора. Он придерживал её за плечи, но, увидев меня, отпустил. Паша шла ко мне без тени смущения и, предупреждая возможные вопросы, сказала:

– И не смотри так! Это просто друг, он помогает мне разобраться в сложных вопросах. У меня вообще... большие проблемы, а скоро сессия.

Паша заметно нервничала, а потом заявила:



- Мне нужны деньги, чтобы не завалить сессию.
- Сколько?
- Много.

Когда дома я показал ей девять тысяч, у неё загорелись глаза. Оказалось, ей именно столько и нужно. Я отдал деньги, совершенно не задумываясь о том, что теперь будет со мной. Паша сдала все зачёты и экзамены, а я получил предупреждение об отчислении за проваленную сессию и систематические пропуски занятий.

Я предстал перед ректором. Он помнил мои успешные выступления в ансамбле на конкурсе и студенческих вечерах и, наверное, думал, что я всё ещё там пою. Пожалев меня, предложил компромиссное решение: второй курс филфака с перезачётом общих дисциплин и досдачей тех, что изучаются на первом курсе филфака. Доплата за обучение на не очень престижном факультете была не нужна. Меня, любителя литературы, это вполне устроило.

Но оказалось, что всё не так просто. И на этом факультете надо было по многу часов высидывать на занятиях, учить никому не нужный старославянский, а его «бяше» мне никак не давалось. И здесь надо было подстраиваться под каждого преподавателя, считая единственно правильным его мнение и не высказывая своего. Мне всё это претило. Я любил литературу, а не рассуждения вокруг неё, а тем более не древнеславянские премудрости. Я стал смываться с лекций, чтобы встретиться с Андрюхой (мы ведь теперь на разных факультетах) или проследить, с кем выйдет из университета Паша. Свадьба наша, естественно, была отложена, но, вернувшись из дома после летних каникул, Паша снова поселилась у нас. Наши отношения ещё держались на страсти, но в них уже не было прежней теплоты. Я чувствовал, что она теряет интерес ко мне, и...шёл запивать это «горе» с кем-нибудь из прияте-



лей. И вот, наконец, Паша перешла на четвёртый курс, а меня без сожаления отчислили со второго курса филфака за пропуски занятий и неуспеваемость.

Мы расстались с Пашей на лето – при таких обстоятельствах я не мог показаться на глаза её родителям. К началу занятий она вернулась и потребовала, чтобы я всё-таки не бросал учёбу и перешёл на экстернат. На этот вариант согласилась и мама, вынуждена была согласиться и бабушка, потому что заплатить двадцать тысяч за год учёбы на экстернате могла только она. Меня всё-таки всеми силами старались выучить, чтобы я получил заветный диплом, открывающий дорогу к более престижной жизни.

Однако мне снова было очень трудно засадить себя за учебники, и когда Паша уходила в университет, а мама на работу, я шёл к кому-нибудь из новых друзей, таких же, как сам, ничем не занятых. Впрочем, занятие у нас было – мы пили. Мне больно было сознавать, что я остался за бортом удачи, и даже стыдно, но изменить я ничего не мог. Не хватало силы воли!

Я стал замечать, что в Паше зреет отчуждение, и это меня тревожило гораздо больше, чем всё остальное. Вероятно, уже тогда она стала догадываться, что имеет дело с ничтожеством, но сам я всё ещё не понимал этого. Как-то Паша сказала:

– У нас совсем нет денег, а ты пьёшь, и слишком часто. На что?

– Меня друзья угощают.

– Чем ждать от друзей подачки, лучше бы шёл работать. Ты же свободен целыми днями.

Ну что ж, работать так работать. Раз Паша так считает, буду искать работу. Но какую? Что я умею? Золотая осень с её роскошным листопадом уже кончилась, наступил период дождей. Не хотелось выходить на улицу, но надо было искать работу. После долгих поисков я устроился...в бригаду землекопов, где по-



бещали шестнадцать тысяч в месяц. Я обрадовал этим сообщением Пашу и маму и принялся за работу.

Вставать приходилось рано, а копать – тяжело. Но я поступил по-мужски: пошёл зарабатывать деньги «на семью»! Рыли какие-то траншеи в очень твёрдом грунте, поэтому иногда приходилось откладывать лопату и браться за кирку. В ноябре земля уже иногда промерзала за ночь и туго поддавалась. Я приходил домой разбитым, грязным, с кровавыми мозолями на руках. Но впереди светили шестнадцать тысяч, и я терпел. Я даже нашёл в себе силы пережить неприятную встречу, наглухо зажав эмоции. Это случилось уже к концу месяца. Я орудовал то киркой, то лопатой, когда услышал язвительное замечание:

– Ты посмотри: «многостаночник», сразу два инструмента освоил.

Я поднял голову: передо мной стояли Жорж и Лиля. Я только потом узнал, почему они здесь оказались, это к новому магазину его папаши мы рыли траншеи для укладки труб. Жорж смерил меня снисходительным взглядом и напомнил:

– Я же тебе говорил, что такие, как ты, всегда будут зависеть от нас. Вот дали тебе заработать.

Мне очень хотелось дать ему в морду, а ещё лучше – лопатой по голове, но я сдержался, чтобы не влипнуть в скверную историю и не угодить из-за этого борова под статью. Будто не слыша его, я отвернулся, перешёл на более дальнюю траншею и продолжил работу. Дома я об этом инциденте никому не рассказал, но, как вскоре оказалось, Паша была в курсе, ей поведала об этом Лиля. Вероятнее всего, знали и мои бывшие сокурсники, потому что у Лили не задержится, тем более, что и жалеть меня ей было не за что.

Когда наступил день зарплаты, мне выдали всего шесть тысяч и даже не объяснили, почему. Просто заявили: не нравится – не работай. Жаловаться некому:



трудились-то без официального оформления. Я больше не пошёл гнуть спину за такие гроши, да ещё на папашу Жоржа.

Вскоре дома раздался звонок.

– Уже триместр кончается, – сказала секретарь экстерната, – а вы не были ни на одной консультации, не сдаёте зачёты и экзамены.

Со всеми своими неудачами я как-то подзабыл, что учусь на экстернате. Я кинулся в университет и смог найти только историка, который согласился принять у меня экзамен. Понятно, что я не знал ничего, да ещё начал спорить, и старик меня выгнал, правда, вежливо, посоветовав всё-таки почитать кое-какие учебники. Осталась надежда, что я стану воплощением прилежания, засяду за книги и в весеннюю сессию закрою все хвосты. Но, видно, на небесах на это дело посмотрели иначе. Жизнь опять подсунула мне такие душевные страдания, при которых я не то что взяться за учебники, но даже и вспомнить о них не мог.

7

Длинный коридор, казалось, никогда не кончится. Здесь было довольно темно, но я различил впереди фигуру Паши и шёл следом. Она один раз оглянулась, заметила меня и ускорила шаг по направлению к выходу, который едва светился и был ещё далеко. Я тоже попытался идти быстрее, но ноги словно прилипали к линолеуму, с таким трудом я отрывал их от пола. Так бывает во сне или в бреду. И я, видимо, был сейчас далек от реальности.

Внезапно дорогу мне преградил человек с плакатом. Даже при очень слабом освещении я сумел прочитать то, что было написано крупными буквами: «Наш девиз – справедливость и равенство».

– Илюха, ты, что ли? – догадался я, узнав в парне представителя городской оппозиции.



Он опять хотел всучить мне этот плакат, чтобы я стоял с ним на площади во время их митинга. Но я толком не понимал, какой справедливости и от кого они добиваются, и отказался. Вообще, все эти потуги как-то изменить существующий мир казались мне совершенно бессмысленными. Теперь, повзрослев, я понимал: когда рушилась большая страна, в которой я родился, кто-то успел ухватить и присвоить лучшие куски общенародного достояния. А мы опоздали. Ну и кто виноват, что мы оказались такими нерасторопными? О какой справедливости теперь можно мечтать? Нет, политика, а тем более политические игры меня не интересовали. Мне просто снова надо найти работу. Подходящую работу. И я пошёл...

...Тёмный коридор всё не кончался. Паша была уже совсем далеко, у самого выхода. Я снова заспешил за ней, когда почувствовал, что под ногами что-то крутится, мешает идти. Откуда-то вдруг пролился неяркий свет, и я увидел...свой шарик! Он вертелся волчком, и «море», налитое свинцом, тяжело колыхалось в нём. «Опять что-то нехорошее предвещаешь?» – со злобой подумал я и пнул шарик ногой так, что он отлетел далеко в темноту и почему-то сильно зазвенел. Звенел...звенел...

От этого звона я проснулся. Звонил Митяй, тот самый одноклассник, который дал мне впервые попробовать сигареты и крепко «присушил» меня к ним. С тех пор, как меня отчислили со стационара университета, мы с ним изредка виделись. Сейчас он спрашивал, собираюсь ли я идти на встречу одноклассников. Я ответил, что, пожалуй, пойду. Вечером сказал об этом Паше, а она вдруг, посмотрев на меня скептически, заговорила каким-то неприятным голосом:

– И чем ты там похвастаешь? Тем, что за три с половиной года после окончания школы научился только канавы копать?



На лице её читалось плохо скрываемое презрение.

– Но я же учусь, – пытался я защитить своё реноме.

– Ты учишься? – её губы сложились в саркастическую усмешку. – Ты не взял в руки ни одного учебника. Ты целыми днями ничего не делаешь. Не устаёшь от этого?

– Не устаю! – дерзко ответил я.

– А я устала заглядывать в рот родителям и выпрашивать у них каждую копейку. Я устала ждать, когда ты начнёшь работать или вообще хоть что-нибудь делать!

– Да ищу я работу, ищу! – пытался я её успокоить, так как чувствовал, что назревает серьёзный скандал. – Или мне опять канавы копать?

– Знаешь, – вдруг очень спокойно сказала Паша, – я могла бы жить даже с землекопом, но только не с бездельником.

Она пошла надевать куртку и сапоги.

– Куда ты? – забеспокоился я.

– В магазин, у нас нет даже хлеба.

Я хотел кинуться вслед за ней, но потом подумал: она ушла без вещей, значит, вернётся. Хлеб, колбасу и сыр принесла мама, вернувшись с работы. Прошёл час, другой, а Паша всё не возвращалась. Я забеспокоился, спросил маму:

– Ты Пашу не встретила, когда домой возвращалась?

– Она разговаривала с кем-то на автобусной остановке.

– С кем?

– Не знаю. С каким-то парнишкой.

Меня переключило. С парнишкой! Опять с этим Вадиком, Вовиком, Вячиком, или как там его зовут, её однокурсника, любителя разгадывать с ней сложные формулы? Я лихорадочно бегал по комнате, мигом забыв, где лежат или висят мои вещи. Опять стал разыскивать часы и наткнулся на свой шарик. От люстры в три рожка на него падал неровный свет, и мне пока-



залось, что тёмную густоту «моря» внезапно пронзили три яркие молнии. Что за чушь? Я передвинул сувенир так, чтобы на него попадало меньше света. Но «молнии» снова пронзили «море», ставшее совсем чёрным. Я зло двинул шарик в сторону, и он заскочил за керамическую вазу, из-за которой вылетели мои часы.

Одевшись, я выскочил на улицу. Куда идти? Андруха уехал домой в свой городок – у них каникулы. Значит, к Митяю. С ним я чувствовал себя очень легко. Митяй никуда и не поступал, сразу поставив крест на высшем образовании. Он любил выпить и зарабатывал на это вполне традиционно: где что погрузить или разгрузить.

Митяй жил неподалёку и оказался дома. По моему лицу угадал, что я нуждаюсь в утешении, поэтому налил почти полный стакан водки. Я выпил залпом, но не сразу отрубился. Постепенно мы вдвоём опустошили ещё полторы бутылки.

Когда я каким-то образом поднялся к себе, Паша была дома и собиралась лечь спать. Она брезгливо отодвинулась от меня, когда я полез с объятиями, и постелила себе на раскладном кресле. Я рухнул на кровать прямо в одежде и отключился.

Утром я не обнаружил ни Паши, ни её вещей. Я побежал к её тётке. Но оказалось, что Паша уехала домой – каникулы же! Последовать за ней я не мог по двум причинам: не было денег на билет, и я не посмел бы предстать перед её родителями.

Вернувшись, Паша к нам не пришла, она вновь поселилась у тётки. Я понимал, что это не только её решение, но и отца с матерью: такой зять им, конечно, не нужен. Через несколько дней я подстерёг её у входа в университет, но она, даже не пожелав меня выслушать, сказала:

– Разве ты не понял? Я ушла навсегда. Такой ты мне не нужен, а перемен к лучшему не предвидится.



– Ну, конечно, девушки любят удачливых, – с усмешкой заметил я, пытаюсь поддеть её.

– Девушки любят достойных, – парировала она. – Извини, говорить нам больше не о чем. Я устроилась лаборанткой в другой университет и не хочу опаздывать на работу.

Она нервно оглянулась, видимо, кого-то ждала. Ну, конечно! Он вышел и сразу направился к ней, тот самый, который помогает ей разбираться в сложных вопросах математики, физики, информатики... Теперь он провожает её туда, куда ей нужно. Мне ничего не оставалось, как отойти в сторону.

Снег падал крупными хлопьями и был похож на театральную декорацию. Он облепил деревья и кусты, мягко ложился на газоны. Всё вокруг казалось белым и сказочным. Но я едва замечал это, мне было не до красоты природы. Совершенно потерянный, я стоял, не зная, в какую сторону двинуться.

– Паша, здравствуй, – услышал я мягкий напевный голос.

Передо мной стояла тётя Вера, наша бывшая соседка. С её сыном Стёпкой мы начинали учиться в школе, но после девятого класса он от нас ушёл, потому что они поменяли квартиру и теперь живут в другом районе города.

– Паша, как ты повзрослел!

Ещё бы, мы лет пять не виделись. И как только она меня узнала?

– Я слышала, ты в университете учишься, – продолжала тётя Вера. – Молодец. Ты всегда был способным. Я тебя Стёпке до сих пор в пример ставлю.

Значит, неприятные вести не так быстро распространяются по городу, если она больше ничего обо мне не знает.



– А Стёпка кое-как аттестат получил, но в институт не стал поступать, – продолжала тётя Вера. – В нашем районе три завода, вот он и пошёл учеником слесаря-автоматчика. Работа чистая, на приборах. Ему нравится, а это главное. Не всем же учёными быть. Профессий много, каждый может выбрать по душе. Важно ведь что? Определиться. Знать, чего ты хочешь. Вот он и определился, уже на третий разряд сдал. Готовится к четвёртому. Так и будет расти до мастера. Хорошие рабочие тоже нужны. А как мама, бабушка?

Я слушал рассеянно, отвечал механически, желая поскорее избавиться от неожиданной собеседницы. Тётя Вера, видно, почувствовала это и быстро попрощалась. Я смотрел ей вслед и пытался представить Стёпку, мальчика спокойного, уравновешенного, сумевшего правильно оценить свои возможности. Он крепко станет на ноги, заведёт семью и будет изо дня в день, из года в год ходить на завод, чтобы прокормить себя, жену, детей. И, конечно, никогда не выйдет на площадь с плакатом «за справедливость», потому что получил от жизни то, что хотел. Так почему же меня болтает штормом? Если бы я «определился», как сказала тётя Вера, то удержался бы в университете и не потерял бы Пашу.

Сам не заметил, как с этими мыслями дошёл до Митяя. У него сидел парень, лет на пять-семь постарше нас.

– Михаил, – представил его Митяй. – Между прочим, тоже поэт. В душе, конечно. А вообще, истопник в нашей котельной.

Митяй сказал «тоже», имея в виду, что я ещё в школе кропал стишки для стенгазеты, а потом сочинял тексты для ансамбля. Он посмотрел на меня внимательно и спросил:

– Опять пробоина в сердце?

Я кивнул.



– Ничего, сейчас полечим, – пообещал Митяй, и мы втроём загудели по-крупному.

В голове мелькнуло предупреждение мудрой бабушки о том, что душевные раны залечиваются трудом, а не алкоголем, иначе есть риск увязнуть в пьянстве, как в болоте, из которого не выбраться. Но я счёл это ханжескими словами старшего поколения, не способного понять нас. Напился опять до бесчувствия и очнулся в какой-то подсобке – видно, Митяй на этот раз принимал меня здесь. Одежда была сильно измята и перепачкана то ли мукой, то ли мелом. Я долго чистил её, чтобы можно было показаться на улице. Ни Михаила, ни Митяя уже не было.

Дойдя до дома и поднявшись к себе, я стал рассматривать себя в зеркале, висящем в прихожей. На меня смотрело жёлто-зелёное лицо, помятое не меньше, чем моя одежда, да к тому же обросшее щетиной, на шею свисали длинные замусоленные пряди невымытых волос. Неужели это я? Неужели на эту гнусную рожу ещё год назад с восхищением взирали нимфетки? Я понял: пора что-то делать, пора завязывать с алкоголем, найти работу и взяться за учебники. Но...

Благими намерениями проложена дорога в ад. Не я это сказал, а кто-то очень мудрый. Он точно подметил. Я привёл себя в порядок и пошёл искать работу. Там, куда бы я пошёл, требовали диплом о высшем образовании, не законченная учёба в экстернате их не устраивала. А в слесари, плотники, токари и другие подобные работники меня не тянуло. Да и не умел я ничего! С этим разладом между желаниями и возможностями я ходил по разным организациям месяца два, пока меня не взяли на должность менеджера в фирму, торговавшую бытовой медицинской аппаратурой. Менеджер – слово солидное, но по сути это торгаш, который правдами и не правдами должен сбыть чей-то товар или услуги. На мой вопрос, что я должен делать, мне так и сказали:



– Будешь втюхивать пенсионерам наши товары.

Заработок зависел от того, сколько бабушек и дедушек удастся уговорить что-нибудь приобрести для поправки здоровья. Я не умел «втюхивать» заведомо не нужный им товар и к концу второго месяца понял, что больше трачу на проезд и случайные обеды в кафе, чем зарабатываю. Ушёл и стал помогать Митяю где-то что-то разгрузить или погрузить. Когда попадались тяжёлые ящики или мешки, то чувствовал, как садится позвоночник и ноет грыжа, из-за которой меня не взяли в армию. Поэтому на такие случайные заработки я ходил не часто и сидел без денег, выпрашивая на сигареты у мамы.

Наступила весна, пришла во всей своей красе. И тут раздался звонок. В трубке некоторое время помолчали, а потом раздался тихий голос Паши:

– Привет.

– Привет, – ответил я, слушая бешеный стук сердца и ожидая продолжения, и оно последовало.

– Мне плохо, – сказала Паша.

Меня обдало жаром: ей плохо без меня, она готова вернуться! А я, разумеется, готов простить ей и обидное расставание, и гения информатики.

– Ты где? – спросил я.

– В скверике на нашей скамейке.

У нас действительно была «наша», самая любимая скамейка, куда мы присаживались во время прогулок. Сейчас, в конце мая, там было очень красиво. Да если бы она позвала меня на луну, я помчался бы, не раздумывая.

– Никуда не уходи! – крикнул я. – Сейчас буду!

Паша сидела, опустив голову, как видно, в тягостном раздумье. Увидев меня, смутилась, на лице мелькнула виноватая улыбка. То-то же! Не плюй в колодец! Я сел рядом, взял её руку и зажал в своих ладонях, пытаясь заглянуть ей в глаза. Она не вырвала руку, не от-



страшилась, но смотрела куда-то в сторону. Наконец произнесла:

– У меня будет ребёнок...

Я опешил. Ну...это же точно не от меня, мы уже около пяти месяцев в разладе. Но я не знал, как реагировать, и задал дурацкий вопрос:

– И что?

– Я не могу просить помощи у родителей... Они не должны об этом узнать.

– А этот...который отец...он что?

– Он говорит, что женитьба и дети в его планы сейчас не входят. И вообще...

– Что вообще?

– Мы расстались.

Так он её бросил, этот математический вундеркинд! Я тоже мог бы встать и уйти, но не ушёл. Вспыхнувшая было надежда на прежние отношения померкла, но я не мог спокойно смотреть на её страдания.

– Ты хочешь избавиться?

– А что мне делать? Скоро сессия!

Я понял: ей нужны деньги.

– Сколько? – спросил я.

Она назвала сумму. Не очень большую, но у меня-то не было ни гроша. Тем не менее, я сказал:

– Пойдём со мной.

Она думала, что мы идём ко мне домой, но, не доходя, мы свернули в переулок. Я усадил её на лавочку и пошёл к Митяю, который, к счастью, оказался дома. Я попросил у него займы, пообещав отработать на погрузках-разгрузках. Он дал, сколько было нужно, я тут же передал деньги Паше.

– А дальше сама справишься или...

– Да, справлюсь, – повеселевшим голосом ответила Паша.

– Но ты хоть позвони потом, чтобы я знал, что всё кончилось благополучно.



– Конечно, конечно. Спасибо.

Я потом дважды таскал тяжёлые ящики за здорово живёшь. Правда, Митяй всё-таки сунул мне сотню на сигареты. Но у меня от этого дела с Пашей остался какой-то неприятный осадок: ведь я невольно загубил только что зарождавшуюся жизнь. Если бы не помог Паше, то, может быть, родился бы ещё один человек... Она позвонила через пять дней, коротко бросив в трубку:

– Всё нормально. Спасибо.

Я понял, что на дальнейшее общение нечего было и рассчитывать. И затосковал. А когда я тоскую, меня тянет к бутылке. Я то выпивал с невесть откуда взявшимися новыми друзьями, которым, как и мне, некогда было девать время (они и угощали), то расслаблялся вместе с Андрюхой, но довольно редко, потому что у него была сессия. Бабушка, навещая нас, негодовала:

– Как можно жить, ничего не делая?! В советское время тебя уже давно бы привлекли к ответственности за тунеядство! Ладно уж, будем тебя кормить, но ты бы хоть за учёбу взялся!

Я отмахивался от неё, как от назойливой мухи, и благодарил новый государственный подход к таким, как я: хочешь – работай, не хочешь – живи, как умеешь. Я и жил, как умел.

Андрюха переполз на последний, пятый курс. На радостях мы закатились в кафе и хорошо погуляли. Он предложил мне погостить недельку у него в их городке, где я нередко с ним бывал, пользуясь расположением его матери, тёти Нади. И на этот раз я не отказался. А потом родилась идея поехать на море месяца на два, если получится. Я не был на море с тех пор, как перешёл в одиннадцатый класс, – надо было готовиться к госэкзаменам и поступлению в университет. Позже мне не давали денег на такую поездку потому, что, по вполне справедливому мнению бабушки,



я не заслуживал подобного поощрения. Я очень соскучился по морю, но где же взять деньги? Великодушный Андрюха, как всегда, предложил свою помощь. Я отказывался, наконец, сошлись на том, что я там попробую что-то заработать и верну ему долг.

Через несколько дней мы обосновались на Черноморском побережье неподалёку от Адлера. Фанерные домики и удобства на улице предназначались раньше для студентов одного из столичных вузов, а теперь принадлежали какому-то бизнесмену, но плата за постоя была умеренной. Рядом находилась приличная столовая с набором недорогих и вполне съедобных блюд. Мне повезло: уже через день я устроился на сезон спасателем. Платили мало, но на еду и сигареты хватало. Одно тяготило: нельзя было выпить, потому что спасатель всегда должен быть трезвым. Но я как-то незаметно привык к такому состоянию и даже почувствовал вкус к трезвости, испытал на себе её благотворное влияние. Своим местом дорожил: ведь я впервые жил на то, что зарабатывал и даже мог вернуть долг другу. Поэтому, когда загрустивший от безделья Андрюха подсел ко мне с бутылкой коньяка, я наотрез отказался.

Андрюха, наливая себе по стопочке и глядя на разбушевавшееся море, пробовал убедить меня, что сегодня мои услуги никому не понадобятся, потому что ни один дурак не полезет в такое море. Но дурак нашёлся, и это был он сам. Употребив с полбутылки коньяка, он сказал, что изнемогает от жары и хочет пройтись по кромке воды.

Солнце действительно палило мощно, люди на пляже лежали, в основном, под зонтиками, никто не рисковал сунуться в бушующие волны. Андрюха пошёл по тому краю, где они разбивались о гальку и с силой откатывались назад. Я поглядывал на него с маленького причала, где всегда наготове лежали



спасательные круги с канатами. Море стало стихать, и три-четыре смельчака, как видно, неплохие пловцы, стали «кататься» на волнах, успевая вскочить на них прежде, чем они разобьются у берега. Я и подумать не мог, что никудышный пловец Андрюха последует их примеру. Но пьяному же море по колено!

Андрюха прыгнул на волну, но не удержался, и она, откатываясь, потянула его в море. В следующие секунды его подхватила другая, набегающая волна и накрыла с головой. Он едва успел глотнуть воздуха, когда волна опала, но следующая снова накрыла его, с силой ударила о дно, а потом быстро потащила в море.

Я сорвал круг, привязанный одним концом каната к причалу, и бросил его в море. Но Андрюху уже унесло дальше. Не раздумывая, я кинулся в волны. Подныривая под них, выныривая, я добрался до Андрюхи в тот момент, когда он, захлёбываясь, уже практически шёл ко дну. Ухватив за волосы, я вырвал его голову из воды и крикнул:

– Цепляйся за меня и толкайся ногами! Задержи-вай дыхание, когда накрывает волна!

В следующий миг я воспользовался тем, что волна шла к берегу, она приблизила нас к спасательному кругу. Не знаю, каким усилием, но я сделал эти необходимые несколько рывков, чтобы достичь круга. Я протолкнул сквозь него Андрюху, а сам поплыл к берегу. Кто-то уже подтягивал канат к причалу. Я подплыл, тоже взялся за канат и быстрыми рывками извлёк Андрюху из воды. Мертвенно-бледный, он едва соображал, что произошло. Собравшиеся вокруг отдыхающие оживлённо обсуждали происшествие. Среди них, как оказалось, была семья из того городка, где жил Андрюха, причём знакомые его матери. Они потом красочно описывали ей, как я спасал её сына от неминуемой гибели. Так я окончательно утвердился в её глазах, как самый большой друг Андрюхи.



С моря мы уехали немного раньше, чем намечали, потому что Андрюха от него устал! Я не понимал, как можно устать от моря, но сочувствовал другу, пережившему большой стресс. Да и занятия в университете близились. Но я был безмерно рад, что полтора месяца провёл в своей стихии и даже заработал и на обратную дорогу, и хотя бы недели на две безмятежной жизни дома, когда не нужно будет кланчить у мамы деньги на сигареты.

8

Вернувшись с моря, я застал на своём диване старшего брата. Он уволился из армии по состоянию здоровья, разошёлся с женой, которая поселилась с ребёнком у своей матери в нашем же городе, но на другой улице. Мне теперь пришлось спать на раскладном кресле. Но были и приятные новости: брат привёз компьютер и купил нам с мамой сотовые телефоны.

С работой по-прежнему была безнадёга. У брата тоже. Он сидел целыми днями в Интернете, общался с каким-то другом по скайпу, разыгрывая большие сражения с уничтожением танков, самолётов и даже целых флотилий. Я не мог выносить их крика, уходил к друзьям, у которых иногда оставался ночевать, и от безделья снова начал попивать, всё больше и больше втягиваясь в это дело.

О личной жизни теперь нечего было и думать – привести девушку некуда, а встречаться в подворотнях я не привык. Да и свежи ещё были воспоминания о Паше, я никого не мог поставить рядом с ней.

Но вот на горизонте что-то засветилось: у общих друзей я познакомился с Кристиной. Красивая девушка из колледжа искусств меня «зацепила». Будущий дизайнер, она показывала мне свои рисунки, а я ей – наши красочные фолианты с репродукциями картин из разных художественных галерей.



Через полмесяца мы решили, что любим друг друга и нам необходимо жить вместе. Но где? Она снимала комнату вместе с двумя подругами, тоже студентками-выпускницами, а я не мог привести её к себе. Нашли на окраине частный дом, где сдавалась комната с кухней и душем. Нас это устраивало. Но, чтобы оплачивать жильё, мне надо было срочно найти работу. Я ухватился за первое попавшееся: грузчик на фирме, которая развозит молочные продукты по школам и детским садикам. Груз не очень тяжёлый, это не мешки с сахаром и не ящики с бутылками. Только надо было очень рано встать и ехать почти через весь город, чтобы успеть к восьми утра. Снять комнату поблизости было нельзя, потому что тогда ездить пришлось бы Кристине, а я этого допустить не мог.

Говорят, чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. Эта самая соль постоянно присутствовала в наших отношениях с Кристиной. Её всё время что-то не устраивало, а главное, как я понял, не устраивало то, что я был не журналистом, не телеведущим, не врачом или, на худой конец, учителем, я был простым грузчиком. Того, что на заработанные деньги я оплачивал жильё, покупал продукты и даже делал ей небольшие подарки, она понимать не хотела.

Но, несмотря на неустойчивость семейной погоды, на «семь пятниц» в один день у Кристины, я пытался получить то, чего не удалось получить с Пашей: семью. Я привязался к этой капризной девочке, думая, что и она меня любит. Но всё чаще Кристина стала надувать губы и подолгу болтать по мобильнику с подругами, игнорируя моё присутствие. И всё чаще она отвергала мои ласки, ссылаясь то на плохое настроение, то на недомогание, то на желание спать.

Я лежал рядом с ней, не ощущая никакого тепла, ни телесного, ни душевного, и пытался понять, почему так происходит. Если Паша имела право назвать меня



бездельником, то Кристине благодаря мне не приходилось тратиться ни на жильё, ни на питание. И вдруг меня осенило: через месяц она получит диплом, и нужда во мне отпадёт! Эта хитрая капризуля исподволь готовит меня к неизбежному разрыву!

Едва рассвело, я, утомлённый бессонницей, встал раньше обычного и ушёл из дома, когда Кристина ещё спала. Она не найдёт на кухне готового завтрака с чашечкой кофе, ну и поделом ей. Я устал от наших непонятных отношений, приправленных не только солью, но и перцем. Возвращаясь с работы, я хочу видеть дома жену, а не вечно недовольную девицу. Пусть теперь она хоть раз приготовит мало-мальски съедобный ужин. Но, конечно, никакого ужина не оказалось, а Кристина встретила меня в штыки:

– Прочитать меня вздумал?! А если я действительно так устала, что просто провалилась в сон, и мне было не до интима!

– Я же не настаивал...

– Но ты постоянно лезешь ко мне!

– Ле-е-зу? Та-а-ак... Может, я противен тебе? Ты скажи. Я могу уйти.

– Уйти?! Соблазнил меня, а теперь уйти?!

– Соблазнил – сильно сказано. Ты посмотри, какой я по счёту в твоём списке.

Вот это я, конечно, сказал напрасно. «Неблагодарно» было с моей стороны напоминать ей о том, что я у неё далеко не первый в её неполные двадцать лет.

Кристина взвилась, что-то кричала, швыряла вещи, потом собирала их в сумку и снова расшвыривала и истерично кричала:

– Не прикасайся ко мне! Пьяница! Ничтожество!

Я не мог больше это видеть и слышать. При ней я редко позволял себе выпить, да и то в меру, а она обзывает меня пьяницей! Я ушёл и уже через час был у Митяя. Вот тут-то я напился, остался у него на ночь



и...опоздал на работу. Очень сильно. На два часа! Это было уже третье опоздание. Первые два раза я проспал, не услышав будильника, и задержал доставку всего минут на десять. Тогда меня простили, а на этот раз начальница, дородная женщина в чёрном парике, сурово сказала, едва взглянув на меня:

– Ты уволен. Зайди к кассиру за расчётом.

Я не стал горевать: подумашь, золотое место! Но теперь надо искать работу, чтобы оплачивать жильё и ублажать Кристину. Я решил вернуться на съёмную квартиру, чтобы помыться, переодеться и взять паспорт, прежде чем отправиться на поиски нового места работы. Вернувшись в наше «семейное гнездо», я увидел, что оно начисто разорено. Повсюду валялись вилки, ложки, кастрюли и мои вещи. Вещей и сумки Кристины не было.

Ну, всё опять пошло наперекосяк! От вечной невезухи, от неустроенности я впал в тоску, а против неё у меня было лишь одно проверенное средство. Я пошёл в магазин напротив, взял бутылку и колбасу, дома поставил это на столе перед собой и...зачастил. Через час в бутылке уже ничего не осталось. Я пошёл в магазин и взял ещё одну.

Теперь я пил медленно, чтобы не потерять способности размышлять. А подумать было над чем – над всей моей действительно ничтожной, никому не нужной жизнью. Сам ужаснулся: как я дошёл до этого? Сначала простое студенческое легкомыслие и надежды на русский «авось» – авось всё образуется! Моя природная лень усугубляла положение. При первых же сбоях надо было заставить себя сесть за учебники, а я не мог. Надо было ходить на занятия, и уже только за это мне могли бы простить мои прегрешения и правдами-неправдами натянуть троечки, вон как Андрюхе. Но я подстерегал Пашу, и не было для меня ничего важнее любви. И чем всё это кончилось?



Паша скоро станет дипломированным специалистом, а я то копаю траншеи, то таскаю мешки или ящики. Нечего сказать: достойное занятие для интеллигента в четвёртом поколении! Я забросил экстернат, опять пустив по ветру бабушкины деньги. Она, конечно, покричит, даже обзовёт нехорошими словами типа «лодырь», «негодяй», «тупица», «даже с экстернатом филфака не мог справиться!» Но только она меня и пожалеет, положит сотню на мобильник и даст денег на сигареты, возмущаясь при этом:

– Нет денег на сигареты – не кури! Попрошайка!

Но пока ни она, ни мама не догадывались, что у меня появилась вредная привычка пострашнее – алкоголь. Я, правда, ещё и сам не понимал этого, не придавая значения тому непонятному томлению, которое испытывал при виде бутылки водки и даже кружки пива. Пиво казалось мне безопасным: разве что посадишь печень, а чтобы опьянеть, много надо. Оказалось, не так и много, особенно в сочетании с водкой.

Размышляя, я всё тянул и тянул её, наливая себе то четверть, то треть стакана. Видно, права была Кристина, обзывая меня пьяницей: я пью и не хочу останавливаться, не думая о последствиях. Наверное, я пил не только в тот печальный день, когда меня оставила Кристина, но и всю ночь, сходяв в магазин ещё за бутылкой. Как вырубился, не помню. Очнулся поздно утром, огляделся... А что я делаю в этой жалкой развалюхе, именуемой частным домом размером в одну комнату и кухню с душем? Мне здесь больше нечего делать. И хотя до конца оплаченного месяца оставалась ещё неделя, я ушёл, позвонив хозяину.

– Деньги за неделю не верну! – предупредил он.

Да и не надо! Подумаешь, деньги...Каких-нибудь пятьсот рублей из тех трёх тысяч, что уплачены за месяц. У меня ещё немного оставалось от расчёта, полученного в фирме. Я отправился домой и снова посе-



лился на раскладном кресле. И опять не мог по-настоящему выспаться ни днём, ни ночью, слушая, как Стас орёт по скайпу своему кенту:

– А я тебя завалил! Торпеда! Твоя подлодка пошла ко дну!

«Неплохое» занятие для взрослого мужика, подсевшего на компьютерные игры и на Интернет. Ещё та зараза, не лучше водки!

Летом мои бывшие друзья разъехались с дипломами кто куда. Я, безработный и пристрастившийся к алкоголю за чужой счёт, понимал, что не вписываюсь в их компанию. Один Андрюха был мне верен и снова пригласил меня к себе в гости дней на десять. Совместные возлияния продолжались, но вполне умеренные. Он предложил поехать вместе в горы, но это предложение меня не заинтересовало. Горы я не любил, да и отдыхать на деньги друга устыдился. А зарабатывать там я ничего не мог. Какой из меня горный спасатель! Там крепкие парни, высокая квалификация. А у меня коленки дрожат и дыхание сбивается, когда я поднимаюсь по лестнице на свой четвёртый этаж. Допился! Я пожелал Андрюхе доброго пути, и мы расстались, пообещав не забывать друг друга.

Я вернулся домой и занялся поисками работы. Нашёл место в рекламном агентстве. Опять зазывалой: купите место в нашем вестнике, а мы вас так похвалим! Чтобы их похвалили, хотели все, но бесплатно. Найти охотников раскошелиться было трудно, и я зарабатывал гроши. Но и их не успел получить, когда на меня обрушилось страшное несчастье.

Звонила тётя Надя, всё время упоминала имя Андрюхи и, рыдая, говорила что-то несуразное, но уже сам её голос рвал мне сердце на части. Наконец, я понял: погиб Андрюшка, сорвался в пропасть. Там, в горах. Как я ругал себя, что отказался ехать с ним! Мне казалось это жутким предательством по отношению



к нему. Если бы я был рядом, возможно, уберёг бы его. Но я отказался и теперь не мог себе этого простить.

Я бросил работу в агентстве. С тётей Надей мы поехали к месту трагедии. Тело Андрюхи нашли случайно на четвёртый день после гибели. Везти его домой было невозможно, и мы похоронили его на месте. По возвращении тётя Надя не отпускала меня ещё несколько дней. Она отдала мне некоторые вещи Андрюхи и просила носить в память о нём. Я не мог отказать.

Лето и осень прошли в каком-то сумбуре. Теперь, когда у меня не было настоящего друга, я прилипал к каким-то ребятам, которые с готовностью слушали мои песенные вирши, сами что-то пели под гитару. А все вместе мы пили, пили и пили...

Я пробовал работать, но везде было одно и то же: без диплома ничего приличного не найдёшь, а без него – унижительный труд за гроши. Но однажды я узнал, что напрасно такое большое значение придают этим корочкам. Как-то встретил того Михася, который пел до меня в нашей студенческой группе. Он уже несколько лет преподавал историю в школе.

– Получив диплом, я сразу женился, потому и ушёл из ансамбля, – рассказывал он. – Надо было кормить семью. Пошёл в одну школу – зарплата восемь тысяч, в лицей – там десять. Обратился в гимназию, дали ещё часы по ОБЖ и предложили за всё двенадцать. Жена получает девять тысяч за часы по географии и...рисованию – она училась в художественной школе. Хорошо, что живём у её родителей, а если квартиру снимать, то не выживешь.

Так что же тогда ко мне все пристают с этим дипломом? Он может гарантировать только гроши! И я перестал комплексовать по этому поводу. Хорошо бы сидеть где-нибудь за компьютером, думал я, мне это нравилось. И к зиме я нашёл такое место! Почти не пил, держался изо всех сил! Заработал за месяц де-



вять тысяч, за второй – девять с половиной, была возможность роста. И тут на моём праведном пути стал искуситель Игорёк, бывший одноклассник. Он программист, имеет в столице комнату в доме типа общежития, зарабатывает на собственное жильё. Сейчас только что приехал на побывку домой из Москвы, где, по его словам, умные парни забивают по сорок, даже шестьдесят с лишним тысяч в месяц! Москва – это Москва! Какой простор для творческой натуры!

– У тебя такая brutальная внешность, тебе только в кино сниматься! – убеждал он меня.

– Так я же не артист, – напомнил я ему.

– Это не обязательно! Брюс Уиллис, знаешь, как попал в кино? Прочитал где-то, что для нового фильма нужны люди на роли опустившихся типов...

– Ну, если опустившихся... – невесело пошутил я.

– Да ты слушай! Он, как был после перепоя, небритый, с помятой мордой, в истрёпанной одежде, так и пошёл. Режиссёр, как его увидел, так и выпалил: «То, что нужно!» Теперь знаменитость планетарного масштаба.

Эта легенда мне сильно понравилась, но я боялся рисковать. Бросишь работу здесь, а там не возьмут... Игорёк говорил убедительно и предлагал перекантоваться у него, пока я не найду себе работу на киностудии или ещё где. В общем, как сказала когда-то бывшая соседка тётя Вера, можно было окончательно «определиться». Это было заманчиво: из «ничтожества», которым меня обозвала Кристина, стать знаменитостью киномира. Ну, пусть не планетарного масштаба, пусть в пределах своего Отечества, но это что-то! Пусть тогда Кристина и ей подобные кусают локти! А подспудно меня тянуло в столицу ещё одно обстоятельство: где-то там, получив диплом, живёт и работает Паша. Стать киноактёром, найти её и вернуть. Заманчиво!



Не знаю, хватило бы у меня решимости так круто поменять жизнь. Я не принадлежал к породе мечтателей, маниловщиной не страдал, поэтому подумал, что лучше подождать до тепла. Но всё решил неожиданный звонок.

9

Звонили на домашний телефон. Я поднял трубку и... не поверил своим ушам – звонила Паша. Голос у неё был слабый, глухой, как будто пробивался из подземелья.

– Привет, – начала она, как обычно.

– Привет, – отозвался я, плохо скрывая радость, а сердце у меня гулко застучало молотом. – Ты где?

– В больнице.

– В больнице? – встревожился я. – А что с тобой?

– Мне очень плохо...

– Ты в какой больнице, в первой или четвёртой? – спрашивал я, думая почему-то, что она вернулась в наш город.

Она назвала адрес.

– Так это где? – не понял я.

– В Москве...где же ещё...Я тут совсем одна...Мне плохо...

Паше плохо, и она одна! Разве мог я раздумывать? От зарплаты у меня оставалось семь тысяч «с копейками».

– Мне приехать? – на всякий случай уточнил я.

Паша молчала. Я принял это как знак согласия.

– Я приеду! – крикнул я в трубку. – Ты держись, я скоро приеду!

Я даже не подумал о том, что надо бы предупредить начальство на работе об отъезде, может, оформить отпуск на неопределённое время за свой счёт. У меня в голове была только больная Паша, совсем одинокая в огромной чужой Москве. Заодно можно показаться на какой-нибудь киностудии, где снимают сериалы. Пока поселюсь у Игорька, а потом видно будет.



И вдруг меня будто что-то толкнуло: а что скажет мой шарик? Я выволок его из-за керамической вазы, где он стоял долгое время, забытый мною. Поставил на самое видное место так, чтобы на него попадало как можно больше света из окна. «Море» было спокойным, но не желало светлеть, оставаясь почти чёрным, несмотря на яркое солнце воскресного дня.

«Просто ему здесь недостаточно света, – подумал я, – зима же!» И начал быстро собираться, чтобы успеть на автобус до Москвы, отходивший через полтора часа: надо ещё добраться до вокзала! Желая задвинуть свой сувенир за вазу, чтобы не мозолил тут без меня никому глаза, я подошёл к секретеру и... обомлел! В верхней, светлой части шарика проступали нечёткие очертания какого-то лица! Мне показалось, что я узнал его! Это была женщина, подарившая мне сувенир. Она качнула головой, будто хотела сказать: «Нет!» Я сдвинул шарик – и лицо (или просто какое-то пятно?) исчезло. Я стал вертеть шарик во все стороны, но изображение больше не появлялось. «Долой мистику! Это всего лишь игра света», – решил я и, успокоившись, направился на автовокзал.

Двадцать часов пути на автобусе – и вот она, столица! Я и не подумал о том, что надо бы сначала позвонить Игорьку, поехать к нему, передохнуть с дороги, а потом с его помощью найти нужную больницу. Я кинулся искать её сам, спрашивая у прохожих, как туда добраться, пересаживаясь из метро на троллейбус, потом снова в метро, а затем на автобус...И я её нашёл!

С пакетом апельсинов, облачённый в белый халат, я вошёл в палату. Пашу увидел сразу, подошёл к ней, улыбаясь, и сел на край кровати. На её лице я радости не прочёл. Паша лежала какая-то отрешённая, и я счёл своим долгом сказать:

– Ну, вот...Я здесь, рядом с тобой. Теперь всё будет хорошо.



Как видно, Паша мой оптимизм не разделяла. На бледном лице не появилось даже и тени улыбки. Она что-то хотела сказать, наверное, о чём-то попросить, но не решалась. Я подбодрил её:

– Ты говори, что нужно, я...

– Нужно, чтобы ты сходил к нему...

– Поговорить с врачом? – уточнил я, готовый тотчас же найти эскулапа и выяснить, что необходимо для выздоровления Паши. Нужны деньги? Я опять пойду копать траншеи, даже здесь, в Москве.

– Нет, причём тут врач, – недовольно сказала Паша.

– Сходи к Олегу...

– А кто это? – насторожился я.

– Ну...это... В общем, мы здесь познакомились...

Снимаем комнату...

– Я не понял...Живёте вместе?

– Да... Но...он обиделся на меня и не приходит...А я тут совсем одна...

– Так я же приехал!

– Ну...ты приехал...Ты уедешь... Сходи, пожалуйста, к Олегу, поговори с ним.

– В смысле?

– Расскажи, как мне плохо! – нетерпеливо сказала, чуть не крикнула Паша.

Я сидел, как дурак, как оплётанный тысячу раз болван, поверивший в чудо, которого уже никогда не может быть. Уж слишком откровенно она боялась потерять какого-то Олега. И я вдруг словно прозрел, я не узнавал прежней Паши, ради которой мчался в Москву. На больничной койке лежала сломленная чем-то женщина, ничем не напоминавшая ту Пашу, с которой мы так безудержно предавались страсти. Во мне шевельнулось что-то, похожее на жалость. И раз уж я приехал, а для неё важно, чтобы я поговорил с неведомым мне Олегом, я к нему схожу. Паша назвала адрес. Объяснила, как его найти.



Было уже темно, когда я вышел из больницы. Долго добирался до нужного дома. Занятый своими мыслями и вновь нахлынувшей тоской, я не позвонил Игорьку, решив, что сделаю это после разговора с Олегом. Из подъезда указанного Пашей дома как раз выходила женщина, и я не стал набирать код, вошёл и сразу поднялся на третий этаж.

Дверь открыл здоровый парень, на полголовы выше меня. Он удивлённо спросил:

– Вам кого?

– Я от Паши, – сказал я, пытаюсь скрыть своё беспокойство: мне почему-то было не по себе при виде этого громилы.

– От Паши? – удивился он. – А что с ней?

– А разве вы не знаете? Она в больнице.

– Знаю, да тебе-то что? – перешёл он на непочтительный тон.

Я попытался объяснить ему, как ей плохо, и с его стороны нехорошо, что он её не навещает, и что... Он прервал мою эмоциональную речь, грубо рявкнув:

– Ты чего лезешь в чужую жизнь? А ну пошёл отсюда!

Он буквально спустил меня с лестницы. Я думал, что переломаю руки и ноги, но, оказавшись внизу и оцупав себя, понял, что уцелел. Но не понял, пойдёт ли эта горилла к Паше. Я решил, что завтра снова навещу её и уговорю уйти от Олега. Разве можно жить с таким диким существом? Может, это из-за него она слегла с таким тяжёлым нервным срывом?

Я вышел из подъезда и пошёл по улице, забыв, в какой стороне автобусная остановка. Надо как-то добраться до Игорька. Было очень холодно. Зима в Москве – это совсем не то, что у нас на юге. Вдруг справа засветились окна маленького бара. Я зашёл выпить, чтобы согреться. Употребив сто граммов водки, почувствовал себя лучше и увереннее. Теперь можно позвонить Игорьку. Облазил все карманы – мобильника не было



нигде. Адреса его я не знал, у меня был только номер в мобильнике, который я и не собирался запоминать.

Где я выронил мобильник? Возможно, в том подъезде, где эта дубина Олег спустил меня с лестницы, а может быть, и раньше, пока я к нему добирался. Ситуация не из лёгких: я был на очень далёкой окраине столицы и, сколько ни ходил по улицам, не мог набрести на какую-нибудь гостиницу. На дворе уже глубокая ночь, сильный мороз, а мне идти некуда.

Наконец, один из подъездов открылся, оттуда выпорхнула парочка. Я стоял рядом и воспользовался этим. В подъезде было не так холодно, как на улице, а главное, не бил в лицо жгучий ветер. Пристроившись в закутке неподалёку от батареи, я почувствовал, что зверски устал за день, и не хотел уже никуда двигаться. На мне были тёплые сапоги Андрюхи и не менее тёплая куртка стоимостью более двух тысяч долларов. Вещи друга и память о нём согревали меня, и скоро я заснул.

Утром вышел из подъезда и пошёл искать магазин или столовую, где можно было бы позавтракать. Набрёл на киоск с кофе и булочками. Мне этого было достаточно. Горячий кофе приободрил меня, и я, шагая по улице, стал соображать, как мне отсюда попасть в больницу к Паше. Всё-таки меня не покидало беспокойство о ней. Судя по приёму, оказанному мне Олегом, он вряд ли собирался навестить Пашу. Я должен, по крайней мере, сообщить ей об этом.

Шагая по улице, я вдруг увидел вывеску, оповещавшую, что здесь, в этом здании, находится студия, пекущая сериалы. Картинками с кадрами были залеплены два окна. Ну, вот она, удача! Сама в руки идёт! Я вошёл. На меня выжидающе смотрел человек средних лет.

- Я относительно работы... – несмело начал я.
- Артист? – оглядев меня, спросил мужчина.



- Нет.
- Каскадёр?
- Нет... Просто...может, в эпизоде...
- В эпизодах у нас народные артисты снимаются.
- Ну, в массовке...
- Москвич?
- Нет.
- Ну, хоть регистрация-то есть?
- Нет. Я только приехал.
- Так чего пришёл? Мы чужих не берём. У нас своих таких без счёта.

Я вышел, не испытав особого сожаления. Что ж, не всем ни с того, ни с сего падает на голову голливудское счастье. Во всяком случае, я понял, что не так просто войти в мир кинематографа, а тем более сделать на этом поприще карьеру. Чужому!

Пока добирался до больницы двумя автобусами, троллейбусом и на двух линиях метро, окончательно понял: мы со столицей никогда не сроднимся. Москва с её несуразно раздутыми масштабами, огромными людскими и автомобильными потоками, бесконечной сутолокой утомила меня. Мне хотелось домой. И я рассчитывал захватить с собой Пашу, которая попала здесь в тяжёлую ситуацию. Я почти не сомневался, что она, брошенная Олегом, одинокая, больная, несчастная, ухватится за меня, как за спасительную опору, хотя бы для того, чтобы выбраться из неприветливой Москвы, где все другие, кто «понаехал», – чужие. Мне тоже здесь делать нечего. Меня даже дворником не возьмут, потому что конкуренты-таджики старательнее и сговорчивее. И у Паши, видать, жизнь в столице не ладится, раз она оказалась в больнице.

Полный решимости, я снова купил апельсины (Паша их любит), сдал в раздевалке куртку, надел на сапоги полиэтиленовые бахилы, накинул белый халат и поднялся на четвёртый этаж. К палате подохо-



дил в самом радужном настроении, с предвкушением успеха своей спасательной миссии. Может, я по природе спасатель? Дважды спас друга, да и Паше не раз помогал выйти из очень затруднительного положения. А сейчас, как бы она ни сомневалась, как бы ни возражала, Пашу надо обязательно вывезти из Москвы, пока столица окончательно её не сломила. Пусть едет не ко мне, если не хочет, пусть едет домой.

Войдя в палату, я увидел лицо Паши, на котором светилась лёгкая улыбка. Я отнёс это на свой счёт, и мне было приятно, что она встречает меня с радостью.

– Ну вот, я же говорил, что всё будет хорошо, – начал я бодренько.

Но Паша, увидев меня, вдруг нахмурилась и, с беспокойством поглядывая на дверь, спросила:

– А разве ты не уехал?

– Как видишь! Я пришёл к тебе с предложением, от которого ты не сможешь отказаться, – проговорил я шутливо.

– Какое ещё предложение? – недовольно спросила Паша.

– Ну как какое? Хочу помочь...

– Чего ты всё лезешь не в своё дело?! Зачем ты приехал?! – вдруг почти закричала Паша, устремив беспокойный взгляд на дверь.

Я оглянулся: в палату входила разъярённая горилла, именуемая Олегом.

– Но тебе же было пло...

Я умолк, потому что Олег подошёл к Паше с другой стороны кровати, и она тут же схватила его руку, чтобы убедительнее показать, как рада ему и как недовольна моим присутствием.

– Парень, что тебе неясно? – Олег устремил на меня взгляд, полный унижительного благодушия, такой, как смотрят на надоедливую козявку, которую запросто можно раздавить, а не давят лишь из чувства брез-



гливости. – Давай уматывай отсюда, а то помогу, как вчера.

Паша молчала и сосредоточенно смотрела на меня, будто подгоняя к двери. Я всё понял и вышел, даже не попрощавшись. Чёрная змея точила моё сердце, и от этого боль расплзалась почти по всей груди. Я долго шёл по улице, не понимая, куда именно. Наконец, увидел вход в метро. Остановился, подумав, что мне надо зачем-то на Казанский вокзал. И вспомнил: оттуда ходят автобусы в наш город. Домой! Прочь из столицы, которая безжалостно выбрасывает на улицу наивных простачков вроде меня, не заботясь об их дальнейшем существовании.

10

Я успел на рейс. Двадцать часов пути меня не тяготили. Наоборот, будет возможность отоспаться в тепле. Но меня всё ещё мучили душевные терзания, и уснуть никак не удавалось. Я пытался понять, чего же на самом деле хотела Паша, когда звонила мне. Может быть, она хотела продемонстрировать Олегу, что есть человек, готовый лететь за ней на край света? Так сказать, наглядный пример того, что он, Олег, может потерять её. Ничего другого мне на ум не приходило.

Пожилой мужчина в соседнем кресле уже давно посматривал на меня с интересом, желая завязать дорожный разговор. Говорить мне не хотелось, но было бы невежливо не отвечать на его вопросы. И он задал первый вопрос:

- Студент, наверное? Домой на каникулы?
- Лучше сказать «вечный студент», – невесело пошутил я.
- Что так? Не ладится учёба?
- Жизнь не ладится.
- Да-а-а, время сейчас такое, – посягая на философские размышления, сказал сосед. – У меня вот тоже



внучка всё на жизнь жалуется. Скучно ей, видите ли, сидеть от звонка до звонка в нотариальной конторе и бумажки оформлять, да ещё за маленькую зарплату.

– А разве не скучно? – поддержал я неведомую внучку.

– Так зачем же шла в юридический институт? Скучно везде, если тебе твоё дело не нравится. А когда нравится, то и не замечаешь, что рабочий день уже кончился. Я вот всю жизнь бухгалтером проработал...

– Ну и скучища, наверное, – прервал я его.

– Не скажите. Я на большом производстве работал. Там такие огромные суммы, а ты должен всё до копейки учесть. Иной раз ищешь эту копейку, как сыщик, разные способы пробуешь. Найдёшь и так же рад, как если бы преступника схватил за руку. В числах какая-то сила есть, магическая, что ли. Она меня с детства притягивала.

– Вам повезло, – вздохнул я.

– А вы что же, ещё не определились?

Я невольно вспомнил тётю Веру!

– Выбрал поначалу совсем не то, поменял – и снова не то...

– А вот какие любопытные вещи бывают, – стал рассказывать сосед. – Недавно по телевизору показывали. Один англичанин, из состоятельных, с женой развёлся и махнул в Сибирь, посмотреть, что это за край такой. И так ему понравилось, что он на хуторе, где всего-то пятнадцать человек живёт, остался! Влюбился, женился, сейчас уже трое детей. Он скотину разводит, сам дрова для печки рубит. Стоит румяный такой от мороза, улыбается. Доволен!

– Видел я этого Майкла. Он себе такую жизнь выбрал потому, что влюбился. Ради любви чего только не сделаешь!

Я при этом подумал о Паше и о своих безрассудствах во имя какой-то странной, болезненной люб-



ви к ней, погубившей мою учёбу, возможную карьеру и вообще жизнь.

– Семья – это святое, – подхватил бухгалтер. – Даже звери...охотятся, чтобы деток накормить. Птички сколько раз в день за червячками слетают, чтобы птенчикам своим корм принести! Так уж мир устроен: живёшь – трудись. И благодари родителей, что произвели тебя на свет, и ты каждый день видишь, как солнце всходит, поля видишь, леса, красоту эту, которая вокруг тебя.

Дальше я не слышал, уснул. Когда проснулся, соседа уже не было, вышел где-то по пути. А я подумал, что, возможно, нашёл своё дело, которым, пожалуй, смогу заниматься, чтобы прокормить себя, а потом и своих «птенчиков». Мне нравилось сидеть за компьютером в той фирме, куда я устроился в последний раз.

Но Паша! Паша и здесь мне всё сломала. Я так поспешно кинулся её спасать, что не предупредил руководство об отъезде. Когда же я не вышел на работу, с фирмы позвонили, узнать, не заболел ли. Стас, вечно занятый компьютерными боями, бухнул сходу правду: уехал в Москву на неопределённое время. Когда я явился на работу, за компьютером сидела незнакомая девица, а мне объявили, что я уволен за пятидневный прогул.

Снова начались поиски подходящей работы. Безнадёжные поиски. И я уже с трудом заставлял себя открывать двери очередного офиса, потому что заранее знал ответ: не нужен.

Знакомая ситуация. Где-то я уже слышал... Или читал? Ну, конечно: Драйзер, «Сестра Керри»! Герствуд, управляющий в процветающей фирме, привыкший жить на широкоую ногу, из-за любви к Керри пошёл на должностное преступление и потерял всё: работу, прекрасный дом, друзей, а в конце концов и любимую женщину. Потом он уже не мог заработать хотя



бы себе на пропитание – чувство собственного достоинства не позволяло ему заниматься «грязной работой», а на что-то лучшее рассчитывать не мог.

Ох, уж это чувство собственного достоинства! Как же оно мешало мне! Я знал, что способен на большее, чем рыть канавы или таскать ящики, а то, что называют общим развитием, у меня намного выше, чем у некоторых обладателей «корочек». Но это никого не интересовало. Изменить судьбу мне, как и Герствуду, не хватало силы воли. В этом отношении неудачники двадцать первого века ничем не отличаются от неудачников девятнадцатого столетия. Я уже позже понял, что достоинство человека не зависит от профессии и даже от отсутствия таковой. Оно зависит от внутреннего содержания личности. А я, кажется, деградирую, теряю над собой контроль, предаваясь безделью и пьянству? Какое уж тут достоинство?!

Сознавая это, я, тем не менее, зачастил к Митяю, который мог предложить мне лишь привычное утешение в виде стакана водки и своей жизненной позиции:

– Я на постоянную работу никогда не пойду. Это же кабала! Кто бы ты ни был – врач, учитель, слесарь, дворник, чиновник, – должен отбыть своё «от и до». А это же самое трудное – ходить каждый день на службу и каждый день делать одно и то же! Со скуки помрешь. А я свободен! Мне никто не указ. Нужны мне деньги – пошёл и погрузил чего-нибудь. Или забор кому поставил, стенку заштукатурил, дверь покрасил, в сарае или во дворе что-то разгрёб... Такой работы везде полно. И главное, рассчитываются сразу, наличными.

Мне это было не по нутру, но я иногда помогал ему, чтобы хоть что-то заработать. С каждым днём всё сильнее чувствовал, что при одном только виде бутылки у меня возникает тягостное томление: хочется



выпить. Скоро мне было уже всё равно, где и с кем. Кто угощал, с теми и пил.

Дома, естественно, начались ссоры с мамой и братом. Он тоже был не дурак выпить, но всё же держался в рамках. А я скатывался всё ниже и ниже. Иногда понимал: надо остановиться! Вот приказать себе больше ни капли в рот не брать! Не получалось, тяга к спиртному оказывалась сильнее. Разговоры домашних о лечении я отвергал, а силой, за ручку, не поведёшь – это же не в детский сад!

И вот однажды, проснувшись после очередного перепоя, слышу звонок домашнего телефона. Кое-как добираюсь, снимаю трубку.

– Привет, – слышу знакомый голос и замираю, будто сразу трезвею, но молчу.

Что ей опять от меня надо?! Она не просто сгубила мою жизнь, она уничтожила меня как личность! Это из-за неё я стал таким!

– Ты меня слышишь? – раздаётся в трубке.

Наверное, ей опять плохо, а её горилла Олег не уделяет столько внимания, сколько ей хочется. Но я причём?! Наконец-то я смог задать себе этот вопрос: я причём?! Ответа на это не было, и я молча положил трубку. На повторные звонки не отвечал: пусть думает, что хочет – не дозвонилась или оборвалась связь... Но не так-то легко перечеркнуть то, чем жил столько лет! Душа взъерошилась, будто внутри меня разыгралась страшная буря. Нет, пронёсся смерч!

11

Одевался я, как в лихорадке, разыскивая вещи, мимо которых проходил по нескольку раз, не замечая их. Забирая с секретера часы, я зачем-то взял мобильник брата, который крепко спал после «боя» по скайпу со своим кентом. На видном месте стоял мой шарик – наверное, Стас вытащил его из-за керамической



вазы. Я глянул на «море» – оно штормило! Тёмная масса вздымалась крутыми волнами. Я передвинул шар, но «море» продолжало штормить. Нервы не выдержали. «Ну, ты тут ещё!» – ругнулся я и с силой смахнул сувенир на пол. Раздался громкий неприятный звук. Я поднял шарик и увидел, что он треснул. Неровная трещина пересекала его сверху вниз. А может, это моя жизнь дала такую ужасающую трещину? И почему я должен верить какому-то шарикуну? Как он мне надоел со своими предсказаниями! Я схватил расколовший надвое сувенир и швырнул его в мусорное ведро. Вечером мама выбросит его вместе со всем остальным содержимым в мусоропровод! А у меня душа так ныла, что я поспешил из дома.

Где же мне искать утешения, как не у Митяя? Я направился к нему и застал его в компании с доморощенным поэтом Михаилом за бутылкой водки. Они употребили уже половину содержимого и предавались философским рассуждениям о нашей непонятной жизни.

– Садись, – пригласил Митяй, наливая мне полстакана водки. – По глазам вижу: нужен глоток свободы. А свобода наступает тогда, когда ты способен отстраниться от окружающей действительности. И для этого нет лучшего средства, чем водочка.

С полстакана водки я, конечно, не мог отключиться настолько, чтобы забыть о своей несносной жизни, но выпил одним махом, скорее, уже по привычке. Беседа моих собутыльников, видимо, была в самом разгаре и очень занимала обоих.

– Я поэтому и пошёл в истопники, – сообщил доверительно Михаил, – что в своё дежурство я там сам себе хозяин. Смотри только за давлением воды и газа по приборам и занимайся, чем хочешь. Есть возможность для творчества.

– По примеру Виктора Цоя, – усмехнулся я. – Я его песни в три года пел. Слов не понимал, но они заво-



раживали меня. «Планета по имени Солнце» – красиво. Но вот чего не пойму. Наши предки, выросшие в Советском Союзе, сейчас ностальгируют по тому времени и уверяют, что тогда-то и была настоящая свобода личности, настоящая демократия, а теперь простой человек никому не нужен. Так почему же Виктор Цой именно тогда прятался в котельной со своими песнями, со своим мнением? Может, время тут вовсе ни при чём? И ты, Миша, пошёл в котельную потому, что тебе так удобно, ты больше ничего не умеешь.

– Правда лишь в том, что мне это действительно удобно, – согласился Михаил. – А вообще-то я инженер-строитель. У меня красный диплом. С моими знаниями и опытом я мог бы создать собственное дело. Но оказалось, что совсем неважно, кто ты. Нужны не столько знания и опыт, сколько деньги, начальный капитал. А его-то у меня и не было! Строительные компании сейчас сплошь частные. Поработал в одной – там от меня требовали, чтобы я завышал суммы на сделанные работы, вытягивая побольше денег от инвесторов. Ушёл. В другой компании строили жилой дом на средства дольщиков. Узнал, что хозяин по два раза одну и ту же квартиру продавал. Вовремя ушёл. Везде криминал! Жулики и воры – вот кто имеет неограниченную свободу в наше время! Как с ними работать?!

– За них вроде взялись, – заметил я. – Идёт борьба с коррупцией.

– Как же, – насмешливо возразил Михаил. – Что это за борьба, если даже министры и депутаты воруют сотнями миллионов, покупают дома и целые имения за границей и спокойно остаются там со своими деньгами. Их никто не трогает. Последние известия смотришь? Изредка? Напрасно! Там очень много интересного. Ежегодно миллиарды рублей утекают в зарубежные банки и оседают на частных вкладах! Что, нельзя найти средство для заслона? Чтобы ни одна



копейка не ушла за рубеж без контроля! Уходят миллиарды, а нас потом об этом только оповещают. Тоже мне борьба...

Мне не хотелось лезть в политику, а тем более в досужие разговоры вокруг неё. Может, я ещё не дозрел до этого. В тот момент я и не старался понять, кто виноват в моей неудавшейся судьбе: я сам или время. У меня на душе было гадко, как в захудалой пивнушке, пропитанной стойким запахом перегара. Избавиться от этого можно было только одним способом: напиться и забыться. Но водка кончилась.

– Пойдёмте, ударим по пивку, – предложил Михаил.

– Не, ребята, я сегодня пас, – сказал Митяй. – У меня заказ есть: надо из гаража хлам убрать. Пойдёшь со мной?

– Нет, – отказался я, – лучше пивка...

Мы с Михаилом вышли на улицу. Колючий снег, подгоняемый ветерком, стегал по лицу, но мне почему-то было это приятно. В пивной Михаил увидел двух приятелей, и мы подсели к их столу. Я полез в карман за деньгами, но под руку попался телефон Стаса, и я выложил его на стол. Потом всё-таки извлёк кошелёк, который распирало от сложенных там ненужных бумаг: билетов до Москвы и обратно, записей с набросками будущих песен. Со стороны могло показаться, что кошелёк набит деньгами. Я же извлёк оттуда последнюю пятисотенную купюру, а кошелёк и мобильник снова положил в карман.

Сидели мы с Михаилом долго. Он всё рассуждал о сложностях нашего времени, а я кивал в знак согласия, хотя почти не слышал его, а думал о своём. Стало совсем темно. Михаил поднялся:

– Мне пора. Ты идёшь?

Я не хотел двигаться с места, тем более, что передо мной стояла уже третья или четвертая кружка пива, только чуть пригубленная. Отрицательно помо-



тав головой, я принялся цедить пиво. На место Михаила тут же пересел один из парней из-за соседнего столика, видно, знакомый тех двух, которые ещё сидели вместе со мной. Они перебросились несколькими словами, а потом подсевший обратился ко мне:

– Говорят, ты тексты для песен клёво пишешь...

– Говорят, – согласился я, уже плохо соображая после водки и нескольких кружек пива.

– Знакомые ребята группу собирают, – сказал новый знакомец, – им такой человек нужен.

– Я могу... – пообещал я неопределённо.

– Поехали к ним!

– Поехали.

Мы сели на троллейбус и поехали почти через весь город. По дороге парень что-то говорил по мобильнику своим друзьям. Я не понял даже, на какой окраине мы вышли. Здесь, чуть в отдалении, ещё стояло несколько частных домов, но мы зашли в одну из старых пятиэтажек.

В квартире было тепло и накурено. Двое парней и девушка с белыми кудряшками приготовились слушать меня, сунув в руки гитару и выставив на стол бутылку шампанского. Вместо фужеров стояли небольшие рюмки. Что ж, благородно! Разлили понемногу, и беседа потекла. Девушка то выходила, то вновь садилась напротив меня, явно стараясь завладеть моим вниманием. Я старался не смотреть на неё. Чтоб снова влюбиться? Нет уж, слуга покорный. Увольте... Рюмка была маленькая, но девушка мне подливала и подливала, а я заплетающимся языком читал свои вирши, брэнча на гитаре.

Вдруг девушка наклонилась над столом так, что её лицо оказалось прямо передо мной. Она тряхнула кудряшками, и они вмиг выпрямились, стали рости и быстро превратились в длинные чёрные пряди, которые почти касались моего лица. Из-под густых



чёрных бровей меня сверлили острые глаза, похожие на два буравчика. «А шарик-то треснул!» – вдруг произнесла эта странная девица и... исчезла.

Я почувствовал, что мне очень холодно. Меня буквально трясло. Пытаясь нащупать, чем бы укрыться, я, не открывая глаз, поводил рукой вокруг себя. Ничего не нащупав, открыл глаза и...поначалу ничего не понял. Где я нахожусь? Откуда-то едва пробивался свет. Осмотрелся...и подумал, что ещё сплю. Я сидел на грязном настиле из досок и видел свои босые ноги. Подняв взгляд выше, я увидел, что сижу в одних трусах. На теле нет даже майки. Рядом лежала какая-то старая рваная и вонючая ветошь, которая, видимо, и сползла с меня во время сна.

Ничего ещё не понимая, я стал искать свою одежду: Андрюшину куртку стоимостью более двух тысяч долларов, его же тёплые ботинки, фирменные джинсы друга, которые ещё совсем недавно согревали меня, когда я спал в чужом московском подъезде. Я не нашёл ни вещей, ни телефона Стаса. Остался только кошелек с ненужными бумагами.

Голова сильно кружилась. Я попытался встать. Мне удалось это только с третьей попытки. Шатаясь, я подошёл к двери, всё ещё не осознавая, что не сплю, что это не сон, а кошмарная действительность. Нащупав скобу, потянул дверь на себя, она легко открылась. При свете раннего утра я увидел, что нахожусь в каком-то сарае, практически голый, а на улице зима. Вчерашний ветер стих и температура не очень низкая, но это всё-таки зима! Кругом лежит снег.

Как я сюда попал? Сколько ни напрягался, вспомнить ничего не мог. Потом, словно из тумана, выплыло лицо девицы с белыми кудряшками, но очень неясное, с размытыми чертами. Наконец сообразил: меня ограбили и бросили замерзать в сарае. Где находил-



ся тот дом, в котором я накануне сидел с незнакомой компанией, не помнил. Но явно не здесь, потому что там были и пятиэтажки, а тут только частные дома.

Меня колотило от холода. Я попытался укрыться ветошью, но она была маленькая и совсем дырявая. Голые ноги начисто застыли. Я понял, что стоять больше нельзя, надо идти. Куда? Пока не знаю. Надо выйти на улицу и сообразить, что это за место и в каком направлении мне двигаться, чтобы попасть домой.

Голова сильно болела и кружилась, к горлу подступала тошнота. Кое-как доплёлся до остановки транспорта и понял, что здесь ходят только автобусы. Но и их пока не было. Да и как я войду туда практически голый, в одних трусах? Хорошо уже, что я понял, в какую сторону мне надо идти, чтобы добраться до своего дома.

Чем меня вчера опоили? Конечно же, не Митяй и не в пивной, а в той незнакомой компании, где кудрявая девица подозрительно часто отлучалась и всё подливала шампанского в рюмочку, отодвигая её при этом от меня и придвигая ближе к себе. Я вчера сильно намешал: водка, пиво, шампанское... Но не так уж и много всего, таким количеством и такой смесью меня не свалить. А тут состояние – будто я уже при смерти. У меня еле хватало сил передвигать ноги. Сначала я чувствовал, как заледеневший тротуар обжигает голые ступни, а холодный воздух проникает до самой печёнки. Потом перестал что-нибудь вообще чувствовать. Не было и стыда оттого, что иду в одних трусах по улицам, где уже стали попадаться ранние прохожие.

Люди с недоумением смотрели на «чудака», но мне было всё равно, потому что я уже почти ничего не видел перед собой. Вдруг очень захотелось спать. «Нельзя! – сработало в мозгу. – Замёрзнешь!» Но перед глазами всё расплывалось, ноги подкашивались. Впереди маячили две фигуры, кто-то шел навстречу, а спра-



ва от меня на газоне возвышался небольшой сугроб. «Вот здесь будет мягко лежать», – подумал я. Кажется, я сделал ещё несколько шагов, прежде чем упасть в сугроб.

12

...И вот я лежу бездыханный на радость всем моим недругам, а может, и некоторым друзьям, которые стыдились меня, кто открыто, кто втайне. Моя душа витает надо мной и погостом. Я вижу маму и двух своих друзей, которые до последнего поддерживали меня, когда все остальные отвернулись. Это Митяй и Михаил. Слышу, как Михаил шёпотом спрашивает:

– Как это случилось?

– Нелепость какая-то, – отвечает Митяй. – Его нашли голым в сугробе на газоне.

По-прежнему не вижу у своего одра бабушку. Не смогла приехать или не захотела проститься со своим непутёвым и бездарным внуком? Мне кажется, её больше всего огорчало то, что я оказался не способным ни к чему, что составляет духовную ценность личности. Ещё совсем недавно, осенью, когда мне исполнилось двадцать пять лет, она подарила мне хорошую гитару, надеясь, что я увлекусь бардовским исполнением.

– Если ты сам сочиняешь тексты и мелодии к ним, то ты можешь считать себя настоящим бардом, – сказала она. – Сейчас часто организуются различные конкурсы для самодеятельных исполнителей. Надо петь для людей, а не брэнчать под гитару дома или в сомнительных компаниях. Может, это отвлечёт тебя от твоего пагубного пристрастия.

Я мечтал о хорошей гитаре и обещал бабушке, что уж теперь-то серьёзно займусь творчеством. Она очень надеялась на это. Но...у меня и на это не хватило воли. Я обманул ожидания бабушки, вот она и не приехала.



А впрочем, она, кажется, здесь. Я её не вижу, но слышу знакомый голос, как всегда, немного назидательный, поучающий. Она как будто кому-то что-то растолковывает:

– Дети начинают жизнь с чистого листа, воспринимая ту линию поведения, которую им предлагают в семье. Но на каком-то этапе некоторые из них вдруг всё ломают и отходят от общепринятых принципов нравственности, от семейных традиций. Почему? Этого ещё никто не разгадал. И никто не разгадал, почему пороки берут верх над личностью, несмотря на прекрасное воспитание. Почему дурной пример так заразителен? Его подхватывают, как грипп, как какую-нибудь другую инфекцию. И вот уже воспитание, семья ничего не значат. У нас в роду с обеих сторон люди трудолюбивые и ответственные, не склонные к порокам. И детям давали соответствующее воспитание. Так откуда же такая напасть на Павлушу?

Она так и сказала «напасть», как будто речь шла о болезни. И в самом деле, где я подхватил эту заразу? Наверное, тогда, когда попал с Лилей в незнакомую компанию. Ко мне подошёл парень с бутылкой виски, предложил выпить «напиток для мужчин», а я не отказался. А может, раньше, ещё в школе? Митяй, которого воспитывал отец (мать умерла рано), принёс полпачки сигарет, и мы попробовали втихую раз, потом другой, третий... С тех пор курю и не могу бросить. Митяй же принёс и бутылку с вином, которое не допил отец. Мы тоже попробовали. Понравилось, а на душе после этого такая безмятежность – всё по фигу! Но почему именно ко мне подходил Митяй со своими тайными предложениями? Ведь в школе мы не были близкими друзьями. Или он уже тогда видел во мне слабака и знал, что я не откажусь? Словно в подтверждение слышу голос бабушки:



– И ведь не все же становятся бездельниками, алкоголиками, наркоманами, а только те, кто этого хочет. Разумный человек всегда найдёт в себе силы устоять против соблазнов.

Видно, я неразумный, раз не устоял. Но это не оправдание. Бабушка права, я оказался слабым, безвольным человеком и погубил в себе все прекрасные задатки, данные мне от рождения. Вместо того, чтобы остановиться на пути к падению, я всё усугублял. Так, может, и Паша здесь ни при чём, и Кристина, и юная преподавательница английской грамматики, и старик-историк, не принявший у меня экзамен, и все, кого я сейчас пытаюсь обвинить в своей неудавшейся жизни? Что заслужил, то и получил.

А всё-таки где там бабушка? Хочется помахать ей рукой на прощание. Я стараюсь увидеть бабушку и поэтому пытаюсь подняться выше, размахивая руками, как крыльями. И вдруг слышу радостный возглас:

– Да говорю же вам: глаза открывал, ногами двигал, а сейчас пытается руки приподнять!

– Неужели выживет? – спрашивает кто-то с сомнением. – Такое сильное переохлаждение...

– Конечно, выживет! Что я, зря сидела около него двое суток, растирала?

Кто же это так радуется за меня?

– Доброе утро! – девушка в белом халате и белой шапочке смотрит на меня с радостной улыбкой. – Клавдия Ивановна, больной очнулся!

От другой постели, где тоже кто-то лежит, ко мне направляется женщина, облачённая во всё белое. Наверное, врач. Она внимательно смотрит на меня и спрашивает:

– Видите меня, слышите?

Я киваю головой.

– А ну-ка поднимите руки, пошевелите ногами!



Я произвожу слабые движения и подсознательно отмечаю, что руки и ноги меня слушаются.

– Действительно, выживет, – констатирует врач. – Это твоя заслуга, Маша. Двое суток от него не отходила. Медсестра застенчиво улыбается.

– Теперь неплохо бы узнать, кто он и откуда, – говорит Клавдия Ивановна. – При нём же ничего не оказалось, когда его «Скорая» доставила. Займись, Маша.

Врач вышла, а медсестра под села ко мне, намереваясь задать несколько вопросов. Я медленно возвращался к действительности.

– Можно позже? Я устал.

– Можно, – согласилась Маша и вышла.

«Скорая» привезла... Значит, те двое, что маячили впереди, не дали мне замёрзнуть. Может, напрасно? Разом бы кончились все мучения для меня и родных.

Я лежал с закрытыми глазами и перебирал в памяти факты моей никчемной жизни. Мне двадцать пять. Это треть или половина моей жизни? Как знать, сколько мне отпущено, а я так и не «определился». Я не знаю, зачем живу. Здесь меня, конечно, вылечат. Вопрос: для чего? Чтобы я снова болтался по жизни, как неприкаянный? Или можно что-то изменить?

Вошла Маша. Я понял это по её лёгким шагам и радостному возгласу:

– Утро какое хорошее! Просыпайтесь, просыпайтесь! Пора мерить температуру.

Я открыл глаза. Она подошла к моей кровати:

– А вам поставлю капельницу.

– Стоит ли? – спросил я еле слышным голосом.

– В каком смысле? – не поняла Маша, потом, словно догадавшись о чём-то, укоризненно покачала головой. – Уныние – это грех. Вы должны нам помогать, если хотите жить.

– А если не хочу?



– Да что вы такое говорите! – воскликнула Маша. – Все должны хотеть жить!

– А если незачем?

– Быть такого не может, – Маша ловко вставляла иглу в мою вену. – У каждого человека есть своё предназначение, надо только понять, какое.

– А как понять?

Маша посмотрела на меня таким чистым и светлым взглядом, какого я ещё ни у кого не видел, и пообещала:

– С этим разберёмся. Всё будет хорошо.

Не знаю, почему, но я ей поверил.



Вечер в предгорьях

Нежным выгоревшим небом
 принакрытая земля.
 Синью терпкою воздеты
 горы, взоры, тополя.
 Меж землёю и любовью,
 между небом и тоской
 тихой птицей время ловит
 огоньки наперебой,
 огоньки печальных взоров,
 в синь запущенных, - острей
 зябких крылышек моторных
 пикировщиков-стрижей.
 Стайкой легкой тянут птицы -
 ослепителен их ряд! -
 Стерхи, либо вереницей
 истребители летят?..

Звякнет цепь. Пролает сука...
 Словно жизнь - немой сеанс,
 трепетно мерцает скука
 гомерических пространств...

Поэзия

Поэзия - это когда
 невозможно и некогда жить,
 а мир навалился дыханьем,
 сырым и весенним,
 и нынче среда,
 а не праздник и не воскресенье,
 и хочется жить,
 а приходится драться, и выть,
 и мчаться куда-то,
 хрен знает зачем и куда



**СТАНИСЛАВ
 ПОДОЛЬСКИЙ**

ПОЭЗИЯ





/а сердце щемит
и коленка прибитая ноет/
и гибнешь уже...
Но внезапно увидишь - звезда
в дождливых размывах
ныряет, сверкает и тонет...
Внезапно поймёшь -
над землей раздражается март,
и вязы глухие
ожившими машут руками,
и жизнь воскресает,
как древо, Спаситель и пламя,
живое, зеленое...
Стань и расти наугад!...

На прощанье

...В такой же хмурый
и дождливый вечер,
когда огни едва-едва горят,
в конце веков или в начале века
со мной простятся два-три человека
/и несколько вовеки не простят/...

В конце-венце или начале года
меня оплачет милая природа
/а впрочем, просто дождь... а не меня/.
Здесь будет - без меня -
свежо и чисто,
вот так же целлофановые листья
кого-нибудь живого поманят.
Ах, лаковые крылышки природы,
тысячелетия сырой погоды
под ваше трепетанье пролетят...



Я был всегда - и никогда я не был,
незримо-близкий, как подводник Немо,
во мне дожди, листва и голос женский
прекрасно-неразгаданно поёт...

Прощайте, милые!

Я вам, наверно, встречусь
и распахну объятия, как ветер, -
где свежесть, горечь и туманный вечер
извечный совершают перелёт.

Незнакомка

Высокой тенью, нежной и поспешной,
скользнула предвечерем снежным ты.
И хрупким настом хрустко и безвестно
поглощены летучие следы.

Два слова неуверенных, и имя
летающее и гулкое, и взлёт
ресниц пушисто-изумлённых в нимбе
светящемся - лица - остался, мнимый,
и звезд прощальных полуоборот.

Предчувствие

Весна приходит исподволь, незримо:
в пожухлом, хмуром,

выцветшем былье
вдруг проступает тоненькая грива
того что скачет глубоко в земле.

Еще морозец утренний хватает,
прохожего за пальцы, щёки, нос,
а женщины, себя не понимая,
чему-то улыбаются до слез.



И пассажир голодной электрички,
ныряя взором в облачную даль,
решает: что-то в мире необычно,
то снег струился, а теперь - вода...

Поёжится озябше-беспокойно,
хватая ускользящую нить,
прикидывая, что, пожалуй, стоит
не жизнь - так шапку бы поменять...

В пути

Просквозило весну
 буревое сырое пространство.
Спит Бештау в венце облаков.
Зеленца оживает и желание странствовать:
и решиться и согнуть легко...

Вон шерстят огороды, сажают картошку:
ведь надеются выжить и в этом году.
Колосятся закаты, слезятся восходы,
и бродячая скрипка рыдает
в нищете и весеннем бреду.

Ах, полна электричка
 гулевого простого народа:
работяг и студенток,
 променявших на джинсы косу...
Побирается скрипка.
 Воскресает природа.
И паучьи живучие свастики
 голые стены несут.

Видно - будет косьба -
 ляжет юность рядами
в завыванье скрипичном
 в сиянье аккордов весны...



Но как нежен покой
облаков и туманных преданий
над Бештау дремучем,
сединой подпирающим синь!..

Дождливый сонет

Устал, как вол, поднявший целину.
Бреду, мыча, в своё родное стойло,
не потому что там я отдохну,
а потому что там умру спокойно.

Напрасен труд - ведь не видать плодов.
Всё бытие - потеря за потерей.
Я затесался в странный мир пудов
безмыслия, обид и лицемерья.

А вечер свеж. Душисто веет сад.
В слезах дождя, воскрешены деревья,
как бы мильон безумных лет назад
в раю, разрушенном слезами недоверья...

Как будто я под тем дождём продрог,
который проливал в рыданьях Бог.

* * *

Дыханье ветра -
сплошная волна -
вздымает деревья,
и дали, и годы...

Так детства шумела
лесная страна,
дыханием ветра и жизни полна..
Надежд - никаких,
да и радостей, вроде...



Но - ветер шумел,
 обдавая свободой.
И - запах дождя,
 словно счастья струя...

Не надо успехов!
 Награды - фигня!
Пусть ветер сырой
 обдаёт непогодой,
как детством,
 как пеньем в душе у меня...

Утро пятидесятых

Бедняги, батраки
в суровом затрапезе,
в обносках пепельных
/а руки - сизари/,
в печальных валенках,
в бахилах разбитных,
в пальтушках
 посквозистее берёзы,
в рубахах
 из обрезков расписных,
о чём вы, милые?
Куда вы - до зари -
в угрюмом муторном
вечновечернем мире
проспектом пламенным
стремитесь, как чума?..

А мир, поделенный
на склады и квартиры,
глядит на вас
безумно как сова...



Чёрный дрозд

Трирема чёрная дрозда,
литая лодочка природы!
Текучие боков обводы
для дальних плаваний пригодны -
за солнцем, синью - навсегда.

Крутая выгнутая грудка,
сходящая на нет корма -
вот дрозд на веточке, с ума
сводящий мёртвых мореходов!

Бросается - и реет - с ходу -
в бледнолазурный океан
дождистой ветреной свободы,
в бездонный океан добра -
в весенний воздух судоходный...

Возьми меня с собой, негодник!
Сорвись! Сведи меня с ума!
Ты ж это можешь без труда,
трирема чёрная дрозда...

Я утонул во мгле подводной -
в пустых гремучих городах
и угрызениях подлёдных...
Возьми меня с собой! Сегодня!
И поплывём под грозным сводом
по жгучим, по апрельским звёздам
бог весть откуда и куда,
Трирема Чёрная Дрозда...



Мой милый Мальчик

1

– Максимовна, доброе утро. Я к тебе с просьбой... Прости меня грешную. Мой-то сбесился. Утоплю, говорит, и все – нечего псарню во дворе разводить, – выпалила Катерина свою жалобу на мужа и тут же показала, что у нее было в цветастом фартуке. – Представляешь: такие красавцы, как на подбор. Уже глазки открылись. А он: утоплю и все тебе. Ни души, ни сердца нет. Что за мужики пошли...

Елизавета Максимовна, всплеснув руками, ахнула:

– И правда, – красавцы. Сколько ж их?

Прижавшись друг к другу, щенки, как единое целое, лежали в фартуке, ничего не подозревая о своей судьбе. За них беспокоилась эта добрая женщина. Она решила раздать щенков по соседям, чтобы сохранить им жизнь.

– А мой тоже не большой охотник до собак. но я бы взяла. Вот этого, с белым пятнышком на макушке.

– Ой, спасибочки, Максимовна. И правда хорош. Да они все хороши, – ответила соседка. – Бери, бери. Даром отдаю. На базаре за таких еще деньги хорошие дают. А я – задарма. Только бери.



**АЛЕКСАНДР
МОСИЕНКО**

ПРОЗА





– Была ни была, проехали, – решила соседка и достала из фартука понравившегося ей кобелька. Прижав его к груди и поблагодарив Катерину за живой подарок, Максимовна пошла с ним на дворовую кухню. А Катерина заторопилась к другим соседям, чтобы раздарить оставшихся щенят. Домой нести никак нельзя...

– Я тебя молочком покормлю. Хорошее молочко, не то что магазинное, – продолжила Максимовна. – А как же тебя звать? Вот хозяин придет с работы, уговорю его насчет твоей прописки и будешь жить с нами. Дадим тебе красивое имя. Хочешь, назовем Тузиком? Не годится – сплошь и рядом Тузики. Трезор? Не пойдет – половина детских книжек Трезорами заполнена. Старо. А может, Дозором назвать? Звучит. Дозор!

Максимовна налила в чашку молока, поставив ее у плиты, и окунула щенка в посудину мордочкой.

– Кушай, Дозор, кушай.

Щенок без особой охоты лизнул молоко и отклонился от него.

– Дозор, кушай, пожалуйста. А то отнесу обратно к Катерине... Дозор, ну?

Максимовна погладила его по шерстке и вдруг удивилась: Дозор звучит почти как позор. Не нужен нам никакой позор. Вот дождемся хозяина и тогда дадим тебе самое красивое имя. Кушай, кушай, мой мальчик. ..

И щенок начал энергично лакать молоко в тарелке.

– Все! Нашли. Мы назовем тебя Мальчик. Да, да... Очень подходит: Мальчик! Мой милый Мальчик.

2

Григорий Андреевич, муж Елизаветы Максимовны, всю жизнь работал помощником машиниста на электровозе (дальше не захотел учиться – быть помощником как-то легче: и ответственности меньше, и зарплата устраивает – на двоих вполне хватает. Его жена Елизавета вела в ателье курсы кройки и шитья.



Тоже в дом - хорошая копеечка. Жить можно...) Гриня, так она звала мужа, любил свою работу, был аккуратен, интересовался техникой, дома у него было множество журналов о железнодорожном транспорте. И вообще в этом деле он слыл, прямо скажем, докой. Но железную дорогу, к стыду своему, побаивался. Особенно боялся скоростей. Но больше всего любил жену.

В молодости, когда он уже поднаторел в своей профессии, бывалый машинист однажды доверил Григорию вести электровоз. Помощник все-таки. Тот обрадовался - сам у штурвала! Весь маршрут проходил как по маслу: мелькали одна за другой станции и полустанки, вовремя заходили и выходили пассажиры - никаких помарок. И вдруг перед Эссентуками под колеса попала большая породистая собака. Она не успела перебежать пути, и ее закрутило на колеса. В общем получился из бедняги фарш. Все случилось так быстро, что вовремя затормозить Григорий не успел. А машинист в тот момент зачем-то вышел в салон... Поезд все равно пришлось остановить, содрать с колес собачьи останки и продолжить движение до конечной станции.

Задержка на линии была недолгой... И все же машинист схлопотал строгача. Он, правда, не обиделся на Григория: сам виноват - не доглядел.

То ЧП все перевернуло в душе незадачливого машиниста. Он даже хотел уйти с работы. Но старый коллега отговорил его, успокоил. «Запомни, Григорий, это жизнь. Будут и еще случаи. Главное ты знаешь, что вины твоей тут нет. Просто случайность. А на будущее знай: не ошибается тот, кто ничего не делает. Короче: будь всегда начеку. Машинист это всегда - внимание».

Назидание ветерана привело психику Григория Антоновича в равновесие. Осталось одно решение: никогда не заводить дома никаких собак. Они слишком доверчивы к людям, а мы порой так беспечны и безответственны. Хотя почему бы и не завести себе



хвостатый звоночек- все условия есть: хороший дворик, дворовая кухня, крепкий домик в пять окон. Поставить рядом будку и- живи до пенсии...

С такими мыслями он шел домой и, казалось, ничто уже не заставит волноваться так, как это было в первой половине рабочего дня. Дома – жена, звенящий рукомойник, любимый ужин и короткий рассказ о происшествии. Конечно, было бы лучше, если бы его встречали собственные дети. Но не сложилось: жена еще девушкой застудилась в Астрахани, куда ездила на заработки. И там, в рыбном цеху, потеряла здоровье. Подруги уговаривали ее: возьми себе в детдоме малышку и воспитывай, как хочешь. С малечку дите и знать не будет, кто у него настоящая мать. Сколько таких случаев было. И даже когда через много лет объявлялась эта горе-мать, ребенок не признавал ее... Будучи готовой воспользоваться советом подруг, решила посоветоваться с матерью. И ее слово в решении этой проблемы было последним:

– Я тебе так скажу: чужое- оно всегда чужое. Сколько примеров, когда вырастят приемыша, а он оказывается с задатками действительных родителей - либо бандитских, либо гуляк, либо, еще хуже, - наркоманских. Читала на днях, как одна «выращенная» сердобольной женщиной, в пьяном угаре зарезала ту, которую с двух лет называла мамочкой. И за что? Не дала денег на очередную дозу наркоты... Смотри сама, дочь. Ты взрослая. Решай, как хочешь, но я не советую. Не советую!

О разговоре с матерью она рассказала Грине, и, к удивлению Елизаветы, он согласился с тещей. Так они и прожили всю жизнь вдвоем, похоронив в разное время своих родителей... Впрочем, немало примеров и положительных. То же телевидение показывает, как тысячи бездетных женщин и мужчин берут в детдомах или даже в роддомах мальчиков и девочек и – счастливы. Но пока. А что потом, в недалеком будущем? Можно ли быть уверенным? Пожалуй, с тещей надо согласиться...



Едва он открыл калитку, как увидел улыбающуюся жену, идущую к нему навстречу. Сразу догадался, что есть какие-то новости. Скорее всего – хорошие новости.

Он привычно поцеловал Лизу и пошел вслед за нею на кухню.

3

Совершив свой ритуал с умывальником, Григорий Антонович сел за обеденный стол и вдруг увидел на полу ползающего щенка.

– Это что за чудо? – спросил он.

– Гринь, понимаешь, Катерина принесла. Иван задумал всех щенят утопить, а она отняла их и решила раздать соседям. Вот я и взяла. Мне он так понравился.

Она подняла щенка на руки и объявила:

– Я уже и кличку придумала. Мальчик. Посмотри, какой красавец. А пятнышко – на макушке – прелесть! Не ругайся, Гринь. Пожалуйста. Будет нам с тобой забава.

Григорий Антонович нахмурился. Воспоминания дневного ЧП всплыли в его памяти. Для кого-то – это не событие. Подумаешь, собака погибла. Сколько их, ничейных, по улицам бродит. Может, и эта бездомная. А для Григория двойное ЧП: с одной стороны животное пало, с другой – промах. Зеву дал, не досмотрел, что там впереди за препятствие... Но ругаться не стал – раз жене так захотелось, надо уважить.

– Ладно. Пускай живет, – без особой радости сказал Григорий, Гриня. Для виду немного подержал щенка в руках и опустил его на пол. – Гуляй, пацан. Гуляй.

Обрадованная Лиза мгновенно накрыла на стол, произнесла любимое выражение покойного Максима Гордеича: «Будем вечерять.» и добродушно улыбнулась.

Щенок ласково терся о ноги Григория. «А жить ты будешь в будке. Завтра у меня выходной, и я сбролю тебе домик.» На следующий день он выстругал нужное количество сухих досок, имевшихся в запа-



се, и к вечеру рядом с кухней уже стояла будка, прямо волшебный теремок.

– Тут и будешь жить, пацан, – сказал Григорий, обращаясь к щенку, который был на руках Лизаветы. – Сразу надо приучать к месту жительства во дворе.

– Пусть хоть с недельку поживет на кухне. Мал еще. И не пацан, а Мальчик, поправила она, любуясь собачьим теремком.

4

Когда Мальчик окреп, немного подрос, Григорий Антонович принес легкую цепь, вбил два железных стержня, соединив их толстой проволокой, надел своему «сторожу» ошейник с колечком и пустил его к будке, стоящей у кухни, где был закреплен второй конец проволоки.

– Вот здесь и будет твой дневной маршрут, пока мы будем на работе. От порога до будки и обратно. А вечером – прогулка перед сном, – заключил Григорий.

– Бедный Мальчик! Какая ж скукота ждет его – целыми днями один, – вставила Максимовна.

– Тогда бери его с собой в ателье – он будет помогать тебе обслуживать учеников и клиентов, – с усмешкой добавил муж.

– На том и закончили свой диалог эти уже не молодые люди. Началась для них новая жизнь – во дворе есть еще и кто-то третий.

Домик Григория и Елизаветы стоял на окраине города. Недалеко от него была лесная полоса, а рядом небольшое озерко, в котором он с удовольствием плавал каждый раз. Там и завершались ежедневные прогулки Мальчика. Да и сам Григорий привык к ним – ходьба вместо зарядки. Его терапевт особо рекомендовал прогулки. Движение – это жизнь. А она неизменно катилась, и все вниз, вниз, под горку. Но Мальчику это было неведомо, и потому он всегда торопил своего хозяина идти



к лесной полосе, где он вовсю нагуляется после привязной жизни во дворе. Домой возвращались с удовольствием: Григорий потому, что взбодрился на воздухе, Мальчик - потому что получил так недостающее ему - свободу и что Лизавета обязательно даст ему конфетку, как приз на финише. Такой распорядок продолжался годами. Кажалось, ничто уже не изменит его. Но так не бывает, чтобы все было хорошо. Обязательно что-нибудь да приключится. Вот и сейчас - у Елизаветы Максимовны резко повысилось давление. Две недели пролежала в больнице. Мальчик за это время заметно похудел и чуть не сбесился. Сутками выл: куда подевалась хозяйка? Его муки продолжились, потому что сразу после больницы она уехала в санаторий. Тогда еще профсоюз давал передовикам бесплатные путевки.

Только все это было ничто по сравнению с новым ЧП. Григорий Антонович в этот день сам вел электровоз. Ведь он был машинист номер два. Случилось, что его шеф не вышел на линию, а рейс отменять нельзя. Диспетчер сказал: «Антоныч, придется тебе вести, а в помощники я дам хорошего практиканта.» Деваться некуда и поезд тронулся в путь. Как и несколько лет назад, мелькали станции и полустанки, звучали стандартные объявления, суетились пассажиры. И вот за километр до станции Машук Григорий Антонович резко нажал на тормоза, но было уже поздно: люди попадали на пол, кто-то влип в переходную вагонную дверь, поднялась паника, и дежурный поезда через мегафон стал успокаивать пассажиров, дескать, все в порядке, просим извинить команду поезда - на линии помехи. Движение поезда возобновится через несколько минут. Не надо так волноваться. Но оснований для волнений было больше ожиданий: между первым и вторым вагоном в пяти шагах от пути лежал окровавленный торс молодой женщины. Ее одежду сорвало электричкой. Вторая часть тела смолота



под колесами. Были видны мощные обнаженные груди, и из них стекала кровь. Опомнившиеся пассажиры столпились у левых окон и громко кричали:

– Да что ж там за машинист такой?

– Новичок, наверное.

– Все экономят на людях... Никакого контроля.

– Не говорите глупости. Я сама видела, как эта девушка перекрестилась и бросилась под поезд сама. Никто ее не толкал...Одно мгновение и все! Какие тут тормоза?

Тотчас появились дорожная милиция, бесполезная теперь «Скорая помощь», какое-то начальство. Начался опрос свидетелей ЧП. На обочине найдена дамская сумочка, а в ней записка погибшей: «Прошу никого не винить в моей смерти...» И тем не менее Григория Антоновича увезла милиция, а на его месте появился резервный машинист...Ему и предстояло услышать немало упреков в адрес железнодорожной службы, упреков, зачастую несправедливых, но как покупатель, так и пассажир всегда прав.

Только в одиннадцать часов вечера Григорий добрался домой. Установлено «отсутствие его вины», но от работы его временно отстранили.. Так совершенно разбитый, он открыл калитку и потерял сознание. Мальчик мгновенно сорвался с цепи, подбежал к лежащему Григорию, скуля, стал его облизывать и одновременно лаем звать хозяйку. А та уже была тут как тут. В ожидании Грини она сидела у окна. Вызвала «Скорую помощь», которая, к счастью, приехала быстро и диагностировала инфаркт.

5

Лишь через месяц его выписали из больницы, восстановив все функции организма, но запретив работу на железной дороге. Улучшение было не абсолютное: левая рука еще плохо подчинялась ему, но как заявил



лечащий врач, несмотря на то, что был еще и микроинсульт, наметилась тенденция к улучшению, а точнее – к полной реабилитации.

Григория успокаивало то, что следствие по делу ЧП было закрыто, и он мог в недалеком будущем возвратиться на транспорт. Однако жена стала стеной:

– Ни за что! Хватит, наработались – стаж на двоих сто полных лет. Хай она сгорит, твоя работа. А мне нужен муж здоровый. Здоровый, а не инвалид! Да и ты сам заслужил покойную старость...

– Выходит, что больного мужа ты можешь бросить? – то ли в шутку, то ли всерьез сказал Григорий Антонович. – Вот это новости...

– Да ты что, Гринь, это я так...для порядку. Ну правда, давай лечиться, а там и на курорт вместе поедем. Заслужили! Пусть молодежь учится и ведет поезда.

– Ее, молодежь, еще научить надо.

– И без тебя есть кому учить-то, – отбивалась Елизавета. – Вон практикантов сколько! Когда-то же им начинать надо?!

– Это ты точно заметила – надо. Вот и начнем...

– А я повторяю: и без тебя вода освятится.

– Поживем – увидим, – поставил точку Григорий Антонович. – Иди и прогуляйся с Мальчиком. Я пока что воздержусь. Не хочу рисковать.

К радости Мальчика, Максимовна отцепила его от проволоки, закрепила поводок, и с веселым визгом пес буквально потянул ее к излюбленному месту в лесной полосе, а Григорий один остался со своими думами. Удастся ли ему вернуться к электровозу? В последнее время он постоянно снится ему, даже запах кабины...А что – я уже вроде ничего, свободно держусь, даже по дому кой-что делаю, и заслуги некоторые имеются: медаль «За трудовое отличие», «Отличник железнодорожного транспорта». Чего еще надо? Но как доктора на мои желания посмотрят, – вот что больше всего беспокоит.



С этими мыслями он вышел во двор. Хозяйским взглядом осмотрел все вокруг.

Обнаружилось, что будка Мальчика несколько наклонилась. Надо поправить. Рядом лежал кусок рельсы, который Григорий использовал вместо наковальни, килограммов шесть-семь. Григорий взял его и, левой рукой приподняв будку, другой подsunул рельсу под днище. И вдруг сел на бетонную дорожку – ни встать, ни повернуться, ни позвать на помощь – все отнялось. В такой позе он просидел, пока не возвратилась жена с Мальчиком. Растерявшись, она позвала соседку Катерину, чтобы перенести Гриню в дом. Но это была не помощница – за последний год она располнела килограммов на тридцать. Хорошо, что додумались вызвать «Скорую помощь». В клинике выяснилось, что у Григория Антоновича еще две «болячки» – запущенная простата и инсульт. А это не менее опасные болезни, чем его инфаркт.

6

Теперь уж точно никакого разговора о возврате на прежнее место работы быть не могло. Правая сторона парализована, речь невнятна и вдобавок ко всему – на поясе ему укрепили мочесборник, такую пластмассовую посудину, без которой он не может совершать естественные отправления, а его Елизавета Максимовна связана, как говорится, по рукам и ногам. И теперь ей не до Мальчика, который из-за отсутствия хозяина стал по ночам выть. Он чуял, что Григорий Антонович дома, но почему не выходит к нему? Воеет и зовет к себе. Елизавета уже несколько раз била его веником:

– Замолчи, дурак! Хозяин болен... Пройдет полчаса, и вой продолжится. Разгневанная хозяйка загонит Мальчика в будку, закроет вход шифириной и скажет: «Сиди и молчи!»

Мальчик молчал не долго. Григорий Антонович не выдержал и попросил:



– Ллизнька, отпысти его...

Елизавета вышла во двор, и через мгновение Мальчик был в комнате, где лежал его хозяин. Так как кровать была низкой, он начал облизывать ему руки, добрался до лица. Вмешалась хозяйка:

– А ну-ка прекрати! Еще инфекцию какую-нибудь внесешь. Сядь рядом. Сидеть!

Григорий Антонович погладит его здоровой рукой и сказал:

– Фатит, ддржочек, фатит... Спсиба тебе...

Елизавета Максимовна скомандовала: «Мальчик, в будку!» А тот недовольно взвизнув, все же послушно поллетется на указанное место. Он не понимал, что случилось с Григорием, но он теперь знал, что тот дома, живой. А Григорий все чаще задумывался: «И почему мы не взяли себе девчушку из детдома... Семь лет прошло. Сейчас бы такая нянька была. А что – тринадцать лет уже! Ведь и Лизонька моя не очень здоровая. Ей тоже помощь нужна... Но разве только для этого мы хотели взять ребенка? Для души и сердца! И ему, и себе подарить счастье...

Свои мысли она, как нынче говорят, не озвучивала. Нечто подобное, забыв о наказе своей матушки «ни за что не брать на воспитание чужих детей», она уже сама напоминала Грине. Но теперь было стыдно повторяться. И все же как-то раз вырвалось: «Дураки мы, что тогда не взяли сиротку из детдома. Такая расхорошекнякая была».

– Ддраки, – согласился Григорий Антонович и жестом попросил освободить его наполненную емкость.

7

Дела Григория были вовсе не такими радужными, как ему описал лечащий врач. По-прежнему плохо восстанавливалась речь, меньше, чем раньше, но все же оставалась резь в мочевом пузыре... В общем, о выходе на работу забудь. И слушай жену: она плохого не



пожелает. Пополнять же отряд пенсионеров-домоседов вовсе не хочется. Но деваться некуда – коварства болячки безграничны.

Елизавета Максимовна еще год назад окончательно вышла на пенсию. Коллектив ателье проводил ее по высшему разряду – помимо культурной программы, вручили годовой оклад зарплаты, по телевидению показали ролик ее биографии «с юности до последних лет»; прозвучали теплые слова коллег и даже коллективные стихи. Была такая обстановка на банкете, что уходить на пенсию было как-то неловко. Но нужда заставила. Здоровье мужа было превыше всего.

А Мальчик все настойчивее требовал впустить его в комнату, где лежал Григорий. Он как бы хотел выразить сострадание, смягчить боли хозяина. И Елизавета впускала его на полчаса. Уходить во двор Мальчик не хотел, Максимовна была вынуждена брать его за ошейник и чуть ли не выбрасывать за дверь. Григорий Антонович всякий раз сильно расстраивался после такого «визита» друга человека. «Ведь он же любит меня...»

Вот так бы и люди. Но часто бывает обратное. На поверхности вроде бы сочувствие, даже сострадание, а на деле – пустота. Недавно умер сосед, а оказалось, что и гроб-то вынести некому, хотя рядом живут такие лбы, на которых пахать можно. Одному с грыжей нагружаться нельзя; другой вспомнил, как покойник в свое время не занял ему денег под честное слово. А денег-то много: сто тысяч, кровных денег, недостающих на «Рено». Дашь, потом ищи-свищи, кто возвращать будет. Ну разве об этом надо думать, когда человек помер? О душе, о том, что где-то и твой черед, думать надо. И к чему это такие размышления? О дне грядущем надо бы думать. Да что-то плохо думается.

Елизавета Максимовна за годы совместной жизни научилась понимать, о чем думает муж. Не выдержала и попросила: «Гринь, ну перестань ты накалять себя.



Все будет хорошо. А про этих бугаев и думать не стоит. Соседские старухи оказались мудрее – они не только вынесли гроб из хаты, но и донесли его на рушниках до самого переулка...Живет еще в людях порядочность и доброта. Успокойся, муженек мой...»

С каждым днем ему было все тяжелее двигаться... «И за что же мне такое наказание? Вроде никому ничего дурного не сделал, ни слова поганого не сказал. И Бога ничем не гневил. А вишь как получается...» Но вслух вымолвил другое:

– Ллизок, ппаменяй...

Елизавета Максимовна тотчас освободила его мочесборник. И похвалила:

– Молодец! Нынче поменьше набежало. Скоро снимем это бремя и будешь, как казак, по двору ходить да с Мальчиком играть...

– Буду, – со вздохом произнес Григорий Антонович, с трудом повернувшись к стене.

Вдруг кто-то постучал в дверь. Видно, хороший человек, потому что Мальчик пропустил его к двери в дом. Бог ты мой – какая радость! Это пришел проведать Григория Антоновича его бывший шеф, машинист первого класса, наставник Степаныч.

– Извини, дорогой, что один. Всем некогда, даже председателю Совета ветеранов. Такая вот нынче жизнь, – оправдывался за всех Степаныч. – Но ты не горюй – когда-нибудь придут. Не могут не прийти. И в депо, и в конторе есть же люди... Правда, я уже пять лет как на пенсии, а ни разу никто, кроме вас с Максимовной, не пришел. Всем некогда. Да бог с ними. Ты-то как?

– Ппайдет, – еле выговорил Григорий Антонович.

– Держись, мой дорогой, – подбодрил Григория гость, оставляя на столике пакет с подарками. Они еще минут пять помолчали, повздыхали, глядя друг на друга. « До новой встречи...Будь здрав!»



Степаныч наклонился к Григорию Антоновичу, поцеловал его и тыльной стороной ладони вытер глаза, вышел за дверь. Елизавета Максимовна, не успев что-нибудь сообразить на стол, пригласить дорогого гостя к чаю, пошла проводить его до калитки. Вернувшись, стала ругать себя за холодный прием наставника мужа. Что-то с головой не в порядке. Это же ужас! Было ли со мной такое хоть раз в жизни?

– Отдыхай, отдыхай, мой хороший,- сказала Елизавета и погладила его по седым волосам. Потом добавила: «Еще не все седые...»

Но Григорию Антоновичу все было безразлично. Одна радость, что хоть Степаныч не забыл...По-прежнему не давал покоя какой-то странный лай и визг Мальчика. Он был совсем необычным, тревожным, зовущим к общению. Григорий не выдержал, перевернулся на прежнее место и попросил Елизавету: «Пусти его...» Та понятливо кивнула мужу, и в следующую секунду Мальчик был уже у кровати Григория, радостно скулил, лизал обе руки, добрался до лица. Вмешалась Максимовна:

– А ну-ка прекрати! Хватит облизываться.

– Ничего, Лизок, ничего,- вполне членораздельно произнес Григорий.- Он же радуется! И мне хорошо.

Елизавета очумело смотрела на эту картинку и почему-то скрытно улыбнулась, точно боялась обнаружить свою радость, оттого что у мужа вернулась речь. Это же чудо! А вдруг ей это показалось. Бывает же такое. И в газетах пишут... Нет,нет.Это правда, не показалось. Григорий членораздельно попросил: «Дай Мальчику конфетку! Шоколадную!» Он тут же проглотил конфетку и положил свою голову на свисавшую руку хозяина.

Радости Елизаветы Максимовны не было предела. Она все же вывела Мальчика во двор «покормить» и буквально побежала к ее больной соседке Катерине, чтобы похвалиться улучшением здоровья мужа. Но, услышав новое завывание Мальчика, она заторопилась



домой. «Лежи, подруга, и у тебя будет все хорошо...» Вместе с Мальчиком она вошла в комнату, где оставался ее Гриня, и была поражена: Мальчик сидел на полу у изголовья хозяина и не подпускал к нему Елизавету.

– Вон отсюда! – скомандовала она и вдруг увидела открытые мертвые глаза мужа. Дальше все было как во сне. Она ничего не помнила, кроме тех последних минут, когда он снова заговорил так же, как и всю жизнь разговаривал с нею..

8

Такого удара судьбы Елизавета Максимовна не ожидала. Все могло быть, но не в таком ужасающем виде. Давление поднялось до двухсот единиц. Не прекращаются шумы в голове и безразличие к пище...Перед глазами кладбище и море цветов. Все-таки много людей пришло проводить Григория. Даже бывший парторг депо, так и не сумевший сагитировать его в партию. « Не гожусь я в ряды коммунистов- там надо быть кристально честным, чистым, а я женщину зарезал. Пусть не сознательно, но все же лишил жизни. Этот грех на мне,» - отбивался Григорий Антонович... «И вот пришел проводить,- наверно, понимал, что Гриня ничуть не виноват,»- размышляла Елизавета.

В ушах еще звучали пламенные речи сослуживцев, которые не смогли навестить еще живого Григория...Все надо делать вовремя, а теперь слова ничего не значат, потому что их уже никогда не услышит усопший. Хоть в прозе, хоть в красивых стихах, все равно не услышит.

Оставшись одна, без мужа, она все чаще вспоминала, как Гриня сказал тогда: «Драки...дураки», потому что не взяли девчущку из детдома...Это все мама виновата, царствие ей небесное. И что теперь делать одной? Родственники далеко. Правда, тут в городе, есть племянница, которая иногда приходила навестить дядю Гришу. Но у нее своя семья. На плечах Леноч-



ки двое мальчишек и муж. Обо всех, конечно же, заботиться надо. И еще я тут со своими болячками...

Ее размышления прервали стук в дверь и приветливое повизгивание Мальчика.

– Это я. Здравствуйте, тетя Лиза. Как вы тут? – по-приветствовала Леночка. – Пришла проведать вас. Может, чего надо, скажите. Я сделаю без всякого...

– Моя хорошая! Ничего не надо. Молодец, что пришла – ты у меня одна родня.

И заплакала. «Родня... моя золотая». Она взяла руку племянницы и стала ее целовать, обливаясь слезами. «А я теперь одна, совсем одна, никому ненужная.»

– Перестаньте, пожалуйста. Я не брошу вас. Я буду приходить к вам. Не надо так, тетя Лиза, – попросила племянница.

– Спасибо тебе. Ты придешь, а Гриня не придет. Никогда не придет! – прорыдала Елизавета Максимовна. – Что с Мальчиком будет? Я же не смогу его на прогулку водить. До девяти, а потом до сорока дней он не переставал выть. Что с ним будет, когда я помру?

– Отдадим кому-нибудь. Себе я его взять не могу: у нас уже есть свой. Девяносто килограммов весит... Не переживайте так. Я сейчас пойду с ним, прогуляюсь по местам, где дядя Гриша гулял.

– Но это один раз, – вставила Елизавета, – а ему каждый день надо.

– Что-нибудь придумаем, – успокоила ее Лена. – Ребят своих попрошу. Думаю, не откажутся... А я прямо сейчас пойду с ним. Где его поводок?

Едва Мальчик увидел в руках Лены поводок, завилял хвостом, и через две минуты они уже шли по давно знакомой улице. А Елизавета Максимовна, привстав с кровати, выпила предписанные ей таблетки, села у окна, где она обычно ожидала своего Гриню после работы, и беззвучно зарыдала.



Как это ужасно – остаться одной. Было бы здоровье, можно бы вернуться на свое рабочее место. Сколько раз уже приглашали: «Возвращайся. Мы тебе и надбавку к зарплате сделаем... И тоска твоя пройдет. Давай, Максимовна!»

Но все уговоры были бессмысленны, потому что она не хотела быть обузой.

По квартире, по двору она еще как-то передвигалась, а дальше не могла. Сердце сразу готово выскочить из груди. И колет, колет... Вот и лежи до следующей таблетки. Чуть успокоится, сразу в голову лезут воспоминания. Вот они вместе с Гриней на Голубых озерах, на лодке. Целый час плавали, купались. Вот в Кисловодске, у Красных камней. Вот у Медового водопада...А прямо перед глазами стоит поездка в степь, к другу детства Григория, работавшего главным агрономом в совхозе. Он пригласил их посмотреть, как идет уборка пшеницы. Днем не очень интересно – жара за сорок, не время для экскурсий, а ночью...Это надо только видеть. Жара спала до двадцати пяти. И перед глазами такая картина: семь комбайнов выстроились в одну шеренгу, все при включенных фарах, как корабли на море, наступают на широкое пшеничное поле, а грузовики едва успевают отвозить зерно на элеватор. У комбайнеров, шоферов, у руководства совхоза незабываемо праздничное настроение. Вот он, дождался, богатый урожай! Пятьдесят центнеров с гектара. А запах свежего зерна ни с чем другим несравнимый, такой же несравнимый, как запах хлеба в пекарне...И голос Михаила, главного агронома:

– Ну, как мы хлеб добываем?

– Красотища! – ответил Гриня. – Спасибо за экскурсию.

– Приезжайте на праздник урожая. Будет еще интереснее! – ответил друг.

Вспомнились размышления Грини после поездки в степь, с каким восторгом он описывал все своему на-



ставнику Степанычу, навестившему его вскоре после выхода на пенсию.

– Правда поется в песне: «Хлеб – всему голова!» Есть у людей хлеб, и все остальное будет. А мы, железнодорожники, – все остальное!

– Не преувеличивай, Антонович. Но что мы не последний кирпичик в государстве, это точно... Ну, будь здоров.

Такой фразой он всякий раз заканчивал свидание с Григорием, и Елизавете от этих слов всегда было тепло на душе. Ее воспоминания прервали возвратившиеся с прогулки Лена и Мальчик.

– Кажется, он привык ко мне. Слушается, охотно выполняет команды.

– Спасибо тебе, моя девочка, – ответила Елизавета и крепко обняла племянницу.

И тут же схватилась рукой за сердце. – Вот старая дура – забыла про свою болячку.

Обниматься полезла.

9

Теперь ежедневно, хоть на полчаса, Елена приходила к тете. Приносила заказанные покупки – хлеб, сметану, клубнику... Тетя очень любила клубнику со сметаной, хотя ей врачи это запрещали. «Мне один умный доктор сказал. – оправдывалась Максимовна, – что можно есть все, если тебе очень хочется. А как я буду без клубники со сметаной? Лето же на дворе...»

На прогулки с Мальчиком не всегда хватало времени. Домашних забот было, как говорится, полон рот. Три мужика все-таки и Джек. Девяносто килограммов. Однако по мере ухудшения состояния здоровья тетушки, самой Елены едва хватало «на два дома». Елизавета с пониманием относилась к ситуации и все больше была благодарна племяннице.

– Знаешь, Леночка, чего я надумала? Мы еще с Гриней об этом говорили. Надо бы завещание сделать.



Как видишь, я на этом свете не жилец без моего Григория. Все надо по порядку, а то потом понабегут родственнички и будут мое имя склонять, да меж собою кусаться - кто по какой линии больше прав на наследство имеет...Подпишу-ка я все на тебя. И пусть себе трепыхаются от злости...Как ты на это смотришь?

- Живите, ради Бога, тетя Лиза. Рано еще об этом говорить.

- Ничего не рано. Все надо делать вовремя... Посиди еще со мной, а с Мальчиком завтра погуляешь. Ну так как ты? Вызывать нотариуса?

- Воля ваша. Вы хозяйка. А лучше всего- живите, поправляйтесь.

- Все, - решительно сказала Елизавета Максимовна.- Отпрашивайся завтра на работе и к двум часам приходи. Решим, как полагается.

Елена забеспокоилась:

- Не разорвут они меня? Хоть и не знали с вами последние годы, а права имеют. Сразу объявятся. На хляву всем хочется получить кусочек...Домик в городе чего-то стоит.

- Все, все. По закону я лично решаю, кому что завещать...Небось ни за Гриней, ни за мной поухаживать было некому. А ты все время у меня. Дочка сестры родной... И не беспокойся. Приходи завтра к двум часам. Откладывать дело уже некуда. Мало ли что со мной случится. Пока что я в трезвом уме и сознании. Приходи, моя хорошая, завтра. А нотариуса я как-нибудь сама вызову.

10

Когда все документы по наследству были выправлены, Лена не проявляла особой радости. Думала об одном, чтобы тетушка как можно дольше прожила и чтобы подальше отодвинуть юридические процедуры. Не было ни одного дня, когда бы Максимовна не вспоминала о своем Грине. «И человек золотой был, и руки



у него золотые, к тому месту пришитые: все мог делать сам. А инструменту сколько – пол-чулана на дворовой кухне...», - рассказывала она Лене. А той было не до инструментов: и с Мальчиком погулять надо (мои ребята пока не могут ее заменить - в колледже заняты), и домой, к тетрадам; две пачки! В двух классах сочинение писали, все проверить надо и резюме составить...

- Тетя Лиза, я, наверное, пойду с Мальчиком на прогулку.

- Сходи, сходи - он уже заждался. Слышишь, как скулит?

Оставшись одна, Максимовна снова задумалась о своей жизни. Работать не могу, ходить далеко не могу, половины друзей уже нет на свете, а с живыми видеться не хочу, телевизионное вранье тоже противно. И Грини нет рядом. Разве это жизнь? Нет, одна живая душа пока что есть - это Мальчик. А что с ним будет без меня? Все бросят его, закидают камнями, станет пищей для мух. Скорей бы все кончилось, чтобы отключиться и ничего этого не видеть. Одна надежда на племянницу. Она досмотрит, она похоронит, памятник поставит рядом с Гриней. Такой же, как она поставила ему... Дай ей Бог здоровья.

Лена неслышно вошла в комнату.

- А мы уже погуляли. Мальчик был совсем послушен. Даже в воду не полез - без моего разрешения - сегодня прохладно... Заказывайте, чего вам завтра при- нести.

- Ничего не надо: у меня все есть. Вот рецепт в аптеку - там что-то новое от сердца.

- Хорошо. Я все сделаю, - сказала Елена, собираясь уйти домой.

- Девочка моя, задержись на минутку. Посмотри в комод - коробочка деревянная

Там деньги. Возьми их все. Мне они больше не нужны. А тебе предстоят большие расходы. Бери. На мелкие расходы у меня есть.



- Ну зачем вы так? Я верю, что вы еще подниметесь,- ответила Лена, поцеловав тетушку, - обязательно подниметесь.

- А ты знаешь: я не хочу подниматься. Только Мальчика жалко...

11

Она никак не могла привыкнуть к своему одиночеству. С особой болью ожидала прихода ночи, времени, когда выползало все дурное и хорошее, что было в жизни. Калейдоскоп событий крутился в памяти с беспощадной ясностью. Вспоминалась война, голод, как бедная мама ходила по селам и городам, меняя на хлеб свое приданое – платки, шали, серебряные ложки, полотенца, обручальные кольца, платья, в том числе и свадебное, с которым так жаль было расставаться. Вспомнилось, как я плакала, все просила: « Не надо, мамочка, не меняй. Я вырасту, и мне пригодится. Очень красивое платье...» Помню те два кукурузных чурека. Всего два, а нас четверо- три сестренки и мама. Она сама плачет и оправдывается: « А что я могу поделать? Больше ничего не давали. И на том спасибо. Ешьте, ешьте, детки мои» И ломали чуреки на кусочки, чтоб всем поровну было, и ели. Чуреки были, конечно, вкусные, но как вспомню, что их на свадебное платье поменяли, сразу тошнота и вырвать хочется... Чего только не пережили мы на своем веку. А что делать? Все в этом мире преходяще, и только любовь человеческая, родительская, вечна. С ней прожили. Хорошо ли, плохо ли, а прожили. Слава тебе, Господи! Только жить не хочется. Одной, без Грини, никак не хочется, хотя все говорят: надо! Это молодым надо. Им, может быть, и потруднее выпадет в жизни, но они молодые и с грехом пополам или вовсе без греха вытянут. Только бы вместе. В одиночку никак невозможно!

Мальчик забегал на цепи и стал тихо подвывать. Понятно: покормить надо. Опираясь на кизилковую



палку, оставшуюся от отца и служившую ему костылем, Максимовна вышла во двор.

– Кушать хочешь? Сейчас косточек принесу, мой несчастный Мальчик. И Мальчик стал радостно прыгать, успевая лизнуть то одну, то другую руки хозяйки. – Мой хороший, сейчас, сейчас. На вот пока конфетку съешь.

И она пошла в дворовую кухню. На полу, возле плиты, стояла кастрюля с едой для Мальчика – макарон, говяжьих косточки. Наклонилась, чтобы взять ее, эту кастрюлю. Вдруг закружилась голова и Максимовна, точно так же, как ее Гриня тогда, у калитки, опустилась на пол. Мальчик ждал, что ему вынесут еду, а никакой еды не было. Не было и хозяйки. Мальчик стал громко выть. Елизавета по-прежнему сидела на полу, без сознания. Мальчик стал выть еще громче.

Из-за забора послышался голос соседа Ивана, мужа Катерины:

– Максимовна, уйми своего кобеля – воет и воет.

Никто не ответил, а Мальчик продолжал выть.

– Я его застрелю! – кричал сосед.

Ответа не было. Сосед пошел за ружьем. Послышался голос болящей Катерины:

– Дурень. Там что-то случилось, а ты скорее за ружье.

Сосед еще раз покричал:

– Максимовна!

...В ответ – тишина, и он вошел во двор. Мальчик не стал на него лаять, а сорвался с цепи и бросился на кухню. Вслед за ним туда вошел и сосед. Он сразу понял, что с соседкой плохо и позвал жену:

– Кать, поди сюда: кажется с Максимовной беда.

Еле-еле передвигаясь, пришла Катерина.

– Это что такое, подруга? Надумала на полу валяться.

И тут же поняла, что было не до шуток. Мальчик, поскуливая, лизал руки и лицо Максимовны, как бы желая привести ее в чувства. Но она уже была мертва.



Наследство

Повесть

1

Карагодин, сорокатрёхлетний огранщик камней завода «Точприбор», любовно оглядев, отложил работу – камео на заказ, поднялся, распрямив жилистое тело, размял руки, потёр друг о друга чувствительные, как у даровитого хирурга, пальцы и сел обратно. Отпуск был взят, билет на поезд в южный городок, где ждала оставшаяся от дальней родственницы бабы Ньюры однокомнатная квартира, лежал в кармане. Там же – письмо внука усопшей Виталия с требованием отказаться от наследства: мол, он, чужак, седьмая вода на киселе, не заботился о старушке, не жил рядом, да и не видел её никогда. Мысли бурным током побежали, свалившееся наследство резко вторглось в жизнь, как будто шёл по длинной странной дороге, но вдруг споткнулся, упал. И понял: что-то не так, ибо родной городок, улица хорошеют, меняются, бегают трамвайчики и авто, строятся дома, растут магазинчики и кафешки, живут и работают, влюбляются и ссорятся знакомые и незнакомые женщины и мужчины,



**ВЛАДИМИР
ПЕТРОВ**

ПРОЗА





он же, точно слепоглухонемой, не видит, не слышит и не чувствует этого. А чтобы понять, отчего так, задуматься и разобраться, нужна встряска, толчок, выворот мозгов, как говорил начальник его цеха – мудрый Виктор Абрамович, если случался затор, и дело стопорилось.

Казалось, судьба нарочно сделала крутой изгиб в пору, когда семью накрыла беда: он и жена перестали друг друга понимать, будто кто-то насильно вырвал их – чужих и разных – из прежней дивной жизни и наперекор желаниям соединил. Карагодин погладил пальцами тисочки, надфилёчки, пинцетики, щипчики, ножички, словно благодарил за труд. Затем обернул зелёной бархоткой камею, убрал в шкатулку, как всегда по окончании, опустил ладонями вниз руки на стол, приятно ощутив его прохладу. Он не забыл работу, помнил каждый штришок, вроде как доводил ещё линию шеи, правил носик, наслаждаясь. И в этой тихой паузе было то прекрасное и значимое, что он любил, – одиночество и счастье. В эту минуту тихо вошла жена, легонько коснулась плеча. Он нахмурился, сцепил руки.

– Будем молчать? – спросила Галя. Она всегда выражалась подобным образом, когда между ними вставало напряжение, как будто обращалась и к себе тоже: будем думать, а не будешь думать, будем делать, а не будешь делать, будем выяснять, а не будешь выяснять...

– Хочешь вконец рассориться? – вместо ответа вымолвил Карагодин, не повернувшись. – Изволь.

– Контрольную проверяю, четыре класса. Устала жуть как... – неуверенно произнесла она.

Огранщик напряжённо молчал. Галя переступила с ноги на ногу, приклонилась к нему, почти касаясь горячей щекой, и выдохнула с чувством:

– Весна... Двинем к нашему месту в выходные?

Знакомый и родной запах волос, тела жены неожиданно вызвал лёгкую дрожь, как в минуты близости.



– Посмотрим, – выдавил из себя Карагодин и медленно обернулся, глядя пристально, будто не понимая, кто перед ним. Ушки Галя зарделись, родимое пятнышко на шее побурело, а в глазах, причудилось, вспыхнул тёплый сапфировый огонёк. Он не ответил поцелуем, как всегда перед сном. Всплыла в памяти их брачная ночь: разгорячённые, красивые, счастливые, они баловались, точно дети, прыгали по кровати, шутили, играли в дурачки, пили шампанское, смеялись, целовались и любили друг друга. Жизнь казалась вечным праздником, чистым без единого облачка небом, безбрежным синим-синим морем. Галя, сидя по-турецки, кокетливо клоня головку то вправо, то влево, шаловливо цокала язычком, а он пытался уловить её губы, но попадал то в алую щеку, то в пунцовое ушко, то в жаркую шею...

Жена отшатнулась, вздёрнув подбородок, тронула двумя пальчиками ресницы, точно смахнула слезу, двинулась прочь. Показалось, губы её прошептали: «Спокойной ночи». Карагодин лёг на диван, прикрыл глаза. Подёргивало, как всегда после длительной работы, пальцы, хотелось не думать ни о чём, но настырные думы полнили голову. Свалившееся наследство было и кстати и некстати, и что впереди, что назначено где-то там, на небесах, какие повороты, петли, клубки, провалы и взлёты судьбы поджидают их, – не угадать. Он прошёл на кухню, открыл кран с холодной водой и, подождав, пока сойдёт первая, комнатная, не отрываясь, крупными глотками, как любил, опустошил чашку.

Между тем явилось воскресенье, день выдался ясный и тёплый. Небо было бледно-синим, с лёгким на западе облачком. Казалось, атмосфера дрожит, будто живая, в предощущении обновления и, едва сдерживая жар, боится разверзнуться и излить его на землю раньше положенного. В автобусе Галя отвернулась



к окну, молчала. И он не заговаривал, на выходе помог сойти. Жена едва слышно поблагодарила, рука её была горячей, взгляд тревожным. Такой взгляд был и тогда, когда пришло известие о наследстве; она лишь сухо молвила: «Что ж, решай» и ушла к себе. Чувствовалось, что сказанное не про письмо вовсе, не про наследство, а про них самих: жить им вместе или нет...

Хрупкое, словно на аптекарских весах, равновесие, соединявшее ещё какими-то невидимыми нитями, виделось, могло нарушиться в любой миг. Следовало объявить об отъезде, а язык противился, хотелось лишь, чтобы замедлилось время, чтобы светило прилипло где-нибудь на западе надолго, чтобы от свежего ветерка в голове родился лёгкий шум, как от вина, и чтобы любимая рука была в его руке. Холодок обнял сердце, он сощурил глаза, сомкнул губы. «Будь что будет», – подумалось с раздражением.

Муж и жена неспешно двинулись к пляжу. Весна билась наружу, как ребёнок в чреве матери, предъявляя себя то в набухших почках, то в весёлом окрасе неба, то в игривом ветерке, то в добром шуме воды. Природа будто бы лила на землю невесомую чудную музыку.

– Не холодно? – спросил огранщик глухо и сделал движение рукой, словно намеревался обнять.

Галя мотнула головой, не задержалась ни на секунду. Он заговорил про небо, реку, воздух, но сам не слышал себя, да и Галя, кажется, тоже не слышала. И смолк. Наследство, поезд, билет куда-то отошли, а выплыла дума, что они с женой отдаляются друг от друга. Он силился определить, когда это началось: год, три, пять лет назад или раньше. Но события: женитьба, рождение дочери, окончание учёбы, смерть родителей, работа ни о чём не говорили, ибо были заданными вехами их существования, какие изменить не в силах, а семейные заботы, размолвки, болезни, неприятности уходили, не оставляя следа. Не помнил,



когда в первый раз легли спать врозь: он молча отправился в отцовский кабинет заниматься камеей, она – в спальню, готовиться к урокам...

У речки присели на топляк. Раньше брали с собой вино, бутерброды, в беседке справа, где и было их место, пили терпкий напиток из пластиковых стаканчиков, болтали, смеялись, охватывая глазами реку, за ней лес. Теперь милое сооруженьице со столиком внутри пустело, а они, будто каждый сам по себе, будто два случайных человека, хмуро молчали. Наконец Карагодин приобнял Галю, вдохнул её запах, шуточно чмокнул в тёплый висок. Жена чуть отстранилась, подняла воротник плаща, будто сразу облеклась в непроницаемый панцирь, медленно встала и тронулась прочь, глядя в ноги, загребая обувью песок. Мнилось: вот-вот обернётся и скажет что-то важное, но уста её не разомкнулись, а от фигуры, как от реки, тянуло холодом.

Пляж с выгоревшими грибочками, кабинками, забытыми кем-то складным стульчиком, детским ведёрком, формочками для песка в виде животных был безлюден и сер. Пахло глубокой осенью, деревья стояли понурыми, словно озадаченные какой-то тяжкой думой. Речка смотрелась мрачной, как будто горевала, что там, за изгибом падёт в тартарары. Меж веток и кустов шныряли, чирикали, играли в догонялки, ссорились, точь-в-точь как детвора, воробьи, словно подтверждая, что всё им нипочём, что нет уже ни холода, ни мороза, что наток природы необратим. Карагодин догнал жену, нащупал в кармане билет, понял, что объявить о нём ни к месту. Повернули обратно, в темнеющих домах вспыхнули огни. Галя спросила, также глядя в землю, знает ли, почему рамы окон крест-накрест? И, не дожидаясь ответа, продолжила глухо: мол, когда ещё не изобрели стёкла, христиане выставляли кресты на окна, чтобы путники-единоверцы шли на свет именно к ним и могли найти приют безбоязненно.



– Интересно, если нам сейчас запроситься к кому-нибудь, приветят? – как будто самого себя, спросил Карагодин.

Жена промолчала. Во дворе первого дома – русско-го пятистенка – стояла в потёртой телогрейке старушка. Дворняга, подбежав к забору, вздёрнула было морду, чтобы подать голос, но что-то остановило, псина виновато оглянулась на хозяйку и завилыла хвостом. А женщина по-доброму улыбнулась, вытерла концом платочка глаза, махнула им рукой, точно благословила, мол, идите себе с Богом. И скрылась в низенькой пристройке, такой же старой, как сама.

– Знаешь, что говорили её глаза? – спросила тихо Галя. Карагодин немо пожал плечами. – Любить – значит жалеть. – И тепло взяла под руку.

Дома Карагодин вернулся к камее, надел нарукавники, жилетку, которая, как талисман, уверился, приносила удачу, и погрузился в работу. Наступало время, когда не он властвовал над каменной женской головкой, а она над ним, как живое существо, вела руку и толкала мозг. Это подчинение, как слуги, как раба, как влюблённого, готового на всё, было сладким и трепетным. Теперь сосредоточиться не мог, словно бы терялся в раздумьях: к чему эти металлические блестящие инструменты, выпуклый женский профиль, зачем вообще сел сюда.

Он убрал заготовку, из нижнего ящика стола достал родительский альбом, нашёл старое на плотном картоне фото, где с белыми бантами совсем молоденькими девчушками были сняты двоюродные сёстры – бабушка Шура, папина мама, и баба Нюра. Очень похожи были у них глаза, рты, носики, лишь овал лица различился, у бабы Шуры – мягкий, а у бабы Нюры – более твёрдый, скуластый. Карагодин листал альбом дальше. Карточек отца было мало. На одной, коллективной, с надписью «Ударная бригада инженеров и тех-



ников ЗСМ, 1970 г.», отец стоял сбоку, во втором ряду, носатый, худой, угрюмый, вроде как насильно представленный. На другой – обняв за плечи маму, в саду, под расцветающей яблоней, в майке, с острыми плечами, выпирающими ключицами – едва улыбался. Карагодин помнил, как нежны были родители, как заботились друг о друге, волновались, переживали, как терпеливо сносили боли, не докучая близким. И ушли почти в одно время тихо ...

Образ отца то наплывал, то уходил. Тихий, безобидный, сутулый, в сильных очках, словно вечно чего-то или кого-то боящийся, опасющийся причинить другим неудобства, осудить кого-либо, не требовавший чинов, наград, званий, льгот, прошедший тридцать лет в КБ заводика сельхозмашин за кульманом, вычерчивая, говорили, одни и те же детали, никогда не рассказывал ни о родителях, ни о детстве. Выйдя на пенсию, по большей части сидел у окна, поместив лысую голову с густыми седыми бровями и выдающейся нижней губой на два кулака, а вечерами, в одно и то же время, точно заступал на смену, поднимался на чердак к любимому телескопу. Вспомнил, как мама рассказывала почему-то шёпотом, что дедушку по папиной линии, известного военспеца, расстреляли в тридцать седьмом, а бабушку с ребёнком отправили в лагерь, где она и умерла. Умер бы и папа, но спасла какая-то жалостливая надзирательница: устроила в хороший детдом...

Спустя полчаса Карагодин вышел из дома, закурил. «Почему отец не рассказывал о своём детстве, о бабушке и дедушке, об их судьбе? – думал он, ругая себя, что не настоял прежде, не интересовался историей семьи. – Чего-то боялся или слишком тяжёлые воспоминания?» Курение и ходьба несколько успокоили. Он присел на лавку. В комнате жены горел свет. По улице бродил лёгкий ветерок, мир засыпал, таяли



звуки, точно кто-то невидимый сразу глушил их. Тяжесть на душе ушла, родилось чувство, будто парит над домом, городом, страной. Сердце мерно и тепло постукивало, а тело, полное силы, отдыхало. Так ночью отдыхает земля после суетливого, шумного, тревожного дня.

Тишину нарушили шаги и говор – приближались двое, узнать которых было просто: Валера-боцман, невысокий крепкий мужичок с приметной поступью, и Толик, профессор университета, тучный, с волнистой гривой седоватых волос, – соседи и друзья детства. Валера окончил мореходку – взяла верх романтика, помотался по свету, затем поступил на филфак с мыслью стать писателем. Но не вышло, хотя издал пару книг; учительство же отверг, подался в экскурсоводы. Анатолий студентом увлёкся историей, после армии окончил аспирантуру, защитился, обзавёлся семьёй.

– Пора обмыть наследство, – уронил хрипло Валера, тяжело опустившись рядом и выдохнув спиртным; сильные руки по привычке упёрлись в колени, мощная фигура дышала борцовской силой.

– Успеется, – осадил весомо профессор, садясь рядом и закуривая. – Как решил, едешь? – осведомился он.

Карагодин кивнул.

– Ну так – значит так, – подытожил Толик. – И положил пухлую руку на плечо друга. – Проводим чин-чинарём. А пока – время баиньки, что-то я подустал. Завтра договорим... Да, Инка приехала.

– Одна? – глухо спросил Карагодин.

– Видал его? Ну не одна. С Леной.

– Старая любовь не ржавеет, – полушутливо заметил Валера. – И как Галка терпит двадцать лет? Ведь когда твоя сестрица прикатывает, он точно под девятый вал попадает.

– Трепло, – парировал Карагодин. – Ты ж ни одной туристической юбки не пропускаешь...



– Сучка не захочет – кобель не вскочит. У меня с женой договор: она – курит, а я – пью и гуляю...

– Галя не терпит, боцман, садовая твоя башка, а жалует, а значит, любит. Женская душа – тайна за семью замками, – Толик поднялся тяжело и добавил: – пошляк ты, боцман. А ведь там, перед Богом, за все грехи придётся нести ответ. На свете есть три худа: худой сосед, худая жена и худой разум. От первых двух избавиться можно, а вот от третьего – никак.

– Не понял, ты к чему, профессор? – пробасил Валера.

– А к тому: каждому положено по уму его! – философски произнёс Толик и потёр рыжеватуую бородку. – Отдать концы.

– Помни, отвальная с тебя, Годя! – весело проронил Валера. И друзья вразвалочку тронулись дальше.

Карагодину не сиделось. Перемешались приезд Инны, наследство, Галя... Вспомнилось: здесь Галя ждала его в то далёкое утро, когда возвращался от Инны. «Ты чего тут?» – спросил он лениво, ещё не отошедший от тепла женской постели, зевнул широко и сладко потянулся. «Жду тебя... с вечера, – тихо молвила она и кинулась к нему. – Никто, никто не будет любить тебя так, как я!.. – шептали её губы сквозь слёзы. – У неё муж, ты ей не нужен...» Он растерялся, машинально обнял девушку. Острые плечики дрожали, сердечко отчаянно билось. Вмиг смешались чувства, родилась жалость, куда-то ушли ласки Инны...

Карагодин смял сигарету, возвратился в дом, поднялся на чердак, у слухового окна стоял настроенный телескоп. Сел в удобное креслице, пахнувшее отцовской «Примой», приник к окуляру длинного на треноге прибора и увидел небо. Картинка была удивительная и притягательная настолько, что привела в волнение. Он вглядывался в светящиеся мерцающие точки, как будто оттуда, из невообразимой дали, из бездны кто-то подавал сигналы. И мир этих объектов: туман-



ностей, галактик, скоплений, чёрных дыр, переменных, двойных, новых и сверхновых звёзд, где одиноких, где группками, завораживал, манил. Здесь ночами наблюдал это чудо отец: вот круглый столик с листами миллиметровки, кальками, чертежами, калькулятором, циркулем, таблицами, логарифмической линейкой; вот тумбочка с книгами по астрономии; вот на стене вращающаяся карта звёздного неба...

Карагодин отыскал портфель отца с пухлыми боками, обтёр его от пыли, спустился обратно. В боковом отделении обнаружилась незапечатанная бандероль с адресом Академии наук, а в ней – оформленная заявка на открытие малой планеты, названной в честь мамы Викторией. Возвращая назад бумаги, подумал, что и здесь отец скрывал, таился, а может, всего-то не успел оформить своё открытие. Помнилось, оставаясь вдвоём, он, хмурясь, как будто через силу, весомыми, как глыбы, словами, своим глухим баритоном, негромко, будто опасался, что кто-нибудь услышит, наставлял: не открывай никому душу, сын, радость и беду храни внутри, как в чёрной дыре, не води дружбу абы с кем, не давай себя унижить и не верь никому...

Но вдруг внимание привлекла газетная вырезка со снимком: за столиками, как в детсадовской столовой, сидели наголо остриженные дети в одинаковых то ли майках, то ли длинных рубахах светлой ткани. Не улыбаясь, они смотрели в объектив, а за ними, на стене висел большой портрет Сталина. Непонятное волнение охватило его. Заметка называлась «Дети АЛЖИРа». Под ней рукой отца с резким характерным «Ж» в виде перечёркнутого вертикального «Х» было приписано: «АЛЖИР – Акмолинский лагерь жён изменников родины – разговорное название 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области Казахстана (1938–1953гг.)». Из текста следовало, что в январе 1938 года открыл ворота и принял



первые этапы жён и детей врагов народа печально известный АЛЖИР, разбитый в голой казахской степи, что теперь сняты документальные фильмы о нём, о драматических судьбах женщин, на которых в 30-е годы минувшего века было поставлено клеймо «жён врагов народа», установлены памятные знаки, создан музей.

Жар охватил тело, пересохло во рту, он облизал губы, резко поднялся, заходил по кабинету, то и дело бросая взгляд на снимок; пробежал на кухню, хватил стакан воды из-под крана. Сердце потяжелело. «Связано ли это с судьбой отца?.. Ведь мама рассказывала, что родители отца были репрессированы. Может быть, на этой карточке отец или те, кого знал? И по скрытности натуры, никому ничего не говоря, сохранил статью как память о той жизни?» Огранщик сел обратно, достал перевязанную резинкой пластмассовую коробку с документами родителей, отыскал свидетельство о рождении отца – зеленоватую меньше половинки обычного листа бумагу с графами на русском и казахском языках, выданное 4 мая 1945 года Карагандинским бюро ЗАГС НКВД. Несколько раз неторопливо, точно хотел накрепко запомнить, перечёл его от грифа «Повторное», выведенное от руки и марки пошлины в 5 рублей в правом верхнем углу до подписи делопроизводителя и даты внизу.

2

Детство – чудная беззаботная пора, словно лодочка, плывущая по спокойному без края озеру, отрочество – время загадок и маленьких открытий, первых увлечений, сердечных мук, юность – годы возвышенных чувств, становления личности.

Местечко, где родился Карагодин, являло собой замечательный образец купеческих с петровских времён городков, незаметных ныне, кое-где умирающих, раскиданных по Руси, точно Бог, заселяя её, вытряхи-



вал из сумы людишек где ни попадя. Три века назад, став при слиянии двух речек, поселение росло, слыло центром кораблестроения, позже – средоточием торговли между севером и югом. И названия улиц отражали его историю: Речная, Народная, Солдатская, Большая, Корабельная, Дубравинская, Лесная, Базарная, Пролетарская, Широкая. Имя городка, составленное из имён двух святых-братьев, погибших здесь в княжеских междоусобицах, было длинным, но местные звали его, вроде старого приятеля, друга, любовно, мягко и коротко – Бэбск.

Зима в этих краях бывала морозная, сухая, лето – жаркое и душное, а между ними долгие туманные и дождливые промежутки – весна и осень. Каждый июнь сыпал и сыпал, как в снегопад, пух с тьмы посаженных вдоль улиц тополей, слепил глаза, лез в рот, за воротник, стелился всюду белым мягким, будто вата, ковриком. Имелся в населённом пунктике драмтеатр исторической архитектуры позапрошлого века, три кинозала, музей краеведения, колледж, библиотека, университет, профтехучилище. Ни шатко ни валко, как и пристало провинции, шлёпали продукцию заводики «Точприбор» и «Сельмаш», швейная и носочная фабрики, ремонтные мастерские при железнодорожном депо правили оси, сцепки и прочие детали подвижных составов, молкомбинат одаривал граждан своей продукцией.

Патриархальный быт основательного и просторного, будто богатый купеческий дом, местечка на среднерусской равнине время от времени нарушали воинская часть, лётное училище, отряд МЧС, затевая манёвры, учения, полёты, смотры, парады, приводя в трепет девичьи сердца, будоража полусонное общество чиновников, полиции, различных служб городского и федерального калибров. Так мирно-тихо, как и соседствующая речка со странным названием Ворона, текла здесь жизнь. Ну не беда, если стенка на стен-



ку, как встарь, сойдётся братва заполотнянного района и мастерских, или студенты – придать адреналину, похрустеть кулаками, погнуть друг дружке скулы. Ну всколыхнут народ выборы или приезд какой-нибудь знаменитости, нахлынет, что волна, и откатит горячка, интерес, волнение. И опять – ровное существование, как везде в малых городах России. Правда, и богема своя имеется, и народ небесталанный, и прогресс налицо. Негромко, без столичной помпы, горожане жили, трудились, плодились и умирали.

Если идти от кирпичного старого здания вокзала по Пролетарской, минуя автостанцию, театр, университет, заводик, где обрабатывал камни Карагодин, главную площадь с памятником павшим в Великую Отечественную войну, после свернуть на Народную, ведущую к горпарку, то через два квартала и будет Дубравинская – широкая и вольная, подобно русской душе, улица. С серыми деревянными домами стелется она до самой окраины и упирается в Знаменский храм, где более 50 лет служит всеми любимым и уважаемым отец Григорий, священник и художник, перекладывающий красоту Божьего мира на холсты. В церковные праздники по ней тянулся боголюбивый люд.

Ребёнком, после автоаварии, сидя у окна долгими часами Карагодин оставался со своими мыслями наедине, много читал, грустил и мечтал. Он полюбил одиночество; характер сделался скрытным, при людях больше молчал. Какие думы плелись в мозгу этого человечка, какие чувства трогали сердечко, никому было неведомо. Порой приходила мама – в молодости красивая, высокая, с тонким носом и острым взглядом глубоко посаженных глаз, властная, немногословная. Постояв, не уронив и ползвуча, уходила, будто чужая, красиво неся голову. Как-то, десятилетним, он сильно провинился – украл у тети Евдокии, маминой сестры, деньги: не хватало три рубля на полюбивший-



ся ему красивый перочинный ножичек с двумя лезвиями, ножничками и отвёрткой. Пропажа вскрылась, он сознался. Мама ничего не сказала отцу, не ругала, не била, а поставила перед собой и час просидела молча, не спуская с него грозных и холодных глаз, пока дрожь не взяла всё тело и он не разрыдался...

Отец звал с собой на чердак, давал глянуть в телескоп, показывал собственного изготовления вращающуюся карту звездного неба. Парнишку, однако, застывшая картина не трогала. Потом шли на кухню, отец долго курил, на просьбу рассказать о детстве, юности отмалчивался, переводил беседу на другое.

Один случай, как гром среди ясного неба, всерьёз обеспокоил: Карагодин во время очередного лечения влюбился в тяжелобольную девочку, лежачую, много времени проводил подле неё, словно нянька, носил еду, читал книжки, развлекал, подбадривал. А однажды утром нашёл её кровать пустой – девочка умерла. Случилась истерика, припадок. Вновь потянулись месяцы лечения, реабилитации, он пропустил учебный год, терял память, заикался.

Однажды после школьной экскурсии в цех «Точприбора» увлёкся обработкой камней, благо дядя Митя, двоюродный брат мамы, ювелир, подаривший в день рождения нож-финку с перламутровой наборной ручкой и кожаными ножнами, утверждал, что камни – это и энергия, и магическая сила, и оберег, а посему – залог укрепления здоровья. И судьба юноши была решена – стал учащимся техникума при заводике. В это время Карагодин влюбился в сестру Толика Инну – красавицу-гимнастку, яркую блондинку, походившую на французскую актрису, из-за которой окрестные парни пустили друг другу кровь из носа. Но та предпочла чужака – курсантика лётного училища.

Уже перестали мучить, хотя нет-нет и давали о себе знать, приступы, Карагодин возмужал, увлек-



ла студенческая жизнь, а ювелирное дело, камни всё больше и больше захватывали ум и фантазию. Учился жадно, с интересом, желая доказать матери, что от аварии не осталось и следа, закончил курс с красным дипломом, стал хорошо зарабатывать. Но мама оставалась равнодушной. Как и раньше, никогда не целовала на ночь, не расспрашивала о делах, об учёбе, а подолгу, отвернувшись к спинке, лежала на диване. В последнее время её что-то давило, угнетало. Так и угасла. Правда, за день до кончины позвала сына, испросила прощения и сказала, что очень любит... Отец тогда сильно сдал – похудел, ссутулился, перестал следить за собой. И через год ушёл вслед за ней, тихо, во сне. Теперь в его кабинете спал Карагодин.

Вечером накануне отъезда к нему явилась Галя.

– Ты не задавался вопросом, почему мы так живём? – спросила она. – А я знаю, и ты тоже – не можешь забыть Инку!.. Эта кукла всегда между нами, как проклятие. За что? Полагала, моё чувство сильнее...

Она стояла в проёме двери: ладная, высокая, с сильным взглядом. Карагодин поднялся. Стало ясно: не будет сцен, выяснения отношений, упрёков, обвинений и слёз – жена была выше. Он знал это и ценил. А если жгла особая, глубокая обида, чувствовал кожей, Галя, как боксёр, уходила в глухую защиту и проникнуть через неё, точно через бетонную стену, было невозможно. Жена подняла слегка сощуренные глаза, продолжила в том же тоне:

– Как нельзя медведя удерживать на нитке, как нельзя умирить ветер одним лишь желанием, так никто не в силах заставить человека любить... Мстишь за неё? Но я не жертва твоего самолюбия, нет. Женщина, которая любит, всегда красива. – Голос её дрогнул, сошлись брови, скулы обозначились резче. Она сделала к нему два шага. – Думаешь, камеи спасут, заменят жизнь, суету и заботы, радости и боли, любовь? Оши-



баешься... И это всё пройдёт, как говорил мудрец, рано или поздно, и её профиль с камей сотрётся. Увидишь, так и будет!..

Галя говорила дальше, что у большинства мужчин в сознании запрограммирован один женский образ, именно как образ, как икона – матери либо первой любви, а другие не воспринимаются; порой всю жизнь они так и ищут бессознательно, иногда болезненно, с провалами и взлётами, своего кумира. А если избранница – жена или любовница, не подходит под воображаемый идеал, терпят крах. И закончила почти шёпотом, что не судит его, а жалеет...

Она подняла руку, словно намеревалась коснуться его плеча, но развернулась и быстрым шагом ушла.

Карагодин подумал о добрых поступках, которые мог совершить, но не совершил, о словах, какие мог сказать и не сказал, о взглядах, жестах, эмоциях, что не состоялись. Впору бы сесть, разобраться в себе самом, поразмыслить, отчего бог сделал его таким: где нужны эмоции, а то и действия, он холоден и безразличен, когда же, напротив, следует сдержаться, то взрывается, бесится, нервничает. И если тёплые мысли, благие намерения полнят голову, то какая-нибудь подленькая мыслишка, точно подсказка чёрта, непременно испортит дело, смешает, повернёт так, что худое, легковесное всплывёт, а доброе, что тяжёлый ил в озере, осядет глубоко на дно, спрячется. «Всегда есть выбор, жизнь лишь ставит вопросы и предлагает пути. Какова цена любви к кому или чему бы то ни было, что таит в себе свобода выбора?.. – тема противоречия, взлёта и падения, потерь и приобретений не давала покоя. – Чем можно жертвовать ради Любви или Искусства? Не раз, решившийся расстаться с самым дорогим, что есть на земле, – собственной душой в обмен на любовь, богатство, величие, славу, бессмертие, погибал...»



Думы, думы, думы... Он прошёл на кухню, выпил из-под крана воды, сварил кофе. Желая отвлечься, собрать мысли, неторопливо, наслаждаясь, отхлёбывал из чашки. Всё, что могло быть сказано о них двоих, услышал. Жена будто бы впрыснула в него особую вакцину против зла, лжи, ненависти, себялюбия. И оставалось ждать реакции организма: примет или отринет, а от этого зависит их дальнейшая жизнь – вместе или врозь...

Вспомнил отца, утверждавшего, что, наблюдая небо, якобы разговаривает с небожителями, что приближается к тайне мироздания, что скоро сделает открытие – оно уже здесь, на этом маленьком клочке мира, на столике, вот-вот проглянет, вспыхнет, как новая звезда, сквозь кальки, миллиметровки, схемы, рисунки. В эти минуты он делался живым, деятельным, бойким, непохожим на себя, точно актёр, вживающийся в роль; странно и необыкновенно светились глаза, густые брови топорщились, морщины исчезали, лицо молодело. Тогда ему было тесно на чердаке. Казалось, ещё один порыв, ещё один выплеск мыслей, ещё одно восклицание, как вещее слово, – и втянется неведомой силой в слуховое окно, улетит в вечность, растворится среди звёзд и миров. Порой Карагодин, засидевшись за камнями, делал разрядку, всходил на чердак, будто взлетал к самому шатру неба, глядел на звезды. И, вернувшись, усталый быстро засыпал...

Карагодин неторопливо закурил, медленно взошёл на чердак, приткнулся к окуляру телескопа. Посидел некоторое время в тишине, глядя на черно-звездное бескрайнее море, и спустился обратно.

3.

Тучи приходят и уходят, а небо остаётся, – гласит азиатская пословица. Перед концом смены Карагодина вызвал к себе начальник цеха Виктор Абрамович.



– Значит, едешь, ээ-э, так? – спросил он, выпятив по обыкновению губы.

Невысокого роста, полный, с живыми глазами, с одутловатым лицом и вечно торчащими в разные стороны остатками волос, тихий с виду мужичок, крепко держал в руках производство, какое для него, бездетного, познавшего любовь одной только женщины, вечерами ждущей его в маломерной двушке, было главным, забирающим все мысли и стремления. Карагодин кивнул, подтверждая.

– А заказы, ээ-э? Смотри, уговор, так!..

– Всё помню, Абрамыч. Не подведу.

Начальник забегал по кабинету, словно чего-то ища, хотя нужно было всего-навсего сказать напутственные тёплые слова, да мысли путались.

– Так, осенью выставка в Париже – нужно, ээ-э, быть. Помнишь, как в том году ездили в Амстердам на фабрику алмазов?.. Никак не могу смириться: алмазы наши, а обрабатываем и продаём не мы. – Наконец остановился, как будто что-то вспомнил, достал из сейфа коньяк, разлил по рюмкам. – Выпьем за удачу. Так. Не задерживайся, нужна какая помощь, дай знать... Всё, ээ-э, а то мне ещё к наладчикам. – И, крепко пожав руку, проводил Карагодина до двери.

Едва ступив за проходную, услышал сигнал телефона – звонила Инна, сестра Толика. Сердце дёрнулось. Раз в два-три года Инна с семьёй навещала родителей. Но прошлым летом муж её, военный лётчик, не вернулся из дежурного полёта над океаном. И ни тела, ни машины до сих пор не обнаружили.

– Мне тошно... Приходи... Я одна, – со всхлипом проговорила она.

Он вошёл в знакомый двор не с улицы, а с переулка, нахоженной тропкой, через сад, где в детстве прятались от родителей в шалаше, мечтали о дальних странах, о путешествиях, о будущей взрослой жиз-



ни. Располневшая, непричёсанная, в домашнем халате, с припухшими глазами, Инна упала ему на грудь. Карагодин приобняв, дал выплакаться. Прошли в кухню, сели. Из початой бутылки Инна налила в два бокала, не чокаясь, выпили. Она взяла его за руку, заговорила, перескакивая с одного на другое, через фразу повторяя: как теперь жить?.. Голос дрожал, поникшая фигура потеряла былую лёгкость, красоту, черты лица, всегда тонкие, почти воздушные, были резки и тяжелы. Лишь чувственные губы напоминали ту, прежнюю.

Карагодин стал говорить какие-то успокаивающие слова, но они, видно, не доходили до маленьких, когда-то дивных, любимых ушей с мягкой, кокетливой мочкой, держащих невесомые, воздушные серёжки. Влажные глаза смотрели мимо, в пустоту. Перед ним сидела его первая юношеская любовь – быстрая, игривая, красивая, а теперь – дородная женщина с тусклым взглядом и поникшими плечами; она то поднимала голову, то опускала и покачивалась вперёд-назад, рука с рюмкой дрожала. Через время, точно очнувшись, Инна бросила взгляд на часы, тяжело поднялась и прошептала: «Пора, скоро мои придут». «Держись», – только и смог он проговорить на пороге и поцеловал в тёплый висок.

Карагодин не сразу направился домой, а покружил по улицам, где-то опустился на чужую скамейку, закинул ногу за ногу, закурил. Мимо гоняли мальчишки на велосипедах; возился в моторе легковушки рыжий мужичок, сплёвывая и чертыхаясь; чинно прошествовали женщины в черном, вроде монашек, а когда слышался церковный звон, компания перекрестилась, чуть приклонившись к земле, и заторопилась; на углу спорили два хорошо одетых господина, один из которых махал рукой с вытянутым указательным пальцем с большим перстнем перед носом другого, повторяя: «Убей, не поверю! 50 процентов – куда ни шло, но 75 – чушь полнейшая!» «Почему так устроена человеческая



жизнь, что нужно терять дорогих и близких? Почему человек, высшее по разуму на свете существо, навсегда покидает его? Зачем обижает один другого, не прощает, не мирится, а спорит, что-то доказывает, злобствует, а ещё хуже – уничтожает в войнах, тюрьмах, лагерях?» Тихо подсел какой-то невзрачный дедок в телогрейке, в ушанке и с клюкой: «Тебе плохо, милчеловек? – спросил он тихо. Карагодин отрицательно покачал головой. – Погрусти, погрусти, милый, и всё пройдёт...»

В четверг, в день отъезда, Галя ушла рано. Они почти не разговаривали. Как и прежде, мира не было. Рядом с едой лежала записка с одним словом: «Счастливо». Карагодин отцовскую бандероль отослал в Москву; на Слободском кладбище положил цветы на могилки отца и мамы, а в четыре часа встретился с друзьями на вокзале.

– Ну что, в кафе или как люди? – спросил, перенося сильное тело с ноги на ногу, Валера.

– Что за вопрос, старичок, конечно, как люди, – ответил Толик, увлекая компанию к магазину.

Друзья устроились с бутылкой водки, плавленными сырками, пол-кирпичиком «Бородинского» в знакомом дворе за гастрономом, на таре, только уже пластмассовой. Поднесли, как положено, и грузчику Васе – всегда хмельному и весёлому беззубому мужичку, который подсуетился, помог устроиться, организовал столик. Первым тостом, как всегда, помянули ушедших. В студенчестве здесь регулярно пили «Улыбку», портвейн «Три семёрки», алжирское и прочую дешёвую гадость, спорили, мечтали и представлялись себе сильными, умными, способными совершить в этой жизни нечто большое, значимое для мира, для страны, даже пытались создать что-то вроде «Союза борцов за справедливость». Вспомнили свадьбу Толика, когда ехали в глухую русскую деревню зимой на снегоочистителе, потому как никаким транспортом было не добраться,



а в сених встречал стол с графинами самогона и каждому гостю отмеряли гранёный стакан. Спать легли вповалку, знакомые и незнакомые. Галя тогда оказалась подле Карагодина. Он обнимал девушку, целовал, говорил какие-то нежные, как казалось, слова, а она лишь шептала ему на ухо: «Не нужно, люди же. Не нужно...» и ловила настойчивые мужские руки.

– А я понял, старик, зачем ты меня с Галей познакомил тогда, – с иронией начал Карагодин. – Позаботился, так сказать, чтобы Инну забыл, так?

– Нетрудно было догадаться: по-родственному и по-дружески проявил заботу. Спасибо бы сказали. Дождёшься от вас, как же, – парировал Толик.

– Молодость – что раннее-раннее утро, не угадаешь, каким выдастся день, – сказал многозначительно Боцман и по привычке тряхнул руками, словно сбрасывая напряжение. – Куда всё делось: романтика, единственная, на всю жизнь любовь, труд не для себя, для людей? Мы, кажется, становимся толстокожими унылыми прагматиками, а жаль. Психологи уверяют: положи на лист всё, что тревожит, излей душу, затем порви бумагу на мелкие кусочки – и не будет проблем...

Мужчины примолкли: профессор потёр бородку, слегка нахмурился, Валера повёл широкими плечами и покачал светловолосой головой, Карагодин вертел в руке стаканчик и поджал губы.

– А знаете, други, что такое «АЛЖИР»? – вымолвил наконец он и сам же ответил: «Акмолинский лагерь жён изменников родины».

– Чего это ты вдруг? – спросил Толик и внимательно глянул на друга.

– Да так...

Повисла пауза. Валера осторожно разлил водку, не чокаясь, выпили, закусили.

– Да, грустное было время, – посетовал Толик. – Я когда читаю об этом студентам, не верят. Как мог-



ло быть такое, что за мысли, за одно неверное слово, за портрет вождя в газете, которую использовали на самокрутки или завернули в неё селёдку, можно было загудеть надолго, а то и вовсе сгнуть без следа. Ставили клеймо «враг народа», детей отбирали у родителей, помещали в детдома, меняли фамилии, пытались вытравить память об отце с матерью. Сколько судебных исковеркано... И как допускали партия большевиков, советский народ?

– Страх, думаю, большой страх... Это наша Россия... Люди попадали под молох безвинно и несли на себе этот крест, клеймо до гробовой доски, – продолжил Карагодин. – Несли тихо, безмолвно, скрытно. Какое?.. А революция, а расстрел царя, а гражданская, а разгром церквей, крушение памятников, высылка или уничтожение неугодных, по-иному мыслящих?.. Господи, это всё опять же мы...

Он нервно закурил, глубоко затянулся несколько раз, налил по третьей. Выпили молча.

– А что там, в Наробразе? – спросил иронически Валера то ли Толика, то ли Карагодина.

Толик ответил, что всё по-старому: нововведения, бумажная волокита, потуги что-то изменить, сделать лучше, а выходит, как всегда; студенты, выпустившись, работать в школе не желают, а ищут тёплое местечко чиновника, менеджера, модератора, чтобы меньше делать, но зарплаты получать высокие. А подневольных учителей заставляют писать за них всякого рода проверочные, репетиционные, экзаменационные работы, чтобы получить высокие баллы.

– Сами себя обманываем, так и скатываемся не к уму, трудолюбию и старательности, а к лени, увёрткам и безделью, – продолжил, вздохнув, Толик. – Ведь так?..

Карагодин подтвердил, что знает, ибо Галя как раз в центре всего этого и сделать ничего не может, впору бежать из школы, до того противно.



– Нация хиреет... Кажется, у Достоевского один персонаж с радостью говорил: было бы хорошо, чтобы какая-нибудь умная заграничная нация нашу, русскую победила... Вот и теперь иные радетели-либералы отечественные только и мечтают, чтобы нас, скифов, азиатов, развитые европейцы подмяли. И стелются под них, и гранты всякие получают из их рук, как подачку, а сало наше едят, хоть и морщатся...

– Ну что ж, братцы, двинем, – глухо проговорил Карагодин.

– Ну да, а то вкусим, как выразился скифский философ Анахарис, от виноградной лозы все три грозди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения, упаси Бог!..

Троица неспешно двинулась через площадь к перрону поездов дальнего следования.

Устроившись в вагоне, Карагодин помахал друзьям, но не отходил от окна. И вдруг увидел Галю: в модном, так идущем ей, тёмно-вишнёвом плаще, с развевающимся лёгким шарфом на шее, взволнованная и красивая, она выбежала из здания вокзала и заметалась. Он дёрнулся, затарабанил в окно, побежал к выходу. Но в этот момент громко стукнула вагонная дверь, холодно лязгнул замок, поезд тронулся. Галя ещё раз мелькнула и пропала из виду, как мираж.

Он вернулся на место, потёр ладонями лицо и задумался.

4

Прибывший в чужой город вечерним поездом в последнюю субботу мая Карагодин стоял на третьем этаже блочного дома у квартиры № 43. Худощавая фигура с выпирающими лопатками, умное, чуть усталое лицо, продолговатый нос, тонкие не улыбочивые губы выражали крайнее волнение. Суэта последних дней, причиной коей явилось известие о наследстве, утоми-



ла. Он почти коснулся звонковой кнопки, когда услышался негромкий с хрипотцой голос:

– Кхе-кхе... Там же никого... Кхе. Вот ключики.

На пороге боковой квартиры бесшумно возник человек лет 70 или около того, в синей растянутой майке, в выцветших галифе на подтяжках, в шлёпанцах, с жидкой седой шевелюрой, с безобразно торчащим зубом в верхней челюсти и с татуировкой на левом предплечье, изображающей лики двух вождей прошлого: лысого с бородкой клинышком и усатого с трубкой. Старик был поджар, сбит, выпуклая грудь, осанка, что-то твёрдое и основательное в фигуре и взгляде выдавали когда-то тренированного, сильного человека, скорее всего, отставника с командным голосом и резкими повелительными жестами.

– Я вас, любезный, таким и представлял. Кхе... Об имуществе не беспокойтесь, целёхонько, аки в банке, – монотонно прошамкал он, выпячивая каменный зуб и ощупывая цепким взглядом наследника. Небритое скуластое лицо с ямкой на твёрдом подбородке, с густыми бровями, крупным носом едва смягчилось. Мужичок представился: – Филипп Павлович, председатель совета дома. – Кхе... Понадоблюсь, за- всегда готов, я – рядом. – И, вручив железную связку, скрылся бесшумно, как и появился.

Карагодин задумался. Мысль, что его поджидали, что этот плотный коротышка, главный здесь, посвящён в дело, как в своё собственное, знал в лицо, не спросив документы, не ошибся с днём и часом приезда и стоял за дверью с целью не проглядеть, напрягла. Сделалось не по себе: жарко и душно одновременно, и шум в голове, и боль в висках. С ним так случалось: объяснить события, явления, факты, совпадения и несуразности порой не мог, как ни силился. И это относилось к последствиям аварии. Огранщик распахнул полы куртки, гоняя воздух, ослабил ненавистный галстук,



коротким броском головы откинул мягкие тёмно-русые волосы с высокого лба и до последнего значка вспомнил письмо. В нём советовали, не теряя времени, явиться в нотариальную контору по месту жительства Сапрыкиной А. Л. для оформления полагающихся бумаг. Однако сегодня, да и завтра, то есть в субботу и воскресенье, визит к нотариусу невозможен: разумнее было бы – так вначале и предполагал – нанять гостиницу и выспаться, да будто кто нашептал – перерешилось уже по приезде, на перроне. Рядышком всплыло и второе, вслед, послание родного внука покойной с угрозами и требованием отказаться от наследства.

Карагодин поморщился, дрожащими пальцами вставил жёлтый ключ в верхний английский замок, провернул дважды и толкнул – дверь не шелохнулась. Почудилось: за ним следят, вроде как слева потянуло сквозняком; он едва удержался, чтобы не обернуться, взмок и опустил на серый пол вещи. «Отступить?..» – промелькнула мысль. По привычке, как делал в затруднительные минуты, и требовалось молниеносное соображение, безмянными пальцами потёр виски, подгоняя кровь к мозгу. «Что за блажь – не подождать двое суток?..» Сердце застучало, отчего-то сделалось жутковато, словно он тайно, сродни домушнику-неумехе, вскрывал чужую квартиру, опасаясь быть застигнутым. «Но ведь она по закону моя...», – мелькнуло в голове. Развернуться и уйти было глупо – тогда чего огород городить. Он, проглотив слюну, носовым платком промокнул шею, лоб, скосил глаза к чужой двери: за ней царила тишина. Но лёгкий ток другого, не лестничного воздуха, точно из щели, долетел до него. Карагодин выделил из связки длинный ключ и опробовал нижнее, под ручкой отверстие. На этот раз дверь поддавалась, он нерешительно внёс поклажу, щёлкнул упругим выключателем и осмотрелся. Ему открылась прихожая. Собственно, прихожей как тако-



вой и не было, ибо в полшаге, лицом к нему, выступал угол туалета, прямо – неширокий, аккурат для одного, проход в кухню мимо ванной, слева – ниша с платяным шкафом без дверей, а справа – голубая распахнутая настежь комнатная дверь. Кругом было прибрано и чисто, будто прежний хозяин только что убрался. На время замер, словно ждал чего-то необыкновенного: то ли явления умершей старушки, то ли выхода её наглого внука; перевёл волнительный взгляд с комнаты на кухню и обратно, но ничто не нарушало покоя дома. Он стянул, озираясь, куртку, неторопливо распаковал багаж, переобулся и, прежде чем идти дальше, перевёл дух. Но в этот момент пронзительный входной звонок заставил вздрогнуть. Нервно отомкнул дверь – однозубый сосед в свежей рубашке, в брюках со стрелками, чисто бритый, пахнувший одеколоном, с уложенными на плоском темечке жиденькими, как пук жухлой травы, волосиками, спокойно взирал на него. Угол его плоского рта нехорошо дрожал.

– Прошу, – растерянно молвил Карагодин. – Сюда. – И отступил.

– Я в курсе, – быстро ответил толстячок и, прошмыгнув мимо боком, почти запрыгнул, как озорной мальчуган, на оранжевый диван и тот, по-стариковски, ворчливо отозвался тусклым скрежетом пружин. Поёрзав под ту же железно-кряхтящую музыку, гость полулёг, закинув ногу за ногу, и шлёпнул себя по сухой ляжке. – Значит, решились вступить, так сказать, в права?.. Лю-бо-пыт-но!..

Карагодин буркнул «Ну да...», снял очки и помрачнел. Прыжок, вроде как на собственную кровать, хлопок рыжей пятернёй по натянутой штанине, «Любопытно», прозвучавшее насмешливо-угрожающе и презрительно смятая физиономия были неприятны. Подобное бывало не раз. Его лишал обычного состояния хамоватый тон директора колледжа, где прежде работал, который



называл учительниц бабами и мог вернуть матерное слово при них, похвальба бывшего сослуживца тем, что у него в городе всё «схвачено» и он знает, как делать в обычной государственной больнице деньги, ночные ссоры с битьём посуды и мордобоем соседей. Старомодные полуботинки с дырочками, отутюженный костюм, резкий дух тройного одеколона, жёлтая, в пятнах лысина, рыжеволосые пятерни жильца из сорок второй, лежащие по-хозяйски уверенно, – всё бросалось в глаза, лезло грубо, напористо, нервировало, но более всего отвращал вредный, будто нарочно выставляемый, зуб. Соискатель однокомнатной квартиры, привыкший сдерживаться, унял вспыхнувшее костерком противное чувство, рассудив, что негоже отталкивать тех, с кем выпало жить рядом. «Лучше иметь плохую жену, чем плохих соседей», – отчего-то вспомнилось ему и, не став длить молчания, присел рядом.

– Филипп... Павлович, – глухо начал он. – Анна Лаврентьевна, баба Ньюра, что за человек была?

– Покорно извиняюсь, не имею возможности знать. Кхе... – Не раздумывая, словно ждал, ответил тот.

– Разве она здесь не жила?

Стариковские холодные зрачки ничего не выражали, точно остекленели, волосёнки на мясистых ушах, коротком носу дрогнули, он подобрался, устроился ровнее, жёстче, верхняя губа вжалась в нижнюю без промежутка.

– Точно так, – глухо ответил тот. – Распоряжение от владелицы как должностное лицо получил официально, так сказать, заочно, в виде заказной корреспонденции... Всё как полагается, с печатью. Извольте глянуть?

– Нет, что вы. А кто, простите, здесь?..

– Кто проживал? Кхе... А узнаешь, они вот, – он по воздуху повёл рукой от двери до балкона, – как на духу и выложат... Ладно, едрён-батон, ежели интересно, – прошамкал сосед и начал. – От хозяйки здесь –



сервантик фигуристый красного дерева с посудой и прочим, креслице, ну, фотографии само-собой, пара-тройка картин...

– Это она? – спросил Карагодин, указывая на большой портрет молодой женщины со старомодной причёской, с тяжёлым взглядом и властно сомкнутыми губами, висевший в центре стены и как бы отдельно от других.

– Угадали. Да и что-то схожее с вами есть...

Казалось, энергетические глаза родственницы впились в него, как будто в чём-то укоряли, винули и требовали покаяния. «Так и днём и ночью она будет следить за каждым моим шагом», – мелькнуло в голове. Но тут почудилось, что губы бабушки шевельнулись, приоткрылись, вроде как намерились что-то произнести. Карагодин с трудом отвёл очи.

– А первым квартирантом, – заговорил старик, – был Константиныч, обувщик, сапожник проще, бирюк натуральный, только меня и признавал; бывало, вечером брякнет по батарееке – я тут как тут. И в картишки-шахматышки перекидывались, и выпивали, и чаёвничали, и молодость вспоминали... Аккордеон, трофейный, немецкий – его.

– Умел играть?

– Ни бельмеса. Когда откроет, погладит перламутровые клавиши, звук покажет. Говорил, память о друге-однопольчанине. Кхе... Эх, время-времечко!.. – И щёлкнул пальцами, но не горько, с сожалением, а как-то игриво, нагло, точно в ресторане звал официанта, и кинул руку вправо. – Стол тот дубовый я придарил... А погоди-ка, давай сюда, интеллигенция! – Он затрусил к углу возле окна, увлекая за собой. – Гляди!

Волосатым дрожащим пальцем он тыкал в серое с чёрными, вроде как обгорелыми краями, углубление в паркете и, словно тайну, понизив голос, сообщил, что Константиныч любил работать в этом месте



и однажды то ли по пьянке, то ли по неосторожности учинил пожар – вот отметина, память. Он бросал хмурые взгляды то в пол, то на Карагодина, рот ощерился, брови взъерошились, волосёнки затряслись, щёки и шея налились краской.

– Полагаю, дух Константиныча ещё тут... – почти шёпотом продолжил он. – Чую... Мужика нет давно, а след, вишь, вот он, извольте, и устранить, извести обожжённое место, обновить, закрасить так и не получалось. Странно?.. – Он страшно блеснул белёсыми зенками, стал вплотную, едва не касаясь влажной лысиной шлифовщика, и тот отступил. Владелец же чёрного зуба закончил твёрдо, не повышая голоса, но так, что возразить нельзя было и помыслить.

– Ты, гражданин хороший, того... не трожь пятно, ясно? Кхе... И вообще, не вздумай ничего здесь менять. – Глазёнки сузились, брови напряглись и стали торчком, и зуб, будто клык, враждебно оголился. – Хозяйка наказывала, иначе рассердится. Один, кхе, ослушался, нелёгкая его возьми...

Не безобидный старикашка, ударившийся в воспоминания, увещевал чужеземца, а волевой, грозный мужлан с налившимися скулами, с вздыбившейся на руках и шее растительностью, готовый на всё, приказывал. Карагодин немо кивнул. Председатель вернулся на место тем же манером, что и десять минут назад, под металлическое пение дивана.

– Он что... этот товарищ... умер? – осторожно спросил огранщик.

– Константиныч? – сухо отозвался гость. – Прямых фактов нет, да и обратных тоже. Кхе. Ушел и не возвратился, язви его в душу. Вот она, жизнь, – копейка в базарный день. Тьфу! Говорил: забудь о паркете, ослушался, взялся скоблить, чистить, едрён-батон. А на следующий день сгинул без следа, а пятну хоть бы хны... После его сын Жорик-художник проживал. Горы, озеро, ви-



дишь те, дама в шляпе – его. Сел в тюрьму по глупости, и ни слуху, ни духу сколько лет. Следом был детский поэт, всё стучал на машинке, фамилию запомнил, а звали Лёнкой. Бюро к столу приделал для удобства; вместе сбивали, скурили, ставили книжные полки. Станный был, называл каждую собственным именем, как детей: Высокая полка, Узкая, Низенькая; говорил, что они живые: всё чувствуют, переживают, помогают. И любил их. Вишь, сколько книг.

– И что... что с ним?

– Да ничего. Писатели все немного того. Мотнул на историческую родину, обещал вернуться, но...

Старик вздохнул как-то потерянно, правая рука пошла было вверх, будто намеревался сложить крест, но вырисовалась лишь косая заключительная линия, что-то прошипел, сгорбился, руки обвисли, подбородок потерял твёрдость, спал на грудь. И погрузился то ли в забытьё, то ли в дрему. Тем временем стемнело. Карагодин легонько щёлкнул выключателем, чернозубый очнулся, поморщился, равнодушно пробубнил, что бельё ко сну отыщется в шифоньере, посуда и столовые приборы в серванте, туалетные принадлежности в ванной, и пожелал спокойного ночлега, но на выходе задержался.

– Ещё одна деталь, – начал он, не поднимая глаз. – Вдруг паче чаяния, моя Нина Степановна, ну, супруженница, упаси Бог её душу, с просьбой или надобностью какой привяжется, откажите вежливо. Она у меня женщина особая. Ну, в общем, дайте слово.

Карагодин уверил, что так и будет, с облегчением затворил дверь за ушедшим. А спустя четверть часа, посвежевший, бодрый, облачившись в любимое домашнее, заварив крепкого чая, вышел на балкон и, прилёбывая с наслаждением горячий напиток, стал озирать лежащий перед ним район: четырёх-пятиэтажные дома старого образца среди высоких пирамидальных тополей, мощных ореховых деревьев, развесистых клё-



нов и каштанов. Было тихо и спокойно, точно природа замерла в предвкушении чудной ночи. Последний луч солнца ускользнул на запад, и обрадовано вспыхнула первая робкая, словно девушка, раньше всех собранная к балу, звёздочка. Лёгкий дождичек окропил землю, будто кто-то из шланга полил цветничок под окнами. В родном городе тоже были дожди, но серые, длинные, пахнущие мокрым деревом, навевающие светлую волнующую грусть, зовущие из дома за город, на реку, в лес, на бесконечный простор, где пела душа, а тело не весило ничего; и он любил их. Прошумел, слабо, точно извиняясь, гуднув, поезд; протявкала нехотя собака; внизу застучали каблучки, двое вдруг стали, целуясь, и, рассмеявшись, вновь заспешили дальше. Воздух приятно охлаждал кожу, лёгкие мысли плавали в мозгу, предчувствие чего-то загадочного, необычного вошло в сердце. «Значит, всё образуется», – с теплом в душе подумал Карагодин, вспомнив, что Галя успела к поезду.

5

Жизнь человеческая устроена так, что перемены в ней порою являются в самые неожиданные минуты.

Карагодин не сразу заметил, что на балконе справа произошло движение: загорелось электричество, скрипнула дверь, кто-то вышел, а когда повернул голову, упёрся взглядом в черноволосую молодую женщину в дорогом халате с расшитыми золотом бортами воротника и обшлагами. Она неторопливо закурила. Из широкого атласного рукава невесомо струилась белая красивая рука с сигареткой между указательным и средним пальцами; при затяжке высвечивались прямой с едва отличимой горбинкой носик, большие глаза с длинными ресницами, смоляные волосы, выразительные, живые, какие бывают у актрис, губы. Красивую шею незнакомки охватывали крупные янтарные бусы, а запястья – широкие браслеты; на ухоженных



перстах матово играли колечки. Что-то в её образе увиделось загадочно-манящее. Так бывало, если снилась незнакомая женщина, какую видел в компании ли, в кафе или магазине, снилась нечётко, но в подсознании отпечаталась красота и призывность. И вдруг столкнулся с ней наяву. Мысли смешались. Карагодин кашлянул. Молодая особа вальяжно развернулась, магнула равнодушным взглядом. Огранщик несмело поздоровался, назвался. Дама мягко качнулась, тяжёлые полы разошлись, обнажив часть стройной ноги, неспешно выпустила светлое едучее облачко и спросила:

– Новый квартирант?..

– Вы... Почему так решили?.. – вымолвил Карагодин и опять кашлянул.

Чёрные брови её заметно потянулись вверх, между ними легла короткая игривая морщинка, свободной рукой она небрежно толкнула дым вбок.

– Тогда кто?.. Вижу, не местный.

Упорядочить мысли, чтобы ответить, вроде бы мешали руки – длинные, костистые, с маленькими не мужскими ладонями и тонкими пальцами – живыми, быстрыми, с короткими ногтями, с источенными до пергамента, чувствительными, как у опытного медвежатника, подушечками. Он двинул их в глубь карманов, после скрестил на груди, да это показалось неприличным, сцепил в замок. Наконец убрал за спину и стал тереть друг о дружку, согревая, точно перед работой с камнями, беспомощно соображая, за что зацепиться, с чего начать разговор. Вдруг схватил взглядом межбровную морщинку на лице дамы: она то углублялась, то темнела, то смягчалась, то делалась резче, то исчезала вовсе. И эта деталька будто выточенной из мрамора женской мордашки упорядочила и собрала рассыпанные горохом мысли.

– Я сегодня прибыл, – ответил он. – По делу... об этой квартире.



- Вот оно что. Кажется, догадываюсь. Вы – хозяин?
- Пока... пока нет. Намерен им стать.
- Смелый шаг, – помолчав, обронила она.
- Почему?..

- Да так. А я – Джемма... Снимаю апартаменты, хм, рядом. Временно. – Она затаилась, поглядывая на кончик сигаретки размером с карандашик, выдула пахучую струйку и заговорила спокойно, чуть назидательно. – Явится участковый Загребенко, а он непременно явится, прилипчивый, как пиявка, – остерегайтесь: та ещё дрянь! Вообще-то, всё здесь дрянь. Ничего, ничего, я выкарабкаюсь...

- Вы, похоже, расстроены чем-то? – спросил негромко Карагодин.

Женщина метнула в темноту окурочек, развернула плечи и часто задышала.

- А вам какое дело? – сквозь зубы бросила она. – Имеете хобби лезть в чужие души? Не утруждайтесь, это – мои проблемы. Улавливаете, мо-и про-бле-мы!..

Она рассмеялась натужно и мелко, откинув красивую головку, сотрясая длинную матовую шею, подбородок, губы. Да, ни в тоне, ни в позе, быть может, усталой, не имелось ни толики гнева, будто вспомнила что-то недоброе и тут же забыла. Из широкого кармана показалась зажигалка. Соседка нервно повертела её и спустила обратно, не прикурив. Глянула на Карагодина мягче, спокойнее и как будто с интересом.

- Не обижайтесь, устала я... – тихо проговорила она. – Знаете, есть осетинская пословица: если у тебя упадёт дерево, то верхушкой оно заденет дом соседа. Будем же мирно соседствовать. – И спросила чуть громче. – С председателем из сорок второй познакомились?

- Да, – глухо ответил Карагодин, не сводя глаз с точки, где красивая шея женщины сходилась с туловищем и маняще белели ключицы.

- Расстроен, что объявились?



– Да нет... Отнёсся приветливо, – едва вымолвил он.

– Не ожидала. Про жену, конечно, говорил, – тут она снизила голос до шёпота и придвинулась. – Помогите, её там давно нет. Утверждает, что больна, но я не верю! Сжил он свою благоверную со света умело и хладнокровно, как профессионал. Или в сумасшедший дом упёк.

– Зачем же? – вырвалось у Карагодина.

– Вы плохо знаете людей... Он бывший тюремщик. – И заговорила шёпотом. – Двадцать лет с зеками!.. Уничтожить человека ему, что муху прихлопнуть.

Она замолчала, быстро, нервно закурила, выпуская дым вверх, красиво уводя подбородок. Потом откинула волосы. Показалось, в глазах сверкнула слеза.

– Сегодня мой день рождения, что-то вроде юбилея, – чуть печально сказала она и усмехнулась. – Гости ушли, тихо... Актум эст, как говорили древние, – дело закончено, можно расходиться. А хотите отличного вина? Вы употребляете?

Карагодин кивнул.

– Тогда сейчас.

Она скрылась и через минуту вынесла два бокала с красным вином.

– Удобные здесь балкончики встык, как раз для таких случаев. Ну, выпьем же, мне хочется!

– За вас, поздравляю! – проговорил Карагодин и отпил из фужера.

– Спасибо.

Вино было очень приятное – не сладкое и не кислое, такое, как он любил.

– И как? – спросила Джемма.

– Отменная лоза. – Он выпил ещё, и вдруг в голове толкнулась мысль. – Подержите-ка, я – мигом. – И рванулся комнату.

В полсекунды отпёр саквояж, выхватил мраморную шкатулку с готовыми изделиями и, перебрав не-



сколько, выбрал перстенёк. Вернувшись, попросил руку женщины и ловко надел украшение на пальчик.

– Ах, чудо!.. Он как будто сам светится. Мерси большое... Что за камень и как вы угадали размер?

– Тайна. – Карагодин пожал плечами.

– Вы странный человек...

– Нет, я всего лишь огранщик таких камней.

Черноволосая соседка вертелась и так и этак, осматривая подарок, наконец, исчезла, будто растворилась. Карагодин прислушался: из-за стены не проникало ни малейшего звука. Он потоптался на месте, сам не зная чего ожидая, допил вино, потянулся, зевнул. Ночь была черна, редкими пятнами светились окна двенадцатиэтажки напротив, казалось, мир замер, движение умерло, сделалось невесело. Вспомнились дом, Галя, дочь. Пришло на ум, что забыл узнать, как умерла и где похоронена баба Нюра. «Значит, предстоит встреча с внуком, ведь родня же». Решил, не откладывая, завтра же навестить Виталия. Карагодин вяло ступил назад и первый раз внимательно обвёл взглядом чужую комнату с тусклыми в ромбик обоями, с разноликим набором немых обитателей, принадлежавших чужим, незнакомым людям. Справа от входа высилась баскетбольного роста Высокая полка-стеллаж с книгами, к ней примыкала меньшая Узкая, как младшая сестра, также набитая литературой. Спиной к углу стоял полнотелый, основательный, как борец-тяжеловес, вишнёвого цвета шифоньер, следом – широкий выцветший диван, над ним – красный ковёр с висящей наискосок гитарой и муляжом кривого турецкого ятагана, потом крепкий, мужиковатый стол с бюро, пишущей машинкой и плавно-округлым венским стулом. Последнее место в этом ряду занимал тучный книжный шкаф массового производства в тон шифоньеру. По правую руку соседствовали: карликовая, будто ущербная, Низенькая полочка с ху-



дожественными альбомами и виниловыми пластинками; красного дерева сервант старинной работы со стеклянным бюстом и баром, складное матерчатое кресло, видимо, дачное; ярко раскрашенный, весёлый, словно шаловливый ребёнок, журнальный столик и старый аккордеонный футляр без ручки. На стенах висело с дюжину различных по размеру и рамкам картин. Карагодин подумал, что каждый из предметов обстановки служил хозяевам, как мог, каждый, верно, составлял удовольствие, а то и гордость владельцев. И в том, что их расположили так, а не иначе, был, вероятно, какой-то непостижимый смысл. Но тут странная тревога охватила его. Карагодин огляделся, соображая, что беспокоило. Показалось, ощутил смещение масс воздуха, игру запахов, цветов, звуков. Он мотнул головой, будто стряхивая наваждение. Мебель, паркет, обои – всё было на месте. Двинулся было, но точно тысячи рычагов сдерживали тело, а воздух тягуче, словно жидкость, всасывался в лёгкие. «Может, причина в туго набитой фолиантами, тянущейся вверх, вроде лестницы, Высокой полке?» Он шагнул к ней и уловил показавшийся знакомым густой запах редких духов, как если бы находился возле модной богатой дамы. Принюхался: тонкий душистый поток источали, похоже, листы и обложки книг, щели между ними, углубления, сучки, трещинки, точно жилки и сосудики живого существа. И особенно секция на высоте его плеча с принадлежностями туалета женщины: зеркальце, кремы, баночки, тюбики, расчёски, флакончики. Карагодин тронул её, всё сооружение задрожало и стало падать. Он отскочил. Высокая полка как стояла, так и стояла. Снова протянул к ней руку, видение повторилось. Не отрывая глаз от деревянной конструкции, взобрался на стул, обследовал места соединений – они были в порядке, а боковые стойки крепились к стене железными надёжными скобами.



Однако беспокойство не оставляло его. Карагодин пристально осмотрел шифоньер. Свет люстры радужно переливался на гладкой его коже. «Здесь что-то не так?..» – опять задался он вопросом, исследуя вишнёвого богатыря. Медленно, словно боясь, что оттуда выскочит какой-то зверь, со скрипом развёл створки – серо-жёлтое нутро было жутко пусто. Пахнуло спёртым воздухом. Карагодин быстро затворил дверцы. Вдруг на левой, вровень с изголовьем дивана заметил какое-то тусклое образование, вроде дефекта покрытия. Он изменил угол зрения, затем присел – непонятное пятно не исчезло. Размеры его без системы менялись, и пахло оно так, как пахнут процедурные в больницах и амбулаториях. Повторил манёвр, надеясь, что ошибся, что это всего лишь обман зрения, нюха. Напрасно. Решился стереть платком. Но едва отнял руку, закончив, мутность явилась вновь. Он подействовал с нажимом, как счищал грязь или краску с одежды, веря, что теперь-то уж справится и – ничуть не бывало. Тогда, сбегав в ванную, намылил край маленького полотенца и старательно обработал весь низ дверцы. И опять впустую: оно, это треклятое нечто, как живое, пульсировало почти что в такт его учащённому дыханию. Осенила догадка, что объяснение сему в законах отражения света, в колебаниях воздуха, в общем, что-то схожее с миражом. Но в тот же миг холодный пот окропил лоб – вдруг возвращается болезнь. Он нервно огляделся, всё реально – комната, мебель, этот надменный шифоньер и злополучное пятно. Не было, как раньше, мрака в глазах, дрожи в теле, спазмов в горле и пол не плыл под ним. Карагодин бодро вздохнул, дёрнул острыми плечами, усмехнулся, промурлыкал себе под нос давно приевшийся шлягер. Живо разделся и с удовольствием, чувствуя прохладу чистого белья, забрался под одеяло.

Но только упругая постель, кряхтя, приняла его, тело почему-то очутилось во впадине, как в яме. Кара-



годин бочком сдвинулся к краю, но прогиб неохотно тянул к себе. «Что ещё за фокус?» – с раздражением подумал он. – Не кататься же так всю ночь...» Он искал равновесия. Но при каждом полудвижении, полусдвиге что-то под ним ухало, кряхтело, гнулось и со стоном распрямлялось. Карагодин сполз с ложа, обшарил его и отыскал злополучное место – провал, вмятину, хранившее когда-то чужое тело, принявшее черты иной человеческой оболочки и пахнущее устойчиво и горько – курувом и потом. И понял, что чужой след впечатался, въелся в диванную плоть навечно, пока будет жить это деревянно-железное существо, и ничего с этим не поделает. С силой, словно перед ним и был виновник – хозяин отвратительного духа, сложил диван, убито привалился к спинке, готовый впасть в сон. Но тут послышались настойчивые удары в дверь: кто-то сильно, будто молотом, долбил в одну точку. Карагодин вскочил с дивана. С той стороны пьяно и грубо требовали открыть для разговора. Мелкий противный озноб стал быстро забирать его. Не осмеливаясь глянуть в светящийся глазковый кружок, он сорвано крикнул:

– В чём, собственно, дело?..

– А в том!.. – прохрипели снаружи низко и перестали барабанить. Глазок потемнел. – А в том!.. Не вздумай продавать квартиру Измайлычу, его у нас не любят!

Нельзя было понять, почему кто-то среди ночи с угрозами, нагло, словно грабитель-убийца, пытается вломиться, почему неизвестный тип извещён о его приезде и заявился, чтобы указать ему, как поступать.

– С чего?.. С чего вы решили, что я... продаю?.. – наконец вырвалось у него.

По ту сторону тяжело зашаркали ножищами, пьяно забормотали. Карагодин метнулся к саквою, нащупал шкатулку, высыпал содержимое на кровать, выдернул второе дно и ухватил самодельный нож-фин-



ку – память о дяде Мите. В два шага вернулся, подпёр дверь, словно ждал нападения, штурма. Страх не было. Глазок просветлел, притух и опять просветлел. Там, видимо, ходили туда-сюда, наконец стали.

– А разве нет? – мужчина сплюнул и выругался. – Как же? Мне передали. Ну гляди, чужак, если врѣшь!.. Предупреждаю: Измайлыч – дерьмо! Это я говорю, Сазон!

Послышались грузные удаляющиеся шаги, хлопнула внизу дверь, звуки растворились. Была половина двенадцатого ночи. Карагодин, ссутулившись, вернулся в кровать. Кольнула острая, та самая, особая, почти забытая боль. Он зажмурился, прервал дыхание. Через минуту отпустило. «Надо забыть, не думать, не поминать болезнь, отбросить, как наваждение, и уснуть...», – приказал он себе. И здесь его отвлекло ясное человеческое дыхание, шедшее будто бы от шифоньера. В нос ударил запах лекарства и чего-то приторно-сладкого, неприятного, тошного. Судорожно сглотнул. Вдохи и выдохи были со стоном: то частые и глубокие, то редкие и тихие, точно у тяжелобольного. Карагодин вмиг скинул одеяло, щёлкнул выключателем. Дверца с пятном оказалась приоткрыта, хотя наверняка помнил, что плотно затворил её. Тотчас созрел план действия. «Прочь, долой, убрать, освободиться от этой дьявольской створки, иначе нельзя...» Пробежал к кухонному столу, выдернул до упора ящичек с приборами, выхватил нож, забыв, что набор инструментов привѣз с собой. Действуя им, как отвѣрткой, скрутил один за другим винты петель, отделил дверцу шифоньера, уронил, подхватил опять. Цепляясь плечами, локтями, коленями о стенки, дверные косяки, ручки, потащил ненавистную доску наружу, в прихожую, затем на кухню и задвинул в щель за холодильник. «Всѣ, – промелькнуло в мозгу, когда возвращался, отдышавшись, – теперь не повторится». Рассуждать далее, даже просто думать сил не было.



6

Когда мысль, что ничего в жизни не изменить, привычна и не так горька, наступает холодное безразличие ко всему и бытие теряет смысл.

Филипп Павлович неохотно разнял тяжёлые веки. Жена в ночной бумазейной рубаше, непричёсанная, с маленькими, вперившимися в него очами, с одутловатым лицом нависла над постелью. Он знал, что заготовленные на ночь бутерброды съедены без остатка, что супруга задолго до шестичасового эфирного сигнала томилась в своей комнате и лишь сейчас осмелилась напомнить о себе, что хочешь не хочешь, а расставаться с тёплым ложем придётся. Неторопливо, нащупав под головами ключ от кухонной двери, старик однозубо зевнул и поднялся.

– Встаю же... Ну, – пробормотал он, лениво шаря под собой голыми ступнями, покуда не вдел их в тапочки; опять зевнул широко и, шаркая, двинулся в ванную.

Нина Степановна, будто пристёгнутая, топала за ним и покорно замерла у двери. Умываясь, бреясь по армейской привычке чисто, причёсываясь, Павлович намеренно тянул время. Забыв обо всём, подобно заведённой кукле, делал то, что всегда. Глупо было и не к чему, но злость толкала насладиться минутами власти над безропотным полудумающим существом – мстительно, расчётливо, не по-человечески. Причина имелась: в далёком послевоенном году, выходя замуж за него, молоденького лейтенанта-пограничника, санитарка Нина скрыла прижитого от госпитального ухажёра ребёнка. Это не забылось, как не забылся и свой грешок: уход от неё к соседке Нюре, после чего жена угодила в психбольницу. Два факта, словно бесконечная лента Мёбиуса, обвивали их жизнь, соединяя и разделяя одновременно.

Через верхнее окошко в ванную лился свет восходящего солнца, а с ним и тепло, легшее на душу,



точно впереди ещё долгая, интересная жизнь, тайны и загадки, сердечный трепет, счастье, любовь. Заходила волнительно грудь. Чётко увиделась картина: он – пухленький малец, попович, бегаёт по церковному двору с пирожком в руке, гоняет птиц и думает, как бы проникнуть на колокольню, а староста, кривоногий Семёныч, шутливо грозит ему пальцем. Бодрый ток пронзил тело. «Слава Богу, весна знатная», – подумал с чувством. Услышав, как заскреблась в дверь жена, скуля и хныча по-детски, чертыхнулся, да боясь, как бы не случилось обморока, отщёлкнул задвижку. И свежий, пахнущий, бодрый, точно тот молоденький офицерик, каким был полсотни лет назад, упруго шагнул в кухню, разогрел оладьи, заварил чай. С улицы несло запахом сирени и жасмина. Жизнь была прекрасна. В такие минуты не хотелось думать ни о чём. Заботы, болезни, дела, хлопоты стекали с него мутным потоком, делая тело лёгким, молодым, чувственным. Нина Степановна на своём месте, возле радио, ела жадно. Порывисто, звучно, по-обезьяньи, захватывая румяные пышечки верхней губой, глотала их, почти не жуя. Подбородок с волосами, щёки с синеватыми прожилками, брови, большие уши и усы при этом лоснились.

– Да не жри ты, не жри!.. – закричал Филипп Павлович, хлопнув ладонью по столу. – Дура, прости Господи!.. Отнимают, что ли, едрён-батон? Ешь по-человечески...

Нина Степановна вздрогнула, промычала что-то, не поднимая взора, но сбавила темп. Тотчас набухли веки, округлилась слеза, сбежала по розовой щеке в тарелку. Руки судорожно вцепились в край стола, будто ожидая, что какая-то неведомая сила безжалостно кинет на пол. Наконец, закончив, безразлично и тупо уставилась перед собой. Муж понял, что сорвался. Досядая, стал у окна. День набирал силу: просигнали-



ло авто у подъезда, перекрикнулись гортанно дворники-азиаты, радио давало известия: землетрясение, террористы, выборы, катастрофы – хоть в петлю лезь. Воображал, что далеко отсюда есть другой, лучший мир. В нём счастье и лёгкая грусть, точно маятник волшебных часов, сменяют одна другую, чувства порхают, точно бабочки у света. И нет болезней, зависти, жадности, зла, а жизнь – яркая, красивая и всюду талантливые, умные, добрые люди. Он манил старика до дрожи, до помутнения рассудка, как в молодости неведомый остров Таити – земной рай... Тоска залила сердце. Каким он, Филипп, сын попа, всегда скрывавший происхождение, очерстевший среди зеков, ненавидящий людей, работу, жену, дом, пасынка с невесткой и их отпрысками, стал? Ответа не было, а был густой, липкий мрак. Он презиралсебя, эту квартиру с паутиной по углам, старыми обоями, тяжёлым запахом лекарств, невымытого тела, город, должность, деньги, что копил, не зная зачем. И часто срывал злость на жене.

Внизу по тротуару Эмилия Борисовна из соседнего подъезда выгуливала собачку. Женщина была миловидна, опрятна, добра и отзывчива, носила белые перчатки. Здороваясь, улыбалась едва, клонила голову как-то по-особому и походила на княгиню со старинного полотна – столько в ней было стати, достоинства, породы. Когда два года назад хоронили её мужа – скрипача филармонии, толстого, неуклюжего, с презрительно сложенными губами, будто обиженного на всех и вся, Филипп думал о том, как чудно было бы поселиться с ней где-нибудь в тихом домике на тихой улице, не зная забот, кроме безгласной псины. Захотелось водки. Председатель бросил взгляд на жену. Гадко сделалось на душе, словно ударил её – беззащитную и немую – ни за что, и бил жестоко, мстительно: по лоснящимся щекам, по губам и жабьему рту, по усам, по неухоженной голове, по рыхлым плечам. Его передёрнуло. «Вот



судьба – когда-то молодая и красивая женщина, а сейчас – труп, муляж, манекен без единой кровинки на щекастом лице, без мысли во взоре, без чувств, без жизни, – горько подумал он. – И это будет завтра, послезавтра, всегда». Хотелось закричать так, чтобы содрогнулся дом и ухнул в тартарары. Он зажмурился. «Виноват, виноват, сам виноват! – долбила мысль сознание. – Чего же ты хотел, Палыч? – спросил он себя невесело и сильно, до боли потёр лицо. – Счастья, денег, власти, славы, долголетия. А итог?..» Филипп проводил тусклым взглядом Эмилию Борисовну. Волна злости как накатила, так и оставила старика. Образок в углу смотрел на него по-доброму, тянуло перекреститься, но рука не слушалась. Подумал, что нужно сходить в храм, поставить свечу за упокой душ родителей – батюшки и матушки, чьи могилки рядом за церковью, ибо давно уж там не был. Шли думы о том, что скоро смерть, что душа вознесётся на небо, будет маяться за грехи вольные и невольные, затем явится перед Богом, и нужно держать ответ за всё. Филипп Павлович вдруг приобрёл жену, вдохнул её запах, когда-то родной, желанный. Курсантские годы, ухаживание за красавицей Ниной, мечты, женитьба, заставы, тюремная служба, помешательство жены встали перед очами, облив радостью и болью. Он приложился губами к потному виску, помог выбраться из-за стола, суетясь, мельча шагом, бочком вывел в комнату.

– Ну вот и славненько, Нина Степановна, – прошамкал он. – Вот и заправились. Теперь гуляй, казак! Сейчас таблеточки примем, и ящичек включим, едрён-ба-тон. Да не забудем одеться, ведь Катя-невестка скоро явится.

Сказать бы какую нежность, какое мягкое, тёплое словцо, назвать, как в молодости, – «Нинок», да язык споткнулся, как назло, о дурацкий зуб. А сознание, что большой мозг всё одно не примет, чудные когда-то гла-



за будут мертвы, ни одна жилка лица не встрепенётся, ни один мускульчик тела не отзовется, охладил желание. И порыв умер. Он усадил Нину Степановну перед телевизором и вернулся. Солнце било в пыльное окно тускло, но свет есть свет. Филипп Павлович толкнул форточку на всю и, как был в майке, в галифе, обратился навстречу жёлтым лучам, похлопывая ладонью по выпуклой серой груди, вдыхая прохладный нектар, слушая утренних птиц. Всегда с волнением ожидал весну. Думал о ней ещё зимой, чаще под утро, глядя в тёмное окно и ловя миг рассвета. И надеялся, что вот-вот случится что-то главное, которое, возможно, изменит жизнь. Председатель выпил рюмку водки и сытно позавтракал.

7

В эту зиму декабрь испугал только – по холмам и нагорьям морозцем прошёлся, лёгкой пороши в затишки намёл, словно зерно горстями рассыпал, землю то здесь, то там охолодил – и был таков. Январь и вообще расхлюпился, что дитя малое от обиды: к Рождеству снежку натряс по окна и тут же, будто извиняясь, обмяк, зазвенел, забренькал, точно на балалайке, капелю. На Крещение, похоже, опомнился, разошёлся, завыл, заметался, поддал стужи по-заправдашнему, вроде как вспомнил своё дело. И убрался восвояси, насытившись. Следующий месяц напакостил – слякоть развёл невероятную, солнце выронил, будто бы пьяный мужик румяный каравай из авоськи, выпустил из карманов ветры-теплодувы. Те разыгрались, будто парубки на игрище, не унять, да так, что впору весне стучаться – птицы развеселились, защебетали на удивление. А почки-то, почки на веточках совсем, глупые, ошалели: поднадулись, того и гляди, треснут от радости, что теплом запахло. Однако ж лютому месяцу за меньших братцев пришлось отрабатывать: накуролесил, нате-



шился напоследок всласть, метели закружил, словно из преисподней чёрт выпрыгнул, реки одел в ледяные платья, снегу намёл, деревья так заморозил, аж трещат, стонут-жалуются. Глядь – пора и честь знать. Ибо молодой румяный март уже вот он, близко, посвистывает да подмаргивает, ремешком плетёным играет, сбив набекрень шапку соболью, плёточкой красные сапожки постукивает в нетерпении, точь-в-точь хлопец под девичьими ставенками. И прошествовал под бубенцы да под свирели, а с ним и тучи птиц да пташек-букашек. Солнце намертво пригвоздил к небу, темницы ледяные отворил, южным ветрам дал свободу – они последний снежок и слизали, пролески и подснежники на полянах да в лесах разбросал. Горы и те вздохнули облегчённо, расправили каменные плечи, белые бурки скинули – одни папахи и остались. Весна пришла уж насовсем...

Председатель хватил напоследок ещё кружку чая и неспешно закурил. Припомнилась вчерашняя думка, связанная с новым жильцом и Анной Лаврентьевной. Отпёр сейф, отыскал папку квартиры 43. «Сильно мажет», – подумал он, восстанавливая образ приезжего. Связь с Анной, с Нюрой, как любовно звал её, оказалась недолгой: спустя полгода, не объясняя, она выставила его за порог. Обиду не таил, слишком разные были. Председатель мягко огладил дрожащей рукой новенькие пачки денег в банковской упаковке, сберегательные книжки разных оттенков, тепло обволокло душу, смягчив напряжение. И, как всегда в такие минуты, какие-то фантастически-невообразимые мысли кратко прыгнули и, рисуя чудные картины, весело побежали в мозгу. Но их бег прервал звонок в дверь. Филипп Павлович поморщился, догадался, что участковый. «Принесла нелёгкая», – мелькнуло в голове. На нижней полке лежали дела одиноких жильцов. Он, не раздумывая, вернул их в общую стопку, сверху – пи-столет без кобуры, и двинулся открывать.



– Объявился фраерок? – не поздоровавшись, бросил тучный мужлан в форме и просверлил старика хмурым взглядом.

Однозубый кивнул, засуетился вокруг большой фигуры, не приглашая в комнаты. Загребенко не спеша снял картуз, протёр внутри платком, так же неторопливо промокнул низкий лоб, густые брови, толстые губы, насадил убор на коротко стриженую макушку и подбоченился.

– Ну шо, старая развалина, вижу мысли поправить свою оплошность у тебя нема, – низким голосом проговорил он, мешая русские слова с украинскими.

– Как можно, живой человек... Обратно, документы все.

– И раньше так було, но ведь соображал, кумекал! – Он вставил матерное слово. – А теперь шо, памороки отшибло или тяму нема? Вот они, людишки, вот он, народец. Мэр-то наш, Сенька, видал, харю воротит, забыл прошлое, забыл сизо, забыл, как деньги в камеру передавал, как на прогулке лишние минутки добавлял. Эх-х!.. – Он с силой кулаком правой руки шлёпнул пухлую ладонь левой и грозно продолжил. – Запомни, вертухай хренов, мы одной верёвочкой повязаны. Расшибись, но шоб квартира мне была, клиент наклюнулся. Всё, шабаш, ходь к нему. Да... – он помедлил, сощурил глазки, уставив угрожающе-пытливый взгляд на председателя, и прижал того к стене. – Куда ж бабка затырила усё богатство, а, пень чернозубый? – Но тот молчал. – Ни следа, ни намёка, ни зацепки, блин, ведь каждый уголок на карачках облазил, да носом поживу чую. Ну, старая карга, шоб ей покоя и на том свете не было! А если что скрыл, убью... – Он отступил, перевёл дух. – Только власть, деньги, женщины имеют в этой жизни цену, остальное – фуфло! – Бросил он под конец и с силой дёрнул на себя дверь.

Загребенко был почти уверен, что председатель обманывает, ибо когда-то по пьяни тот сболтнул, что ста-



рухина дочь возила матери с алмазных приисков камушки, даже как будто зрел их. Но есть ли они теперь и где?.. Участковый был в гневе. Вся его тучная натура готова была смять этого ненавистного мужичишку, придавить, как червя, растоптать. Деньги, деньги, деньги. Ему позарез нужны эти чудные, волнующие кровь бумажки, они были для него всем: матерью и отцом, женой, семьёй, службой, друзьями... Он вспотел, на лестничной площадке ещё раз так глянул на старика, что тот даже присел, но устоял, лишь отвёл взгляд. А мысль Загребенко склонялась к одному – ликвидировать свой долг, а там – ищи ветра в поле, потому и торопил с квартирой.

Карагодин отворил быстро. Участковый козырнул, хмуро представился, спросил документы. Рассмотрев их, опять козырнул молча, оттолкнул крутым плечом председателя и застучал ножищами вниз по лестнице. Нужен был план, нужно было крепко подумать, как быть дальше, но полагаться абы на кого было нельзя, и понял, лишь один человек подскажет – приятельница, юрист жилконторы, всегда выручавшая его. Выйдя на улицу, глотнув поглубже весеннего прохладного ветерку, ещё в напряжении, нахмурившись, переваливаясь с ноги на ногу, ушёл за угол дома и достал сотовый телефон.

– Спали нормально? – спросил глухо Филипп Павлович, затворяя за ушедшим полицейским дверь нетвёрдой рукой.

– Да... В общем, да, – ответил Карагодин. – Только вот... – И отступил, открывая взгляду шифоньер.

– Что с дверцей?

– Несмываемое пятно с чьим-то странным дыханием и запахом больницы.

– А-а... Своя, знаете ли, милейший, история. Здесь Анатолий, родственник, долго болел, тяжело умирал, стонал не приведи Господь как, лежал аккуратно лицом к этой створке.



– А диван?

– Ну да, прогиб от него. Грузный был, диван принял его, уменьшил страдания... И хоронили трудно. Анатолий ростом был за два метра, гроб по спецзаказу делали, на площадке не развернуться, тело несли на простынях. С нашими квартирами-клетушками умрёшь – по-человечески не вынести, едрён-батон. Прости Господи, царствие ему небесное!..

Огранщик нахмурился. Лишатся одновременно и дивана, и шифоньера был не готов по причине нехватки средств. Значит, нужно смириться, привыкнуть. Авось всё устроится. С этой думой он глянул на соседа. Тот несколько сник, сидел нетвёрдо, хмурился, как будто какая-то забота ела его, и дышал тяжело. Чуть погодя спросил, кто такие Измайлыч, Сазон.

– Так себе, людишки местные. Не думайте.

– Ещё вопрос, Филипп Павлович. Где похоронена баба Нюра?

– Видимо, там, где и умерла, в стардоме.

– Как в стардоме?.. Разве...

– Очень просто, – не моргнув, перебил сосед. – А впрочем, всё скажет внук Виталий. Адресок у вас имеется?..

Карагодин кивнул невесело.

– Тогда порядок. Обвыкайтесь. Думаю, жизнь наладится.

Чернозубый тяжело поднялся, неторопливо, сутулясь, протопал к себе. Сегодняшний разговор с Загребенко не сулил ничего хорошего, давление усиливалось, ожидать можно всего. Ох, как он его знал! А конец – дырка в башке. Председатель заперся в кухне, достал водку.

А огранщик вернулся в комнату и стал посреди, оглядывая её более пристально. Рассмотрел библиотеку: книги были разные – новые с блестящим коренком и старые, тусклые. Читать он любил, глотал за-



поем беллетристику, фантастику, историческую, детективную как одержимый, порой до одури, пока мозг уже отказывался воспринимать текст. Читал перед едой, перед сном, утром, пробудившись, читал работая, мыча какую-нибудь мелодию. Казалось, сюжетные линии передаются через руки образцу, и потому, как и книги, его камеи были не похожи одна на другую. То в них виделась грусть расставания, то счастье любви, то радость утреннего дня, то красота женщины, то тишина и прелесть ночи. Привычка к чтению родилась после автоаварии почти тридцатилетней давности: он заикался, подводила память. И старичок-профессор порекомендовал читать вслух и петь. Со временем речь и память восстановились, только случались приступы головных болей.

Он перевёл взгляд на фотографии в простеньких рамках, висевшие чуть поодаль от портрета бабы Нюры. Одна была свадебная. Карагодин вынул карточку из-под стекла: коричневый снимок на плотном картоне был в хорошем состоянии. Молодая широколицая девушка в фате и с цветком держала под руку стройного красивого мужчину в военной форме. На обратной стороне фото было написано витиеватым красивым почерком: «С.-Петербургская художественная фотография Виктора Дюнанта. Негативы для повторных заказов сохраняются».

Карагодин повесил снимок на стену, сел за стол. Место оказалось удобным, стул впору, но шатался, а ножки деревянного устройства крепки и надёжны. Это обрадовало. Он накинул жилетку, шустро извлёк станочек, инструменты, лупу, приладил тисочки, лампу, с трепетом открыл шкатулку с новой работой. Три года назад он увлёкся камеями – ювелирными украшениями в технике барельефа, изучил историю, закупил литературы, в Эрмитаже часами простаивал перед коллекцией камей, основанной ещё Екатериной Великой. Дело наладилось, пошли заказы. Он совершен-



ство- вался, стал мастером-гравёром и теперь делал штучные работы, в основном, дорогие, с золотым обрамлением. И клиенты потянулись даже из-за границы. Карагодин погладил мягкий и тёплый сердолик, улыбнулся, как старому другу, промычал весёленькую мелодию по привычке. Но того настроения, волнения и желания, какие всегда толкали на чудодействие, не ощутил. И убрал неоконченную камеею обратно с мыслью провести с ней ещё не один счастливый час.

Подумалось о Гале и о себе. Отчего не живётся в любви и согласии; гордыня ли, самолюбие, точно беговский рычаг, толкали к ссорам, к непониманию и охлаждению. Незаметно пропала близость. Если в постели, как призывный сигнал желания, клал ладонь на её горячий живот, жена не льнула к нему, как всегда, не гладила жгучими ладошками лицо, шею, грудь, а вздыхала и отворачивалась, то и он тотчас, назло, шумно делал так же. Долго не мог сомкнуть глаз, всё глядел на противный, никогда не выключаемый фонарь за окном, резко вставал, задёргивал штору и, топоча, возвращался. И знал, что Галя тоже не спит. Выдавало дыхание – не слабое и нежное, как в неге, после минут любви, а неровное и холодное, будто изготовилась и вот-вот резко обернётся, скажет колкость, злое слово, обожжёт тяжёлым взглядом. Натягивалось от плеча до плеча одеяло, и между ними образовывалась холодящая спину пустота, лезшая внутрь, в сердце, в душу. Когда же в другой раз Галя тянула руку к нему, Карагодин с мстительной радостью показывал спину, чувствуя её взгляд. Тёплая ладонка опустошенно сползала змейкой, куда-то всовывалась, вся она съёживалась, сворачивалась в клубок, пряталась, точно улитка в домик. И снова бессонная ночь брала их в цепкие клещи. Они перестали желать друг другу спокойного сна и доброго утра с неизменным поцелуем, не делились рабочими новостями за ужином,



а будто куда-то спешили, с озабоченным видом глотали пищу и разбегались по комнатам. После переезда дочери к мужу, Карагодин в одну ночь встал задернуть шторы, да так и не вернулся, ушёл спать в кабинет. «Поговорим», – утром, придя к нему, сказала Галя. «Зачем?» – буркнул он в ответ и скрылся в ванной...

Родилась думка написать письмо и жене, и дочери, но позже. Почему-то вспомнился эпизод: давным-давно в Анапе они втроём плавали у буйков на лёгкой лодочке. Вдруг поднялся ветер, плавсредство стало уносить в море, дочь испугалась, вцепилась в руку Гали. А та, едва сдерживая слёзы, молча и жутко смотрела на него, словно прощалась. Тогда по-настоящему ударила в голову мысль, что смерть близка и ещё горше: спасти дочь, жену или всем идти на дно? Но обошлось: рва жилы, всё же выгреб к берегу.

Карагодин встал и неторопливо заходил по комнате.

8

Жизненная дорога редко бывает гладкой и прямой: всё больше изгибы и повороты, ухабы и колдобины, подъёмы да спуски.

Входного звонка не оказалось. Карагодин постучал. Внутри что-то резко и недовольно прокричали. В нерешительности постоял с минуту, толкнул дверь, та поддалась и открылась прихожая. Слева, очевидно, на кухне, слышалось какое-то движение, звяканье приборов, глухие, точно за стеной, голоса. Карагодин прошёл осторожно на звук, увидел сидевших за столом голого по пояс краснолицего широкоскулого мужчину со светлыми гладкими волосами и неопрятного вида в вязаной кофте с протёртыми локтями женщину. Мужчине было лет тридцать пять-сорок, мускулатура на груди и руках была неразвита, молочно-белая кожа гладкая, точно у ребёнка, покрыта мелкими родинками. Женщина сидела спиной к окну. Цвет лица её был тёмно-кир-



пичным, а выражение – серым, застывшим, какое наблюдается у людей, потерявших интерес ко всему. Они ели из чёрной сковороды, стоящей прямо на пластике, яичницу. Всё вокруг было в совершенном беспорядке и коричневого налёта, как будто кастрюли, тарелки, чашки, стоящие на полу, подоконнике, на столе, тщательно и долго коптили. Карагодин поздоровался.

– Я ж сказал: открыто, – недружелюбно бросил мужчина, не переставая вяло жевать. – Кто таков? Если из домоуправления, то на жалобщиков этих плевать хотел. Мой дом – моя крепость: что хочу, то и делаю!

– Нет-нет, – быстро проговорил огранщик. – Я – Карагодин...

– А-а, вот как, – протянул недоверчиво мужчина.

Он развернулся всем телом, двинув табуреткой, напрягся, серые глаза приняли пытливо-холодное выражение, рука сжала вилку так, что побелели костяшки пальцев и пухлое лицо, шею тотчас залила краска.

– Глянь на этого фрукта! – резко произнёс он, мотнув головой в сторону Карагодина, но женщина равнодушно продолжала есть, лишь слегка мазнув прищельца равнодушным взглядом. – Ему наследство, моё по закону, ни за что, ни про что! Кто таков, откуда взялся, как чёрт из табакерки, где был, родственничек? Тебя знать не знали, слухом не слыхивали. Самозванец!.. Вот тебе, а не квартира, ха-ха, заморишься получить!

Виталий сделал неприличный жест рукой, бросил вилку на стол, приложился к бутылке, жадно допил пиво, шумно отделяя каждый глоток, и покосился на худосочного родственника. Мысли смешались, но на первый план выходили то телеграмма из стардома о смерти бабы Нюры, то письма от родителей с Севера, то квитанции об уплате за квартиру, то завещание в пользу этого неизвестно откуда взявшегося типа. Требовалось усилие, чтобы сосредоточиться и выскрести из этой каши и тумана что-либо цельное. Но вдруг



запал иссяк, тело обмякло, злость истаяла и, словно без его воли, выплыла простая и расхожая дума.

– Деньги есть? – глухо спросил он, не глядя на гостя.

Тот достал сине-зелёную бумажку и положил на стол.

– Сгоняй, – бросил Виталий непререкаемым тоном, как будто ни к кому не обращаясь.

Женщина тотчас, схватив деньги, безмолвно исчезла. Он рукой указал на её стул, Карагодин молча сел. Минуты томительно длились. Виталий поморщился, уставился в серую куртку пришельца, сделалось жарко, на висках выступил пот, он облизал губы. Вот-вот должна была проявиться какая-то мысль, сказаться какие-то слова, да словно поршень в голове толкал их обратно, не давая хода, а язык присох к гортани. В глаза нарочно лезли большие серые пуговицы, молнии, карманы, рукава и кисти рук с тонкими длинными пальцами, и перстень с матовым выпуклым, точно капелька холодной смолы, камешком. Мысль всегда давалась ему трудно. В школе не лезли в голову ни логарифмы, ни законы Ньютона, ни химические формулы. Одна история завораживала. Он млел от морских походов, батальных сражений, биографий великих полководцев, тайн и загадок мира, иной раз представляя себя то пиратом, то открывателем земель, то астронавтом, то сыщиком, то военным стратегом. По сей день коробка с солдатиками, танкетками, самолётками, ракетами, точно войсковое соединение, готовое в любой момент к боевым действиям, живёт на антресолях. Мать обычно, заставляя его не за уроками, а на полу, разыгрывающим воображаемые битвы, молча гладила по головке. Отец лишь хмыкал и бурчал: «Баловство это, Лида. Вправь хлопцу мозги. Пусть идёт по нашей дорожке». И Виталий поступил в нелюбимый горный техникум.

– Где могила бабы Ньюры? – спросил Карагодин с волнением в голосе. – Ты хоронил, всё честь по чести?



– Нет, нет, нет!.. Не рви мне душу, чужак. Она сама ушла туда, секёшь, сама! – с раздражением бросил он, исказив рот, и закачался на табуретке. – Я, блин, оставлял, уговаривал, мать уж больно просила досмотреть бабушку... Зимой была телеграмма из стардома, что померла. А у меня, чёрт возьми, за душой ни копыя! – Он бросил от груди руки, будто выворачивая нутро. – С работы уволился, с женой разошёлся, алименты платить нечем, квартплату задолжал, суды один за другим, все на меня ополчились, как сговорились, гады. Свидание с сыном – три часа в неделю в присутствии матери, каково? – Он стукнул кулаком по столу. – Изверги, низкие люди, повсюду фальшь, равнодушные, обман. А для русского человека тогда спасение: работа либо водка. И я запил... Где же эта падла шляется?

Виталий закурил дрожащими руками, горло напрыглось, глаза потемнели, налились, в них промелькнула какая-то серьёзная мысль, словно не у отходящего от вчерашнего запоя пьянчуги, а у озабоченного глубокой задачей мужа, и тотчас растворилась. Он нервно дёрнул плечом. Казалось, ещё одно словцо чужака, неосторожное движение, жест – и он вцепится, как пёс, в Карагодина. Так бывало. Злость от неустроенности, несчастий, свалившихся, как назло, в одно время, непонимание отца с матерью, окружающих и этой случайной приживалки, словно тихопомешанной, живущей, как тень, бесцветно, мёртво, мутила рассудок, обезволивала. Он бросил косой взгляд на пришельца, тот молчал. Виталий смял окуроч, схватил пачку, вытряс новую сигарету и закурил нервно. Но тепло и доброта, наперекор его раздражению, шли от новоявленного родственника. Этого оказалось достаточно, чтобы душа обмякла. Он сел ровнее.

– Поначалу всё шло хорошо, жила здесь. Я – в своей комнате, она – в своей, – продолжил Виталий. – Питались вместе, когда я приготовлю, когда она. Но по-



сле одного письма будто подменили старушку: не то бредила, не то умом тронулась – мечь, мечь, мечь, только и слышал от неё. Ночами не спала: туда-сюда по комнате ходит и ходит, аки привидение. – Он глубоко затянулся, оглядел стол, откинулся назад, нахмурился, прикрыл глаза, будто что-то хотел трудно извлечь из памяти. – Я читал письмо: мол, след той гадины, что предала Катю, ведёт в наш город и чтобы баба Нюра нашла её во что бы то ни стало...

Тепло проскользнуло в голосе, он затушил сигарету и далее спокойно рассказал, что Катю – младшую сестру бабы Нюры, подпольщицу, немцы по доносу расстреляли. А бабушка много лет искала ту женщину, что выдала оккупантам сестру.

– Странная была: эту Катю любила больше дочери, моей матери. Жила без мужа, взяла ещё на воспитание девочку из детдома, вырастила, выучила, помогла с жильём, но та уехала, и ни привета, ни ответа; деньги дарила – то школе, то детсаду, то церкви. В свою же квартиру, словно чего боялась, на порог не пускала, сдавала чужим людям. И постоянно кому-то помогала, кого-то устраивала, чего-то добивалась, куда-то писала. Коммунистка до мозга костей! Чиновников и начальство ненавидела, и всё ей было не так: несправедливо, не по совести. Однажды будто бы самому Сталину жаловалась. Характер – ещё тот! Мама говорила, что она с семнадцати лет в органах, долго служила в женских лагерях надзирательницей...

– Выходит, боец наша баба Нюра. Фигура, не просто так, – обронил глухо Карагодин.

– Ну да, – Виталий заёрзал на стуле.

– А как найти стар... этот дом? – спросил Карагодин.

Виталий молча и долго, будто решал, говорить или нет, смотрел на него, нехотя поднялся, скользнул к окну.

– Сядешь на электричку по северной линии, через две остановки будет станция, «Душа» называется.



Странно?.. А там – язык до Киева доведёт. – Он развернулся, слегка улыбнулся. – Послушай, брат, за то письмо извини, по-глупому. Сейчас сдуру попёр на тебя. Что мы, как в той ещё Руси среди князей, друг дружке горло перегрызём, что ли? Ничего мне не нужно, родня же, кровники, только устрой там памятник, оградку... Я любил бабу Ньюру, поверь. А пить, амба, завязываю – на работу с понедельника в трампарк.

Он затрясся, точно вот-вот расплачется, обнял Карагодина. Но вдруг отпрянул резко, гримаса зла и ненависти искривила лицо, стукнул кулаком по столу. – Ну, падла, убью, если пропила... – крикнул он и выскочил из квартиры, не простясь.

Карагодин некоторое время стоял, не зная, как быть. Вроде и цель достигнута, вроде и знакомство с родственником не из худших, даже всплыла мысль чем-то помочь, а на душе беспокойно. Перемешались времена и события: война, баба Ньюра, Катя, «АЛЖИР», предательство, алмазные прииски, Виталий, стардом... «Господи, прощать бы и жалеть друг друга, так нет же – всё наоборот. Что ж мы за люди?..» Подумалось вновь о Гале. Отчуждение между ними, точно разливающаяся весной река, всё ширилось и ширилось, находил ступор, и поделаться ничего было нельзя. Видимо, в суете, в беге жизни растеряли то, что раньше влекло друг к другу и самое главное – чувство. Дочь выпорхнула из родительского гнезда, и остались в большом доме два человека, порой, точно враги, точно дикие звери, в разных комнатах, как в клетках. Лишь сходились в молчаливом терпении на кухне. Наследство пришлось как нельзя кстати, будто кто-то сверху глядел-глядел на их маету-жизнь и решил положить этому конец таким образом. А там что Бог пошлёт: либо ум, согласие, мудрость, либо разрыв. Он притворил за собой дверь, медленно сошёл вниз и направился в сторону вокзала.



День перевалил за середину и лениво дремал, точно притомившийся работяга. Солнце грело щедро, по-хозяйски. Движение воздуха не ощущалось. Казалось, всё на земле от букашки в молодой траве до могучего зеленеющего дуба замерло, как в знойный час сердцевины лета. От деревьев на тротуар ложились серыми пятнами тени, в листве мерно и звонко щёлкала птаха; стайка девчушек в джинсиках, едва державшихся на узких бёдрах, смеясь, обогнала его; два чернявых усатых мужика, широко жестикулируя, что-то на гортанном наречии обсуждали у газетного стенда; на углу вальяжно раскинулась лохматая дворняга. Почуяв человека, приподняла рыжую мордочку, навострила уши, вильнула хвостом.

– Прости, милая, дать тебе нечего, – сказал Карагодин, обогнув животное, и зашагал энергичнее, бодрее.

Он двигался мимо городского сада с высоким железным забором в виде пик, с прилаженным посреди каждой секции воинским щитом, перекрещенным мечами. Вход украшала массивная арка с профилями римских воинов в шлемах и фонтан в виде большой каменной чаши тоже в римском стиле. Пригородный вокзал был уютен и стар, с витражом на фасаде, фигурной розеткой с датой позапрошлого века и мемориальной доской строителя – инженера императорской железной дороги Алексея Клепикова. За ним возвышался мутно-золотыми куполами храм.

Электровоз мерно постукивал колёсами, легонько шумел. Гравёр прикрыл глаза. Почудилось, как будто в детской сказке, вливает на волшебном розовом паровозике в какой-то неведомый прекрасный мир чудес, счастья, добра, радости. В голове на время образовалась пустота. Словно по чьей-то внешней указке, не рассуждая, как в молодости, ехал неизвестно куда и зачем. Но внутренняя уверенность вела. И сердце билось ровно, умиротворённо в такт с мягким стуком



колёс – будет лучше, будет лучше. Вспомнилось детство: мама, скупая на ласки, а в конце жизни – тихая и болезненная, медленно ходившая, медленно готовившая обеды, медленно стиравшая. Казалось, стоит ей где-то споткнуться и она уже не поднимется, умрёт. И отец, не ругающий за двойки, молчаливый, почти лысый, в сером обвислом пиджаке, с тонкими жилистыми руками инженера-чертёжника. Каждый день, точно робот, неизменным маршрутом он топал в КБ, рисовал с 8 до 17 одни и те же детали комбайна и никогда не требовал у начальства прибавки жалованья, должности, путёвки, квартиры, льгот. Вечерами спешил на чердак к любимому телескопу, а позже курил в одиночестве на кухне задумчиво и отрешённо, будто мозг работал над какой-то вселенской задачей, наверное, о малой планете, им открытой и названной в честь мамы. И умер тихо, будто уснул, под нежным светом далёких миров. Без родителей надолго поселилась в доме гулкая тишина, словно притаился в одном из углов зверь, которого нельзя ни за что спугнуть.

Карагодин полюбил отцовское место на чердаке, на кухне и так же курил допоздна...

9

На станции «Душа» указали дорогу наискосок через рощицу. Карагодин энергично тронулся, и вскоре глазам открылась тенистая улица. Первый же серый двухэтажный дом с серым забором показался тем, что нужно. Однако в окнах увиделись прикившие к стеклу по-взрослому серьёзные лица детей, а бросив взгляд на табличку, всё понял – детский дом... Сердце сжалось. У калитки, почти втиснув узкое личико между реек, стоял черноглазый мальчонка лет восьми в серой куртке и смотрел на него. «Артёмка, Тёма! – вдруг послышался женский голос. Из-за угла здания явилась средних лет полная женщина. – Опять ты здесь, пошли же».



Заметив Карагодина, она сказала, тепло улыбнувшись: «Любимое его место, прямо беда». А мальчик оглядывался, тянувшись за взрослой, пока не скрылся из виду. Огранщик тронулся дальше, но на душе уже лёг камень. «Странное соседство – детский приют и дом ветеранов войны и труда, а проще и грубее, стардом. И судьба схожая, только одни вступают в жизнь, не ведая, что впереди, а другие, всё зная, завершают земной круг», – с горестью подумал Карагодин, а перед глазами всё стояло черноглазое лицо Тёмы, вжатое в рейки. Не радовали молодой тонкоствольный лес, пряный запах пробуждавшейся от зимы травы, пятна синего неба над головой, игольчатые лучи разогревшегося солнца. Ещё через несколько минут по этой же стороне улицы за невысоким штакетником увиделся большой двор с клумбой посредине и зелёными беседочками. Несколько десятков глаз седых, сутулых, с палочками или на каталках людей, одетых старомодно и серо, вперились в него, едва ступил за ворота. Сердце прыгнуло необыкновенно, кровь бросилась в голову. Чувствуя на себе магнетически-пытливые взгляды, Карагодин быстро пошёл к серому корпусу. Как будто кто-то невидимый шептал в уши: «Подними взор, погляди на нас, урони хоть словечко, хоть улыбку, не скупись. Да скажи, как там, на свободе, где нас нет, и уже никогда не будет. Ведь неизвестно, как окончишь ты свой путь, – так же или, не дай Бог, хуже». Дежурная медсестра, дородная женщина с розовыми полными руками и двойным подбородком, вышла, жуя, по-видимому, оторвавшись от обеда. От неё пахло свежо и сытно. Карагодин изложил просьбу, молодая женщина вспомнила бабу Ньюру, выдала пакетик с бумагами.

– Странная была история, в моё дежурство, кстати, – сказала она, выдохнув запахом борща. – Ваша родственница, как утверждают очевидцы, то ли нарочно, то ли случайно толкнула с лестницы крес-



ло-каталку с неходячей женщиной. Нашли их вместе, последняя разбилась насмерть, а ваша бабушка жила какое-то время, но уже не поднялась. Похоронена на поселковом кладбище за полотном. Там есть наш участок, то есть для умерших стардомовцев, номер могилы я дам. – Она продолжала равнодушно дожёвывать обед. – Если только найдёте, всё-таки снега, дожди, ветры. Из опыта скажу: надписи живут не более полугода...

– А потом, ну что потом? – вырвалось у Карагодина.

Медсестра встала, нахмурила густые белёсые брови, розовые полные щёки ещё больше налились краской, будто у школьницы, которой задали трудный вопрос.

– Ну да. Что после с могилами? – раздражённо повторил он.

– Сами увидите, – бросила она, пожалала мощными плечами и тотчас исчезла в одной из дверей.

Пока Карагодин шёл обратно по тускло освещённому коридору, его не оставляли эти алчущие взгляды и люди с выражением обречённости на лицах. Они сидели на стульчиках, колясках, стояли вдоль стен у кабинетов, шаркая, двигались туда-сюда, как тени, они как будто готовы были кинуться к нему, как будто ждали, что их заметят, позовут. «Скорее, скорее бежать от этих стен, запахов, людей, обстановки с искусственным фикусом, – билось в мозгу. – Вот он, конец человека, когда-то здорового, служившего стране, семье, обществу и теперь выброшенного на обочину той самой прекрасной неповторимой жизни, упрятанного, будто в тюрьму, в казённое серое здание». Он вспотел, но стремился к выходу, не убыстрив шага и не глядя по сторонам. У калитки невысокая приятная женщина в светлом плаще, с лёгким шарфиком на шее слабо улыбнулась ему, словно говоря: жизнь, несмотря ни на что, продолжается.



– Вы, я услышала, родственник Анны Лаврентьевны? – спросила она. – Карагодин кивнул. – Я жила с Анной в одной палате. Мы не дружили, но соседствовали мирно. Поверьте, здесь не так уж и плохо: лечение, игры, занятия, самодеятельность, телевизор, общение... После того случая падения она написала завещание и уже не вставала. Но постоянно и настойчиво твердила: отомстила, отомстила, отомстила. Я не знала, о чём и о ком речь. Нюра скрытной была. А однажды значительно сказала: кто придёт по душе её квартире, станет богатым. И повторила – богатым.

Карагодин благодарно поклонился, пробормотал: «До свидания», притворяя за собой калитку, с облегчением вздохнул. Глаза и скромная улыбка женщины ободрили. Не придав значения услышанному, с энергией двинулся по мягкой извилистой тропинке, думая лишь о том, чтобы всё удалось. Кладбище у небольшой с синими куполами церкви нашёл без труда. Сторож указал, где стардомовская часть. Там, в дальнем углу, увидел два-три десятка осевших могил с покосившимися крестами и тёмными табличками. В конце второго ряда вдруг нашёл могилку бабы Нюры. Тревожно отозвалось сердце. Буквы на табличке почти стёрлись. Однако окончание имени, отчество, дата и номер читались. «Ну, здравствуй, баба Нюра...» – прошептал он и положил цветы на холмик. Немного постояв, на скамейке невдалеке расставил прикупленные чекушку водки, плавленный сырок, шоколадку, помянул усопшую и неспешно закурил. На душе стало легко и спокойно. Он расстегнул куртку, пиджак, оглядел тихий городок мёртвых. Летали, каркая, туда-сюда вороны, могилы были черны и угрюмы, словно неухоженные старые люди. Солнце уже клонилось к закату. Было красиво. Расцветшая природа набирала силу бурно, настойчиво, словно говорила: уведи взгляд от земли, от тлена к жизни...



Через время Карагодин неторопливо тронулся обратно. Лёгкий хмель взял тело, тяжёлые мысли покидали его, внутри росло что-то хорошее, доброе. Свалившееся наследство, тревога, путешествие, думы о Гале, новые родственники как будто наполнили жизнь не суетой и быстромыслием, а мудростью и спокойствием. Опять вспомнился глазастый мальчуган Тёма. За воротами, словно желая длить минуты памяти о бабе Нюре, присел на лавочку, закурил, не сразу заметив рядом бородатого старичка в тёмной одежде, смахивающей на монашескую. В церкви сочно ударил колокол, сосед перекрестился, глянул в его сторону светло и просто, как богообразный старец, и молвил: «Литургия идёт... И вино превратится в кровь человеческую, а хлеб – в воду...» Карагодин немо кивнул. Теперь колокола заработали на разные голоса, но бодро, жизненно, точно в детском хоре. Чувствовалось, что сам звонарь от сего действия получает удовольствие, как от занимательной чудной игры: он то делал паузу, точно наслаждаясь длящимся звуком, то частил высокими тонами, будто желал, чтобы они долетели до самого неба, и чтобы Создатель там, в своём доме, услышал бы их. Звуки ощутимой волной, точно ласковый ветер, достигали оградника, трогали сердце и волновали душу. Вся округа, казалось, отдавала чрезвычайной красотой, прозрачнее сделался воздух, а дома, деревья, столбы, железные ворота кладбища, кирпичный храм засветились каким-то неведомым светом. Показалось неуместным курение. Он загасил сигарету, разогнал дым и сидел, боясь шевельнуться, как заворожённый. Послышалось церковное пение, нежное и высокое. Рука сама пошла ко лбу, сотворила крестное знамение, а губы прошептали единственное, что знал: «Господи, помилуй, господи, помилуй...» Затем выгреб из куртки мелочь и протянул старичку. Тот с мягкой улыбкой отвёл его руку.



– Я не нищий, я – монах, брат. Глянь туда, на гору, зришь, белеет, это наш Второ-Афонский монастырь... – тепло проговорил старец, легко поднялся. Как будто уловив трудности с молитвой огранщика, продолжил также ненавязчиво, с добром. – Твори простую молитву: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! – Низко поклонился, прошептал. – Храни тебя Господь!

Мягко ставя посох, неторопливо двинулся прочь. И почти сразу растаял, будто и не было вовсе.

Спустя минуту, окинув взглядом церковь, кладбище, Карагодин заказал в мастерской памятник на могилу бабы Нюры и зашагал к станции. Посвежело. Вечер ложился на округу лёгким покрывалом. Казалось, вот-вот вспыхнут на нём звёзды, будто лампочки, и станет видно, как днём. Поселковая дорога игриво виляла, качались слегка верхушки деревьев, шумела листва. Забрехала где-то собака, ей вторила другая, третья, метнулась наперерез, раскинув, точно самолёт, крылья, синебокая сойка, просигналил у шлагбаума поезд, замедлив ход. Зелёное длинное тело состава напомнило город, суету, многолюдье, а одна девочка с бантиком у окна улыбнулась и помахала ему рукой.

Мысли отлетели от сегодняшнего. Захотелось счастья, любви, понимания, тепла и уюта дома, нежных глаз жены и удачной работы с камнями. Энергия охватила тело, чувствовались сила и здоровье, дух вострепетал, а сердце рвалось наружу. Он прикрыл глаза. Подумалось, что вот она, человеческая доля: кто лежит, упокоившись навечно, кто доживает век без родных и близких, а кто суетится, куда-то едет, что-то делает, строит планы, веселится, грустит и верит, что впереди долгая-долгая жизнь. У детдома замедлил шаг. На прежнем месте стоял Артём. Карагодин протянул ему так и не раскрытую шоколадку. Вздохнул, боясь поднять взгляд, а когда поднял, сердце дрогнуло.



– Как... как твоя фамилия? – еле вытолкнул он из себя.

– Иванов Артём, семь лет, родителей нету... – тихо, заученно ответил мальчик. На глаза навернулись слёзы, он шмыгнул носом.

– Ну что ты, что ты, Тёма... Всё будет хорошо, успокойся.

Он не знал, что дальше говорить. Вечер густел, улица была пустынна. Кажется, нужно было что-то делать, но что, не соображал. Попрощаться и уйти. Но как? Он будто прилип к земле и не мог двинуться.

– Дяденька, будьте моим папкой... – тихо проговорил мальчик.

У Карагодина готовы были брызнуть слёзы. Но тут парнишку окликнули.

– А, это опять вы... Прощайся, Артём, нам пора. До свидания. – Та же воспитательница крепко взяла мальчика за руку и повела.

– Ну, будь здоров, Артём, – негромко проговорил Карагодин им вслед. – Держись.

Мальчик, свернув головку, плёлся, спотыкаясь. И всё смотрел и смотрел на него чёрными молящими глазами...

10

Вольно или невольно окружающее влияет на человека. На реке, в лесу, в поле рождаются одни мысли, желания, душевные порывы, в суете, в шуме города – другие, в замкнутом объёме квартиры среди привычных вещей и семейных забот – вовсе третьи, круто отличные от двух первых.

Едва Карагодин вставил ключ в замок, как открылась соседская дверь, высунулась полная с одутловатым лицом седая неопрятная женщина в халате и быстро шепотом заговорила:

– Вызовите полицию, прошу вас. Филипп бьёт меня, я не могу показать синяки, вызовите скорую... –



Глаза её округлились, рука вцепилась в руку Карагодина. Женщина приблизила потное лицо, и странно-горький запах обдал его. – Он хочет, чтобы умерла, не кормит, я голодаю. Что ни прошу, не даёт, говорит, врачи запретили, а сам жрёт, кухню запирает, а я слышу запахи. Принесите кусочек сала. Очень прошу.

В голосе её звучали слёзы. Карагодин растерялся, нахмурился. Мысли без порядка понеслись, набегая друг на дружку. В этот момент внизу стукнули дверь, послышались чьи-то усталые шаги. Женщина сделала испуганное лицо, тотчас убралась, оставив тяжёлый запах на лестнице. Огранщик вошёл к себе. Рядом щелкнул замок, открылась и закрылась дверь – это был председатель. Вспомнилось, что говорил про жену, вспомнились и слова Джеммы о ней, и никак нельзя было взять в толк, что делать и делать ли вообще. Он почувствовал тревожную усталость. Воскресенье заканчивалось. Завтра предстоял визит к нотариусу: бумаги, дела, стардом, кладбище, мальчик-сирота заслонили явление соседки. Чужак прилёг на диван и тот не показался жёстким, оглядел комнату, и она увиделась светлой, милой, как та, в отчем доме, рабочая, его убежище. Скрестив руки на груди, как любил, слегка двинувшись и легши удобно, в наилучшее, будто давно им пригретое место, с удовольствием и теплом в душе смежил веки...

Занимающий больше всех места – оранжевого цвета диван басовито вздохнул, расправил спинку и шевельнул довольно пружинами, отчего, впрочем, материя на сидении не натянулась и примявшиеся её части, дряблые, вроде старческих ягодич, не разгладились. Приблизился рубеж, когда всякое движение оборачивалось перетёртой ниткой в его старой одежде, лишним напряжением и без того уставших, отработавших долгий срок пружин. Приобретён он был родственником Филиппа – одиноким инвалидом Анатолием, не



обделённым ростом, сменившим климат по причине болезни лёгких и намаявшемся на короткой старой кровати с блестящими спинками. Диван полюбился – был длинен, широк в раскидку; нутро его легко впитало в себя и запах «Примы», и запах хозяина, и запах лекарств, и запахи тех, кто спал на нём позже. Сообразно своему болезненному настроению, Анатолий то задвигал диван в угол, то ставил поперёк, то приближал к окну, то перетаскивал к другой стене. И всегда деревянно-пружинное существо смиренно и верно, словно преданный друг, служило ему. Да в последнее время, по нездоровью, длиннобудылый хозяин уже не трогал старика, как будто понял, что тому, как и ему, тяжело. Диван принял последние слёзы сожительницы Лены – худенькой, точно школьница, блондинки с инженерным образованием. Трясся её подбородок, худые плечики, лицо исказилось. «Ничего, ничего, – прорывалось сквозь всхлипы. – Ты ещё пожалеешь об этом». Очень любила диван Юлька – официантка из десятой квартиры, пышногрудая, смешливая, черноглазая, сменившая Лену. Она, один к одному девчушка-подросток, забиралась на него, по-турецки усаживалась, выставляя красивые ноги, и вопрошала игриво: «Ну разве я не хороша, Толь? Давай распишемся. Я буду верной женой и рожу». Юля, словно кошка перед котом, ластилась, мяукала, целовала страстно, принимая разные, порой вульгарные, позы. А то, раздевшись донага, сидела голенькой. Но Анатолий лишь немо курил, серые глаза меркли, а по скулам ходили желваки. Тогда она зло пинала диван, вцеплялась ногтями в материю, готовая разорвать в клочья, и кричала: «Сдохнешь в одиночестве здесь, он станет тебе гробом. Кому ты ещё нужен!» И убегала, не умолкая. А на похоронах долго, как опущенная в воду, сидела у ног с хмурым челом, будто там роились правильные и мудрые мысли, и шептала: «Прости, Толя, прости».



Лишь Люся, последняя из женщин хозяина дивана, тихая и покорная, точно из гарема, молча готовила, молча убирала, молча стирала, молча смотрела телевизор и в постели не роняла и ползвучка. Да как объявилась тихо, незаметно, ничего не требуя, прощая всплески болезненного мужского характера, так и пропала без вести, оставив резкий тон духов. Диван же принял и последний выдох Анатолия...

Последовал настойчивый звонок, Карагодин очнулся. Только что приснился сон: он и Галя в незнакомом помещении с тёмными углами, в котором холмами, как могилы, насыпана сырая земля. Он говорит нервно, горячо, повторяя, что нужно непременно вернуть то, что прежде соединяло и называлось любовью. Да блёклые, будто далекие, глаза жены не видят, нежные ушки не слышат, уста не размыкаются. Кажется, там, за красивым лбом, нет мыслей. Вот Галя отталкивает его, устремляется прочь, точно летит. Он тянется, силится догнать. Да напрасно – ноги утопают в рыхлой земле, а тело странно тяжелеет. Лицо жены бесстрастно, словно маска. Лишь нелюбимая морщинка на лбу проявляется чётче... На пороге оказался сосед, Карагодин молча впустил. Старик был озабочен, прошёлся по комнате, оглядывая, будто ища чего-то.

– Жалилась? – спросил он, не глядя на гравёра.

Карагодин кивнул. Председатель опустил на диван.

– Её можно понять, бедная женщина, моя вина... Я любил её. Но после одного случая. В общем, давно это случилось. Говорят, винтик, нейрон какой-то сдвинулся, переключило психику. Возил и в область, и в Москву, что ни делали, всё насмарку. Судьба... – Он вздохнул, как будто для порядка, помолчал, затем продолжил живее. – Я только что со сходки, так обзываем воскресные встречи пенсионеров. Район наш именуется Ромашкой, вы заметили фонтан в виде ромаш-



ки, и дома разбросаны, как лепестки цветка. У фонтана собираемся, спорим, обсуждаем, планируем, играем в шахматы. Вот, к примеру, отстояли наш парк с памятником погибшим в Великую Отечественную, в Афгане, в Чечне, где «новые русские» намеревались возвести развлекательный центр, кафе, забегаловки. И что мы за нация такая, едрён-батон, – сами себя едим, унижаем, обкрадываем, ненавидим?.. И всё в крайности: любовь и ненависть, работа и пьянство, дружба и ссора – до грани, до высшей точки. И доверчивы и бесхитростны, как дети. А пришлые, которым наплевать на наши обычаи, привычки, устои и на город, сплочённое, напористее, изворотливее и теснят, теснят. Друг у меня есть, Василий, активист, газетчик, наш лидер, бывший информатор КГБ, пишет роман о сегодняшней жизни: о взяточниках и коррупции, о том, что диспоры и криминал подомнут под себя власть. Называется «Кровавый плащ Пилата». Каково?.. А другое возьми – молодые спиваются, колются, народ мрёт, страна катится в тартарары, богатые богатеют, бедные беднеют, грядущее в тумане. Вечные русские вопросы: кто виноват и что делать?..

– И много таких активистов, как ваш друг? – спросил Карагодин.

– Как Василий?.. Нет, кто за компанию, кто для времяпрепровождения, кто скрасить одиночество. А что?

– Да в Библии точно обозначено число праведников, могущих спасти погрязший в грехах город, – десять.

– Честных, жертвенных, готовых, подобно Христу, терпеть гонения и муки, отдать себя, жизнь, как в войну, не наберётся, пожалуй... А может, не берусь судить.

– Друг детства у меня был, – начал Карагодин. – Давно уехал в Питер, в прошлом году умер, его кремировали на кладбище «9 января». Летом ездил туда, помянуть, цветы положить, да не смог отыскать урну – оказалось много разбитых, искорёженных. Ну как это



возможно? Какие ж варвары среди нас, что даже к покойникам нет почтения. Беда в стране...

– Да-да. Вы правы, плохо. А спорим о вселенском, как всегда в России: стремление к совершенству, этический максимализм, либералы против государственников, русофилы против западников. Но страна-то великая. Думаю, всё переживёт.

Председатель поднялся. Не выходил из головы Загребенко с делишками. Всё противнее делалась его рожа с жадными ноздрями и хищным взглядом, набирающее жир тело, толстые руки с волосатыми пальцами. Яснее ясного было, что не отцепится, точно клещ, пока не добьётся своего. Уж такая гадская натура. Душа была не на месте. Чувал, что Загребенко примет нечто резкое, ибо, по всему, угодил в сильные лапы и теперь мечется, будто зверь, давит, готовый крушить всё. Следовало придумать контрход и развязаться с ним, но какой? Анонимку на работу, так бумага к нему же и вернётся, звонок жене про визиты к Джемме – она явно в курсе, письмо в прокуратуру о квартирах – значит и самому готовиться к ответу...

– Я был в стардоме, отыскал могилу бабы Нюры, заказал памятник... – тихо промолвил Карагодин.

Председатель непонимающе поглядел на него, но быстро сообразил, о чём речь, закивал головой.

– Да, да, да, – повторил он несколько раз, кажется, вовсе не слушая. – Живём и умираем, умираем от разлада с самим собой, с миром. Человек – враг себе. Вот слышал, что жило человечество давным-давно на разных планетах и с одной на другую перебиралось. Вроде как выбирало, где лучше. Точь-в-точь, как у нас в России – земли без края, здесь нагадил, попёрся дальше, опять нагадил, снова двинулся. А она, матушка, поверьте, не прощает. Оттого и стержня в народе нет, веры, крепости, единения. Всем на всё наплевать... Вверх, в небо нужно чаще смотреть, там разгадка всему.



Филипп задумался. Отчего-то тепло и уютно стало рядом с пришельцем, у которого с участковым замыслили отнять квартиру, как уже делали, продать. Поднял взгляд на портрет Ньюры в молодости. Ничего в ней с годами не менялось: те же твёрдость в губах, прямой уверенный взгляд, широкоскулое лицо, волевой подбородок. Казалось, сошлись они, как два сильных, упрямых войска, да сражение длилось недолго – поняли, лада не будет и расстались, не одолев друг друга. Он вздохнул. «Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Да ничего не вернуть. Время, увы, не потечёт вспять, едрён-батон...» Не хотелось возвращаться в квартиру. Думы, накопившиеся в последнее время, плотным комком давили на мозг. Нужно было распутать их, выговориться, открыть кому-то душу, чтобы поняли и хоть чуточку приняли на себя его заботы, его тревоги, его тяжесть.

Он вспомнил прочитанное где-то, что у армян есть выражение: цават танем – чтоб я взял твою боль... Но кто мог бы взять его боль: друг Василий – нет, пасынок, так и не ставший близким, родным – тоже, невестка – упаси Господь, этот чужак?.. Тёплая волна вскружила голову от мысли, что именно этому художавому пришлому человеку, никогда не видевшему Ньюру, не знавшему этого города и его, старика, может и должен открыться. Он всё, как на исповеди, расскажет, выложит до краешка, до мелкой детальки, до самой-самой глубокой мыслишки, до полупоступка, вскроет душу, облегчится. И ему здесь, на земле, грехи простятся. Бог смилостивится, даст надежду кончить век по-доброму и достойно. Он вздохнул, осторожно снял гитару со стены, прошёлся по струнам, подтянул колки, нагнул ухо к деке. Мягким, слегка дрожащим баритоном, прикрыв веки, затянул любимый романс Ньюры «Отцвели уж давно хризантемы в саду...». Кончив, замер, будто за эти минутки перенёсся на три



десятка лет назад, вернул себя, сильного, уверенного, молодого в иной мир, в далёкое время. Погладил инструмент, поднял взор, а внутри уже твёрдо и устойчиво, точно неотъемлемая часть мыслительной области, поселилась фраза: цават танем.

– Я ведь с детства к музыке приучен, мальцом пел в церковном хоре, – заговорил он с теплом в голосе, словно делился с близким другом сокровенным. – После смерти родителей жил у тётки, простой швеи. Школьные концерты, клубная самодеятельность – всё было, но церковное пение иное. Жилось трудно, тётя, царствие ей небесное, определила в суворовское на казённый кошт, затем военно-пограничное. И началась служба: заставы, СИЗО, тюрьма. Было не до пения...

Он вернул гитару на место и заметил на столе станочек, инструменты.

– Это для чего?

– Так, для себя, народные промыслы. Хобби, баловство.

– С камнями работаете? – голос нехорошо дрогнул, глаза сверкнули. Что-то упорное напрягло. И от пяток до макушки потекло волнение, какое рождалось, если видел деньги, драгоценности, украшения; подавить это чувство было трудно. Казалось, время пообвыкнуть – не мальчик, но переделать характер, увы, не просто. Он сжал кулаки, челюсти свело, и еле-еле вытолкнул из себя. – А ваши родственники, насколько мне известно, на алмазных приисках трудятся, да? И Анна Лаврентьевна там же долгое время жила.

– Камни не драгоценные, – ответил неохотно Карагодин, ему не понравился тон и вопрос председателя.

А тот ещё раз окинул взглядом стол, недоверчиво глянул на огранщика и негромко заговорил.

– Это хорошо, что могилку нашли, доброе дело сотворили, отдали почести, как говорят. Памятник будет, дайте знать. Непременно съезжу, помяну. Я уважал



Лаврентьевну, Ньюру, уважал... – У двери задержался. – Знаете, в пятой квартире есть одна женщина – банковский работник, красивая, вылитая Софи Лорен, и поступь точь-в-точь. Уходит в семь, в семь вечера обратно. Всегда одна, и что странно – никогда не улыбается, мне таких жаль. Обратите внимание. А соседка наша Джемма – тоже дама хоть куда, только не везёт ей. – И прикрыл за собой дверь, постоял немного на лестничной клетке, не стал заходить в квартиру. Медленно спустился вниз, сел на лавочку у подъезда и закурил. Вечер был тих, дома светились огнями, мимо шла весёлая компания, похоже, из ресторана или из гостей. На пяточке между домами стали прощаться – женщины целовались, мужчины, слабо держа равновесие, жали друг другу руки. И один заметил:

– А завтра, представьте, понедельник...

У песочницы высокий парень запускал качели с девушкой как можно выше. Она испуганно ойкала, а молодой человек снова, с большим усилием, точно хотел закинуть в небо, слал сиденье до упора, приговаривая весело: «А так, а ещё, ещё!...». Девчушка опять ойкала, и они радостно смеялись. Вспомнилось, что и он, когда въехали в этот дом, как-то ночью, после театра, где в буфете пили коньяк, закусывая бутербродами с икрой, такой же тёплой весной катал на них, ещё новеньких, Нину. Была она в лёгком платье, какое шаловливо задиралось, обнажая красивые ноги. Развевались дивные волосы, синие глаза искрились, а крепкое здоровое тело, желающее любить и быть любимым, неодолимо влекло. И они были счастливы вроде этой пары...

Филипп неспешно поднялся в дом. Жена спала, постоял у её кровати с минуту и двинулся к себе, раскрыл шифоньер, где висела офицерская форма. Он любил приводить китель в порядок, непременно чистил по утрам. А когда в трамвае ехал с Ромашки до тюрьмы



– белокаменного, точно воздушный замок, строения в рощице на окраине, называемого жителями в шутку «санаторий «Белый лебедь», ощущал упругость материи, твёрдость погон, мягкость бортов, теплоту брюк. Но, минуя рынок, почта, центральный проспект, парк, мост через речку, под скрип колёс на поворотах, под сигналы авто, под утренние звуки пробуждающегося города, холка его, точно у матёрого быка перед сражением, становилась дыбом, а члены помимо воли каменели. И, не видя восшедшего светила, зеленеющих деревьев, блестящей полоски речки, не чувствуя свежести утра, на остановке «Тюрьма» сходил другой человек. Не тот, что час назад по-юношески впрыгнул в вагон, а суровый, жёсткий, безжалостный. Он хмуρο толкал турникет на проходной, хмуρο здоровался с охраной, хмуρο шагал в кабинет, давя сапогами пол. По сей день, садясь в трамвай, чудится Филиппу, что едет на службу, видится красный тренькающий вагончик №5, как жучок ползущий по безлюдной улице, и полная симпатичная с ярко накрашенными губами кондукторша Тая, с которой была недолгая связь и которая вскоре удачно вышла замуж за вдовца-майора...

После смены в СИЗО обычно час-полтора служака у фонтана, наблюдая за игрой струй, наслаждался свежим пивком с шашлычком, принимал стопочку водки и, отмякая сердцем, приятно ощущая, как из тела и одежды истекает тюремный дух, жадно, пылливо, будто впервые, глядел на мир, на людей и представлялся этаким мудрым философом, познавшим человеческую природу: взлёты и падения, возвышенное и животное, любовь и предательство. Казалось, сейчас вернётся в знакомые стены, в железобетонную коробку, словно в келью, и накропает своим мелким округло-красивым почерком трактат о жизни и смерти, о тлене и бессмертии души. Но, ступив за порог, равнодушно кормил жену, равнодушно провожал её



в кровать, тупо, без мыслей и чувств заваливался отсыпаться. И отчего-то непременно снились тогда красивые и тёплые, как в детстве, сны...

Председатель не стал разбирать постель, прилёг и долго смотрел в чёрное лицо окна, пока не устали глаза и не отяжелели веки.

11

Карагодин некоторое время ходил по комнате со странным чувством, будто забыл что-то сделать, на что память напрочь отказывалась даже намекнуть. События дня выстраивались в гладкую цепочку, не задерживая внимание ни на чём, словно в телевизоре – идёт картинка, звук, но ничто не задевает. Он стал у Высокой полки, оглядел её до верха, прояснения не случилось. Однако почудилось, что сооружение дрогнуло, как день назад. Карагодин нервно отступил, видение исчезло. Бросил взгляд на сервант, на игривый журнальный столик, на диван, вроде что-то забрезжило в мозгу, но мучительно и смутно. Хотелось обхватить голову руками, тряхнуть, чтобы картинка наконец оформилась, устоялась, точно слепилась из миллиарда точек. Он присел за стол, поправил лампу, ощупал инструменты и стал мять пальцы, разогревая, тереть подушечки друг о друга и о точильный камень, чтобы сделать их, как у вора-медвежатника, более чуткими. Взгляд наткнулся на пустой бокал Джеммы, и сразу всё разрешилось. Мысль убежала от камеи, напильничков, надфилёчков, скальпелей, тисочков, пинцетиков и сошлась на стене, за которой жила красивая женщина. «Вернуть фужер? Но пустую, говорят, посуду возвращать не принято», – подумал он в странном волнении и с подъёмом шагнул на балкон. Свет рядом был. Чужак быстро вернулся, из глубины саквояжа извлёк прохладную бутылку «Рижского бальзама», подаренного благодарным клиентом, ополос-



нул бокал, не чувствуя усталости, а лишь биение сердца, отворил дверь, приложился мягко к кнопке звонка слева и затаил дыхание. Джемма открыла почти сразу. На ней был тот же халат тяжелой материи, лицо выражало усталость. Женщина улыбнулась приветливо, засветились печальные глаза, пригласила войти.

– Я вот с ответом, – пробормотал он, краснея, как мальчишка, осторожно перешагнул порог и тотчас понял, что за спиной осталась вся прежняя жизнь: Галя, неурядицы, дочь, работа, камеи, странности, привычки, желания, известие о наследстве, а впереди – глаза, улыбка, линия шеи, руки дивной соседки, и ему до смерти хочется обнять и поцеловать её. Что-то открылось, будто из темноты разом шагнул в огромный светлый зал. Он на миг закрыл глаза и с трудом выдохнул: – Не помешаю?

– Я одна, – последовал мягкий ответ. – Не было настроения никуда идти, хотя и звали в два места, но... Иногда хочется просто поваляться на диване с лёгким романчиком, охотно прерываться, выпить, смакуя, кофе, посидеть на балконе, наслаждаясь природой и, улавливая в сюжете что-то интересное или подобное в собственной жизни, радоваться, грустить, задумываться, мечтать... Да-да, представьте, мечтать. Смешно?..

Карагодин пожал тонкими плечами, кивнул, соглашаясь: молодая красивая женщина может, даже обязана мечтать, и мечты эти, несхожие ни с какими другими, возвышенны, нежны, значительны. Но думалось совсем о другом: что поздний час, когда природа делается мягче, спокойнее, готовясь ко сну, что всё вокруг кажется неопределённым, расплывчатым, загадочным и вот-вот может случиться нечто чудное, что как никогда взволнован и боится резко дышать, чтобы не спугнуть, словно диковинную птицу, чувство, похожее на то полузабытое, называемое, кажется, любовью.



Он потупил взор, осторожно продвинулся за хозяйкой на кухню, опустил на краешек табуретки.

– А у меня есть крутые, как сейчас говорят, конфеты с ликёром, коньяком, ромом. Вот! – И раскрыла перед гостем широкую цветную коробку. – Да, ещё раз спасибо за подарок, – продолжила также приветливо, глаза её чудно блеснули, а губы выговаривали слова чуть нараспев. – Представьте, мои коллеги на кафедре, зову их бабё, увидев перстенёк, чуть не лопнули от зависти, все уши прожужжали, настаивая познать с вами и заказать что-нибудь подобное, а то и лучше. Видите, я делаю вам рекламу.

– Благодарю, это льстит, подумаю, – с улыбкой ответил Карагодин и поднял наконец глаза. Сердце билось неровно, будто внутри молоточек неясно по какому закону включался и выключался. – Представьте, Джемма... – он в первый раз вымолвил её имя и нашёл, что оно очень красиво. – Я каждому камню даю своё название, как чувствую. К примеру, аметист, говорят, охраняет от пороков, зову – «Елена и мужчины», сердолик хранит супружеское счастье – «Узы Гименея», а хризолит дарует беззаботную жизнь – «Весёлое застолье».

– А что о любви?

– Рубин якобы символизирует нежную любовь... Но ведь любовь – это зачастую каверзы случая, игра обстоятельств, причуды желаний и много-много страсти. Иногда животной...

– О, вы так считаете?.. А безоглядная, жертвенная, без условностей и ваших обстоятельств. Вот, положим, в поезде встретились два человека...

– Случайно?

– Именно. Но случайность – обратная сторона закономерности. И между ними искорка. Всё. Они едут и говорят, говорят, рассказывают что-то друг дружке, смеются пустому, ничего не видя кругом, не замечая



времени, людей, мелькающие станции, не задумываясь, что впереди, держатся за руки, сидят глаза в глаза. А после бросают семьи, любимую работу, родной город, жертвуют всем, только бы быть подле друг друга, дышать одним воздухом, любить. Может такое быть? Конечно.

От женщины повеяло домашним теплом, сделалось уютно и легко. Он не отрывал взгляда от шеи Джеммы, плавно уходящей в воротник халата, от тонкой, ритмично вздувающейся голубоватой жилки. Чудилось, стоит на миг закрыть и открыть глаза – и перед ним встанет родная кухня с уголком, обивку которого недавно меняли, с микроволновкой, посудомоечной машиной, окном с цветами и Галей, сидящей отдельно в домашней кофте с открытой красивой шеей и такой же бьющейся жилкой.

– Подумайте насчёт рубина, – шутливо продолжила Джемма и повертела перед собой рукой с перстенёчком. – Красив, ничего не скажешь... Знаете, милый сосед, теперь портные, обувщики, модельеры, дизайнеры бирочки на свои изделия приторачивают – сделано, мол, вручную и факсимиле. Галстуки, платочки, бабочки, вуали, ну и ещё кое-что я получаю в единственном экземпляре от самого классного мастера в городе Бассинской Светы. Особый шик, лучше заграничных.

Карагодин отвёл взгляд от хозяйки, осторожно взял чашку чая. В последнее время ни колечки, ни перстенёчки не интересовали – одни камеи занимали голову. Он всегда долго настраивается, привыкает к материалу, изучает характер, мягкость, теплоту или холодность, степень обработки, пока не почувствует образец нутром, не увидит изделие с первого касания до последнего. Лишь тогда начинает и весь погружается в работу. Однако каждый раз наступает момент, когда маленькое каменное творение уходит из-под его власти и, словно повзрослевшее дитя, начинает



жить само по себе. Руки уже не подчиняются мастеру – их ведёт что-то высшее, неподвластное его желаниям. И создатель маленького чуда счастлив. Давно родилась стойкая привычка месяца два «остывать» от готового изделия: в мозгу ещё живёт каждый изгибчик, каждая линия, каждое углубление или выступ. Бывает, рождаются мысли что-либо улучшить, поправить, изменить. Глаз мастера запоминает детали, это, как в копилке, откладывается ценным багажом. В следующей же вещи прежних огрехов нет и в помине.

12

Но в этот момент в дверь резко позвонили, послышался густой мужской голос, почти бас, и спустя минуту вшагнул большой и плотный Загребенко. Он похозяйски оглядел кухню, недовольно хмыкнул, увидев Карагодина, на секунду замешкался.

– Очень шустрый вы, наследник, как я погляжу, – наконец грубо заметил он, глаза его потемнели. – Не успели объявиться, а уже вхожи... – И обратился к Джемме. – Хай выйде, мне побалакать с тобой треба. – Сильно волнуясь, он временами переходил на украинский язык.

Джемма попросила Карагодина пройти в комнату, но не затворила двери, будто нарочно, и разговор он слышал ясно.

– Ось тут усё, найкращая Джеммочка: визы, паспорта, валюта на первое время. Бачишь?.. Как обещаю, решай, – заговорил полицейский теплее, почти шёпотом, вынимая из-за пазухи пакет и отступая, как будто говоря: это всё твоё, бери, владей. Он упёрся задом в мойку, вздёрнул большие руки с широкими ладонями, растопыренными толстыми пальцами вверх, не зная, что дальше с ними делать, закрутил тяжёлой головой. Видно было, что не хватало места, что чувства переполняли, сердце рвалось из груди, в голове



лёгкий шумок морочил ум, но сладко и чувственно. Он тихонько опустил руки, было шагнул вправо, влево и затоптался на месте, переминаясь с ноги на ногу, будто виноватый. – Завтра будут авиабилеты в Швейцарию. Там сходы ваны гроши, нам хватит. Молви одно слово, будь ласка, а там – моя забота.

Он сбивался, переходя с русского на родной и наоборот. Грубый мужлан, здоровяк, тучный с мощной шеей и жёстким взглядом, привыкший к мату, крови, разборкам, жалобам, объяснительным и доносам, к общению с бомжами, проститутками, наркоманами, дерзкими подростками и их родителями, с надоедливыми пенсионерами, грязными пьянчугами, неблагополучными семьями, говорил сухим, дрожащим голосом. И тембр его был тёплым и бархатистым. Если б кто знал, как осточертела служба, как ненавистна до помутнения рассудка, до физического отвращения! А хотелось иной жизни: не быть солдафоном, держимордой, бобиком на побегушках, винтиком в форме, зависящим от настроения начальства, от процента раскрываемости, от показателей по участку, от других логичных и нелогичных причин. Лёгким белым-белым облачком на синем небе, точно нимб, всегда витала над ним мечта быть самому себе господином, барином, зажиточным человеком, с крепким достатком и разумным, как в его станице говорили, корнем – глубоким, мощным. Но не дал бог этого, и сорокадвух-летний мужчина, офицер, сосланный в участковые после ЧП в тюрьме, мент, легавый, мусор, что ни день клял судьбу, родителей, друзей, школу, всех, кто не подсказал, не направил, не предостерёг.

Сельская жизнь с замученной домашним хозяйством безгласной матерью и пропитанным запахом бензина, солярки, масла отцом-трактористом обрыдла, душа жаждала размаха, города, чистоты, культуры, аромата духов и свежести, театра и кино. Он по-



лучил, что желал, но теперь это было в тягость. Облачаясь по утрам в форму, оседал, сутулился, точно брал на плечи тяжёлую ношу, жёсткие вериги, как наказание за грехи. Обычная жизнь куда как мрачнее и проще самых возвышенных мечтаний, цветастых картин, сильных порывов! Но вдруг появился свет – Джемма. Загребенко влюбился, и все мысли были связаны только с этой женщиной, которая, мнилось, заменит и семью, и работу. Кружилась голова, билось взволнованно сердце, что-то забытое, юное, подростковое, с нежным запахом луга и лимана, морского воздуха и безбрежного южного неба напрочь отключило мозг – Сашко Загребенко запомнил, да и не осилил умом, что лишь в сказках нищета в мгновение ока оборачивается богатством, глупость – мудростью, немощность – силой. О семье службист никогда не думал. Она нечётким контуром маячила на задворках его помыслов, не ставилась в ряд ни с чем, ничего не значила и не весила, как порожний кошелёк. И катилась, точно с горы бочка, грохоча, бясь о кочки, вертясь и крутясь сама собой, как отпавшее от телеги колесо... Он, наконец выговорился, напряженно улыбнулся и вздохнул, потянул к ней дрожащую руку. Шагая сюда, как всегда, глядя в ноги, ругал себя, непонятную душу, странное сердце, игривые чувства, но ничего поделать не мог – эта смазливая мордашка преподавателя университета заняла его всего. И – сон не сон, работа не работа, дела не дела – постоянно думалось лишь о Джемме. Отсюда и жадность, и давление на председателя, и порыв разделаться с долгом, а там – исчезнуть, скрыться. Самое вероятное, что в случае побега удумают братки – отнять дом. Но этот ход предусмотрен, семья на улице не останется – по указке подруги-юристки секция в малосемейке на имя жены куплена тайно. Полицейский, довольный, усмехнулся, сердце радостно прыгнуло, будто то, о чём мыслил, исполнилось. Стоит этим неж-



ным красивым губкам сложиться в коротенькое «да» и мучениям придёт конец, круг, к счастью, замкнётся, блеснёт-таки добрая звезда, озарит, щедро одарит, а мечты станут реальными.

– Нет, Загребенко... – ответила Джемма, сложив руки на груди.

Его словно ударило током, полицейский напрягся. Отрицание слышалось и неделю, и две, и три назад, ответ был ясен уже по позе: если Джемма складывала руки на груди и вскидывала подбородок, глядя чуть свысока, то показывала, что отторгает, и между ними преграда. Она была так близка, её тело, вырез на груди, сложенные тонкие руки, ушки, линия подбородка, губки и бело-розовая шея – всё манило, дурманило, заплетало извилины мозговой коробки, потому слова проникали трудно. Он не понимал порой их смысла, точно иностранную речь. Загребенко помнил тот единственный поцелуй в день знакомства, и ныне именно он перевешивал всё, ибо верил в его искренность, как верующий в икону, в образ Бога, в Богородицу – глубоко и чисто; тот миг сумасшедшего порыва, близости, ощущение тепла и возможного счастья давал надежду. Загребенко был прямолинеен и предсказуем, как все мужчины, – если что-либо забирало его, то намертво, мозг резался одной прямой, и эта жирная линия, секущая серые извилины, не стиралась никакими потугами ума. И хотя сам не раз подличал, обманывал, врал, морочил голову, сбивал с толку, в этом случае верил по-детски наивно и тому поцелую, и той душевной речи Джеммы.

– Подумай, не спеши с ответом... – проговорил он, еле сдерживая себя. Все жилы натянулись до упора, кровь медленно горячилась, тень легла на скуластое лицо.

Джемма повторила отказ и отступила, окинув смелым взглядом гостя. Прямоты, жёсткости, упрямства



фигуры в форме не было. А тогда, в первый день, именно эта твёрдость, мощные плечи, сильные руки, эта уверенность и надёжность приманили. И душа потянулась к душе по зову природы, ибо с родителями была в ссоре, подруги не в счёт, а после расставания с поэтом оказалась со своими думами одна-одинёшенька. Чувствовался неуклонный бег жизни, мелькание дней, недель, месяцев. Череда лиц, наслоение разговоров, порой ничемных, пустых, знакомства, даже случайная постельная близость были не тем, чего жаждала уставшая женщина. Но ни любимого человека, ни семьи, ни надёжной крыши над головой не имела. Сутки начинались и кончались одинаково – чужие стены съёмной квартиры, чужая мебель, одиночество, точно в камере. Едва спасали общение с коллегами, со студентами да самодеятельный театр, где делала успехи, а руководитель прочил ей профессиональную карьеру.

– Чую отказ?.. Так слухай, – изнутри начинали подниматься раздражение и злость, кровь забурила, в глубине зрачка вспыхнуло чёрное пятно, с языка сорвалось: – Твоя давняя тайна мне известна.

Участковому нужно было найти слабое место, как в боксе, чтобы свалить соперника, сокрушить защиту. Лицо его с тяжёлыми щеками было непроницаемым. Но часто оказывалось в жизни так, что в каком-либо неразрешимом, тяготившем деле, обнаруживая эту единственную болевую точку и разбивая её, тратя силы, энергию, мощь, он получал дюжину новых проблем. И всё начиналось сызнова...

– Ты о чём, Загребенко? – мысль уколола: «Неужели знает о дочери?»

Не единожды Джемма кляла и презирала себя за то, что давно, семнадцатилетней, убоясь молвы и родителей, сделала – глупая была, но...

– Покумекай, о чём. Только я пошукаю и отыщу то, что потеряно тобой когда-то. Запомни, я...



Некоторое замешательство прочиталось на красивом лице. Казалось, полицейский знал её секрет, что было невозможно. Догадки и предположения смешались, побежали, напрягли мозг, воспоминания обострились: студенткой-первогодком театрального вуза, в комнате со старшекурсницами, жившими легко, гуляющими с ребятами, курившими и выпивающими, попала под их влияние, а в одну из ночей отдалась незнакомому парню, забеременела и оставила дитя в роддоме... Последние годы чаще и чаще сердце жгла мысль отыскать дочь. Джемма взяла себя в руки, не сомневаясь, что мужлан блефует, и твёрдо выговорила:

– Я сказала – нет.

– Это шо, може, из-за того чужака-плюгавика в соседней квартире, из-за кадра, которого я по стенке одной рукой размажу. Шо он тебе даст, як будет содержать, подумай! – Необъяснимо, как мысли участкового прыгнули к приезжому, не было сомнений, что тот слышит разговор, и это более разозлило. Всё в нём тотчас перевернулось, контроль над собой выпал, как бывало в тюрьме с несговорчивыми заключёнными, кровь бурным потоком ударила в голову, кулаки сами собой налились силой – безжалостная машина в человеческой оболочке набрала обороты и готова была уничтожить всё на пути. Брызжа слюной, он крикнул. – Ты... ты усю душу вымотала, подлюка!

Загребенко схватил Джемму за руку.

– Пусти, мне больно, – твёрдо сказала она.

Тут не выдержал Карагодин и вбежал.

– Оставьте её! – крикнул он сорвавшимся голосом.

Тонкий возглас пронзил кухню, отразившись многократно, зазвенел в ушах.

– А, хлюпик... Шо нужно, пшёл вон, мать твою! – Загребенко отступил к окну, глаза сузились, круглое лицо пылало. Он взбесился, свет померк, лишь неясным контуром виделся противник, не знающий, что



в гневе не было страшнее и сильнее существа, не владеющего собой, могущего искалечить, убить. И вдруг Загребенко странно полуприсел, смешно отключив зад, отчего брючная материя на ляжках натянулась, грозя треснуть, дрожащей рукой выдернул из кобуры пистолет и направил на Карагодина. – Оформлю нападение при исполнении, и мне ничё не буде, – ещё сильнее, брызжа слюной, заорал он, бешено вращая зенками. – Пристрелю, як собаку! – А внутренний голос подшепнул: вот и разрешение квартирной проблемки...

Карагодин онемел, между ним и полицейским было метра полтора, он не успеет даже шагнуть, руки потянулись к груди, будто закрываясь от пули, глаза вперились в чёрное жерло дула, противная дрожь взяла колени.

– Вы... Вы...– прошептали губы.

– Шо, наклал в штаны, ухажёр? – Гневное око участкового впилось в око чужака с дрожащими веками. – Клацну курком – и тебе копец.

Но тут вмешалась Джемма.

– Не смей! – Она стала между ними. – Иначе, иначе... разговора не будет ни о чём.

– Це дило, живи, чужак!.. Жду до завтра, крайний срок – вторник... – Он без спешки убрал пистолет, нагло улыбнулся, насмешка исказила злую морду с давящим шею несвежим воротником, пот капельками осыпал лоб. – И помни о тайне, девонька.

Оставив бумаги, он вывалился в прихожую и хлопнул за собой дверь. Джемма опустила на стул. Неужели, говоря о тайне, Загребенко имел в виду дочь, сбудется ли самое заветное желание, возможно ли такое? Тогда её шаг известен – быть с ним.

– Спасибо за участие... – Она помолчала грустно, после едва слышно проговорила. – Я всё-таки дрянь, так мне и надо, заслужила.

Отвернулась, глянула в окно. В коротком свете подъезда от дома тяжело шёл участковый, резко по-



перек, без дороги, по старой траве, мимо легковушек, песочницы, гнутых качелей. И походка, и дуга спины, и осевшие плечи, и шаг мощных ног говорили о недовольстве собой, этим миром, улицами, домами, городом, страной, будто искали, кому пожаловаться, к кому прислониться. Если б кто знал, что не было для него ничего гаже ночного обхода своего участка, но нарочно решил идти длинным путём, чтобы прохладный воздух умирающего дня заполнил его, обволок душу, облегчил. Загребенко двинул мимо мусорницы, вокруг которой валялись пакеты, свёртки, кульки, детали старой мебели, пивные банки, пнул первое попавшееся под ботинок – оказалась пластиковая бутылка из-под коктейля «Молотов» в форме ручной гранаты времён войны. В углу дома работал подпольный цех. То есть и вывеска и документы были в порядке, и в первой комнате сидели местные швеи, а дальше, за дверцей размером с окно, было самое главное: там работали китайцы-нелегалы. И за это хозяин – светливый, толстый, черноволосый – заносил ему каждый месяц пакет с плотно стянутыми купюрами. Участковый миновал ларёк, открытый круглосуточно, с выставленными холодильными камерами и овощными рядами, горел тусклый свет, но никого не было видно. И с этой точки он получал мзду. Почувствовал себя лучше и ходко, не обращая внимания на гастарбайтеров-азиатов в салатных робах, метущих асфальт, на байкеров с мотоциклетным ревом, на троицу выпивающих бомжей в беседке, двинулся к пункту, где стояла машина. Лишь мерцающий розовый огонь казино под вывеской букмекерской конторы в глубине квартала, где и случилось его денежное несчастье, заставил недовольно поморщиться. Он боялся встречи с неразговорчивыми, но скорыми на действие братками, но мысль, что на днях всё непременно разрешится, утешила. И стопа твёрже легла на асфальт.

**13**

Боязнь боязни рознь: одна парализует, влезает в плоть, в мозг, лишая всего человеческого почти что навсегда; другая, напротив, отходит, как болезнь, и забывается; третья делает субъекта злее, мстительнее, толкает унижить слабого, беззащитного.

Повисла тишина, молчание тянулось долго, точно серые тяжёлые облака в непогоду. За окном мерно щелкала какая-то птаха, дом засыпал, а город медленно погружался в темноту, словно тонущий лайнер в океанскую бездну. Карагодин не нарушал паузу, обычное состояние вернулось к нему, только нет-нет, да вставали перед глазами вороненое дуло, жирный палец мужлана в форме на спусковом крючке и неприятная змейка бежала вдоль позвоночника. Неужели только что он стоял перед смертью, и мог кончиться этот мир, и всё, что было на душе, в мыслях, в переживаниях, исчезло бы, растаяло, улетело куда-то. Говорят, у покойника незримым облачком возносится на небо душа, чтоб никогда не возвратиться. А всё кругом останется прежним: этот дом, город, страна, земля, будут вставать и уходить на запад солнце, сменяться времена года, щебетать птицы, журчать в реках вода и человечество, словно гигантский муравейник, копошиться, что-то делать, да не будет его жизни – единственной и неповторимой. Он поднялся, но Джемма мягким просительным жестом вернула на место и показала, чтобы наполнил рюмки. Жилка на её красивой шейке пульсировала как будто резче, грудь часто дышала, руки сложились и напряглись, как и десять минут назад. Виделось, что идёт какая-то непростая работа в мозгу, во всём организме, точно нелёгкий выбор раздирает прекрасное личико, прекрасное тело. Кажется, замри она с лёгким поворотом чудной головки, словно античная статуя, и в ней выкажется вся красота мира, а то двинет талией, плечами и проявит-



ся стать женщины – матери, хозяйки, жены. Карагодин и Джемма думали каждый о своём, каждый будто бы находился не здесь, но какая-то сила держала их вместе, точно говорила: доверьтесь друг дружке. Наконец Джемма тихо молвила:

– Ты зачем полюбила поэта за его золотые слова?.. Это стихи Юрия Кузнецова, нашего земляка, к сожалению, недавно ушедшего в другой мир... Люблю его.

Они без слов глотнули полуостывшего чая. Джемма задумалась, вспомнила, что это воскресенье пропустила, не навестила родителей. Появляясь дома, заставляла маму и отца за одним и тем же занятием – питьём чая, и всегда это действие протекало определённо и чинно, будто единственное, что составляло их существование, смысл их жизни: за тем же овальным дубовым столом с резными ножками, из того же, украшенного медалями, антикварного самовара, с тем же сервизом прозрачного на свет китайского фарфора, на тех же с годами устоявшихся местах: отец – справа у широкой части, мама – напротив входа в вершине овала. Отец – родом из Осетии, плотный, коротко стриженный, с тяжёлым взглядом исподлобья, всегда чисто выбритый, бывший военный лётчик, орденосец, любящий порядок и чёткость, занимавший когда-то важную должность в администрации города, выражающий мысли ясно, весомо, громко, точно выдавая команды. Мама – располневшая, опрятная, следящая за собой – массажи, бассейн, гимнастика, косметические маски – вроде в самолётной паре, ведомая, державшаяся в тени, словно в хвосте у мужа-ведущего, имела особый взгляд на вещи, поступала по-своему, как настоящая хозяйка дома. И непременно встречала дочь насторожённым взглядом слегка сощуренных глаз.

Джемма часто приходила на улицу своего детства и гуляла, не заходя в дом. Она любила витые заборчи-



ки на каменном фундаменте прошлого столетия, высокие тополя, разнокалиберные дома, чередующиеся старые дворы с тесными квартирками, верандочками, балкончиками, коридорчиками, укрытые от лишних глаз абрикосовыми, грушёвыми, вишнёвыми, черешневыми деревьями, и высотки последнего времени с детскими площадками, асфальтовым покрытием, стоянками авто. Бывало, отпирая железную калитку, озирая милый дворик с беседкой посередине, ступая на крепкую лестницу, ведущую к ним на второй этаж, слышала запах чая, видела уже лица родителей, и сердце начинало колотиться, а дыхание приходилось сдерживать.

Встречи их протекали одинаково: мама спешно чмокала в щеку, обдав запахом тех же духов, ждала, пока дочь вымоет руки, провожала к столу и усаживала на одно и то же место; сидела ровно, напряжённо, боясь молвить лишнее, как будто уроненное слово, точно разбитая чашка, нарушит церемонию, смешает, взорвёт терпеливое согласие. Разговор был заранее известен: мама осведомлялась, как дела в университете, отец, прихлёбывая чай и не глядя ни на кого, – нужна ли помощь. Ответы были одни и те же, поэтому никто ни на чём не задерживался, принимая тон, содержание, длительность беседы как само собой разумеющееся. Отец выпивал кряду три чашки, устраивался в старинном кресле, брал книгу по истории Кавказа и углублялся в чтение, казалось, забыв про всё; мама томилась, не зная, о чём ещё говорить, иногда сетовала, что младший сын, живущий в Питере, не пишет, иногда делилась дворовыми новостями, тревожно поглядывала в сторону супруга и молила бога, чтобы тот наконец простил дочь, сменил гнев на милость. Когда через время Джемма вставала, благодарила за чай, мать суетливо и, кажется, обрадовано, провожала, суя в прихожей пакет с заранее приготовленным гостин-



цем. Сухо чмокала в щеку и, не дожидаясь, пока спустится с лестницы, запиралась, будто пугалась, что за лишнюю минуту наедине с дочерью отчитает муж. А он запирался в кабинете, капал в стакан сердечное, широкой пухлой ладонью накрывал сердце и долго сидел у старинной карты, не видя гор, ущелий, долин, пытаясь разобраться, почему столько лет не отпускает обида, что любимое дитя ослушалось, уехав в столицу, и случилась беда...

Но тут в дверь позвонили, оба вздрогнули, глянули на часы – одиннадцать. Джемма поморщилась, по-детски вздёрнула плечиками и пошла открывать. Тотчас сделалось шумно, большая компания с выпивкой и едой объёмным потоком втекла в квартиру. Впереди с двумя бутылками шампанского и букетом дорогих роз выступал средних лет невысокий мужчина в ярко-жёлтом с блестящей ниткой пиджаке, с пышным блестящим шарфом, с высокой причёской светлых волос и в перламутровых очках. Он весь светился, словно лампочка-пятисотка, гладко уложенные волосики блестели, а одутловатые щёки и губы были яркие, точно покрашенные, от него пахло дорогими духами.

– Эттюк, режиссёр, – представился он. – А это моя банда: актёры, поэты, музыканты, критики. – Он слабо пожал руку Карагодину и тут же о нём забыл. – Колоссальный успех, Джемма Валерьевна. Галёрка стонала, тоцпервертоц, партер визжал, балкон грозил рухнуть, публика, как всегда, неистовствовала. Это фурор, нет, цунами, ураган, катаклизм. Вот это я понимаю! Жаль, жаль, что вы не с нами.

– Поздравляю, – сухо сказала Джемма и улыбнулась. – Проходите в зал, я переоденусь.

Компания бесцеремонно расположилась на полу вокруг журнального столика, где и выставила питьё и закуску. Эттюк верховодил. Пили за женщин, за автора пьесы, за забытые слова, за удачный экспромт,



за ссору помрежа с костюмершей из-за дырки в трико, за старых мастеров. Когда же произнесли тост за режиссёра, он по-особенному выпрямился, ярче засверкали пиджак, зелёный шарфик, цветные очки, жухлые волосики на нём вздыбились, словно кричали: ну вот он я – гений. Карагодину же он виделся большим попугаем, которого нахваливали, а тот повторял: попка – умница, попка – красавец, попка лучше всех. Сидящая рядом средней комплекции женщина с приятными чертами худого лица в пикантной шляпке-таблетке спросила игривым тоном:

– Вы смотрели наш спектакль «Король-шут», ну сегодняшний, крутой?..

У меня роль матери. – И протянула бокал чокнуться.

Он ответил, что не видел, но читал где-то рецензию.

– Кажется, – глухо продолжил он, – что-то не драматическое, скорее клоунада, цирк.

– Позвольте, ведь нужно понимать! Искусство многогранно, – заметил плечистый красивый актёр, игравший серого кардинала, вальяжно обернувшись в сторону Карагодина.

– Но писали, что вы то и дело бросаете стулья на пол, переворачиваете столы? Зачем?

– Да, зачем, не пойму? – вскочил с места невысокий с черно-седыми волосами мужчина, одетый кое-как. Глаза его сверкали, он бросал взгляды влево, вправо, вертел большой головой, кидая руки с растопыренными пальцами то к одному, то к другому, будто через них хотел получить ответ на вопрос.

– Юрик опять за своё. Ты, поэт, и не можешь этого понять...

– Я настолько глуп, старик? – маслянистые глаза его с красными прожилками чуть не вылезли из орбит.

– Нет, дорогой, – улыбаясь, ответил неторопливо Эттюк и, жеманно выгнув белую ладонку, пригладил волосики на висках, слегка откинув голову. Он вещал,



точно пророк, возвышавшийся над всеми, одаривал мыслями небрежно и снисходительно. Мимика и жесты: полуулыбка тонких губ, полёт холёных рук, нервность ноздрей крупного носа, казалось, способствовали утверждению его непогрешимости и исключительности. – В каждом из искусств есть свои законы: у вас, поэтов, – законы стихосложения, у художников – цвета, у музыкантов – гармонии, а на сцене – трагедии и комедии. Их нужно различать и принимать без обсуждения.

Писатель вздыбил пятернёй жёсткие волосы, резко бросил руки вниз, схватил бокал, налил полный и также резко опрокинул его в себя, крикнул, упал на колени, пробурчав, что всё равно не приемлет ничего этого. Когда-то он учился в политехе, был неуживчив и резок, сменил много мест работы и профессий, писал хорошие стихи и редактировал университетскую газету.

– Вы не в курсе современной драматургии, – заметил неспешно, но уверенно сидящий напротив мужчина – суховатый, со шкиперской бородкой и прищуренными глазами.

– Вот-вот, критик Пузырец знает, что говорит, тоц-первертоц. Он на этом собаку съел, вернее, теперь докторскую напишет обо мне и моём спектакле.

Критик довольно улыбнулся, благодарно прижал руку к груди и поднялся во весь рост.

– Если я встал, то буду петь, – он слегка с достоинством поклонился в сторону Джеммы и отступил на шаг. – Я вчетверть голоса, хорошо?.. Вика, – позвал он, и полноватая яркая блондинка с длинными волосами и большим ртом, сочиняющая на заказ песни к юбилеям, праздникам, любым торжествам, взяла гитару.

Поставленным баритоном он негромко пропел неаполитанскую песенку и, не дождавшись аплодисментов, чинно сел на место. Его любили. Пузырец никог-



да ни с кем не ссорился, напротив, мирил несогласных, давал умные советы, помогал молодёжи, ибо своих детей у него с женой – невысокой миловидной брюнеткой, появляющейся с ним только в театре, не было.

– А почему вот вы, мать короля, – обратившись к соседке, не унимался поэт, – то снимаете, то надеваете пальто поверх ночной рубашки? Это что-либо значит? – Поэт снова вскочил с места. – Растолкуйте мне, обалдую!

– Ну что ты, Юр, – мягко усадила на место поэта маленькая женщина с большими глазами и тонким носиком, сочиняющая женские романы с броскими названиями: «Беатриче из хутора Садового», «Марго и хакер» и др. Она опекала одинокого поэта, дарила ему всякие вещи, иногда убиралась в доме, терпя его буйный характер. Работая над творениями, так называла свои опусы – творениями и не меньше, прежде выпивала стакан холодной воды и обвязывала голову мокрым полотенцем, так якобы делал кто-то из великих писателей, чтобы лучше писалось.

– Ха, да в этом-то и вся соль! Я так вижу, господа! – со снисходительной улыбкой возгласил Эттук. – Это моё ноу хау...

– А по-русски нельзя? – визгливо вскрикнул Юрий. – Что за мода у вашего племени выпендриваться: ноу хау, креативность, амбивалентность, брутален, не формат. Чушь какая-то, чёрт вас подери! Тоже мне – носители культуры, язык родной забыли, стелетесь под Запад. Думаете, вы им нужны – хренушки! А выпячивание себя, любимого, – никакой скромности. Один называет передачу: «Мой модерн», другой – «Мой золотой шар», третий – «Моё бриллиантовое слово». И всё я, я, я, моё, моё... Вообще, давайте пить, нечего рассусоливать. Зачем припёрлись нежданно-негаданно? Джемма, прости.– И сам выпил и тут же заново наполнил бокал.



– Ничего... Неудобств нет. Что касается пьесы, то я Вите... Виктору Михайловичу говорила своё мнение.

– А акробатика? – снова взвился поэт. – Эти пируэты в воздухе, прыжки на пружинистых котурнах. Дерьмо собачье!.. У Чапека или Гашека, не помню, есть чудный, кстати, рассказик и как раз к месту. Так вот: сбили на улице женщину-пьянчужку, и в свидетелях оказался поэт. Никто не мог описать ни марку авто, ни номера, ни цвета. Поэт тоже, но позже вспомнил, что дома перед сном написал стихотворение. Стал читать в полиции. В нём были и коричневое небо, и лебединая шея, и грудь женщины, и барабан. В общем, белиберда, как выразился следователь. Но поэт включил образность и расшифровал вирши: коричневое – это цвет авто, лебединая шея – первая цифра номера – 2, вторая – 3 – похожа на женскую грудь, третья – 5 – на барабан и палочки. Он так видел, но подсознанием. Ваше же действие не поддается ни сознанию, ни подсознанию. Что значат манипуляции с пальто Светы, то есть матери, акробатические номера мальчиков в чёрном, бросание стульев и хождение на пружинных котурнах? Какая драматическая нагрузка, голуби вы мои сизокрылые, в чём соль? А мысль-то примитивная – нами правят шуты.

– Это круто – авангард, – промолвил твёрдо критик Пузырец.

– Что авангард? – спросил нервно Карагодин. – Ромео на байке с мобильником? Отелло подъезжает к Дездемоне на роликах и душит её шнуром от электроплитки? До такого додуматься! Бред сивой кобылы!

– Бывает, – снисходительно ответил Эттук и сверкнул очками. – Не обращайтесь внимания, Юрик свет Иваныч – любитель крайностей... Да, есть архиважное известие, между прочим, и для вас, Джемма Валерьевна. – Он значительно вытянул из кармана жёлтого пиджака бумагу, развернул неторопливо и прочитал. – Приказ



министра культуры: Эттюк В.М. назначается в московский театр «Буф» главным режиссером с условием набора труппы самостоятельно. Подпись, дата. То есть, полная свобода, господа! Ништяк, тоц-первертоц?

– Ура! – закричали многие и стали обниматься. – Свершилось, это – бомба! Выпьем!

Юрик поморщился и опрокинул очередную рюмку, пробурчав: «Полный копец!», Карагодин молчал, критик погладил бородку, значительно молвив: «Я этого ждал», музыкантша пробренчала на гитаре «туш» и со словами «Дайте мне текст, я сочиню гениальную заздравную!» теребила то поэта, то писательницу. Женщина-мать, выпив водки, поцеловала мокрыми губами Карагодина в щеку, шепнув: «Шалунишка ты этакий», Джемма задумалась.

– Всё, господа, возвращается на круги своя в этом подлунном мире, – философски, с небрежной улыбкой проговорил Эттюк, покачал массивной головой, манерно двумя пальцами вытер уголки рта и воздел руку с гладкой белой ладонью к потолку, словно обращаясь к Богу. – Из Москвы меня вынудили уехать десять лет тому, нынче, извольте, зовут обратно. Так, право, случается – отвергают, а после жалеют. Се ля ви!.. Для некоторых урок. Ну а вы, Джемма Валерьевна, надеюсь, с нами?

– С нами, с нами! – подхватили молодые актёры, мол, что тут думать. – Лучшей матери-героини нет!..

14

Всё смешалось: пили, галдели, вскакивали и падали обратно. Молодой парень с рыжими волосами, ноздреватым носом, озорным лицом жиги, выверта, повесы, изгибаясь, точно акробат, пустился в брейк-дансе вокруг худенькой барышни с пышным бюстом, вскинувшей руки, будто хотела сплясать цыганочку; поэт хватил очередную порцию спиртного,



взрыхлил шевелюру и рухнул в кресло; полноватая, с красивым неулыбчивым лицом, лет тридцати-тридцати пяти женщина на несколько секунд впиалась красивыми глазами в режиссёра, словно желала перехватить его взгляд, взять внимание, как будто какая-то тайна связывала их. Но не дождалась и уронила бокал, критик, огладив бородку, выпрямившись во весь рост, взметнув руку с вином над собой, сухим голосом, монотонно, лишь в конце строки усиливая тембр, принялся декламировать возвышенный, словно ода, текст. Карагодин переместился к окну, не отрывая взгляда от Джеммы. Она пылала лицом, но в глазах стоял туман растерянности и грусти. Известие ударило её неожиданной волной, достало до дна души, лишило спокойствия. И полетели, накатились думы, обгоняя одна другую, точно ласточки в любовном беге. Казалось, всё, о чём думала ещё первокурсницей театрального вуза, уехав без отцовского благословения, чем грезила в детстве, устраивая спектакли, играя сценки, читая стихи, выступая на школьных смотрах, фестивалях и не сомневавшаяся, что будет актрисой, всплыло выпукло, дерзко, настойчиво. Так мощно, разом приходит яркая весна, с особым запахом, тоном, силой и загадкой: что впереди. Вот её время, её птица счастья, лишь только протяни руку и ухвати! Сладко забилося сердце.

Карагодин допил бокал. Отчего-то перехватило дыхание, сделалось душно, рубаха сжимала шею, рукава – запястья. Он расстегнул их, ещё одну пуговицу ворота, задышал полной грудью. Он видел как будто иную женщину в свободной кофте, в брючках, со слегка спутавшимися волосами, изменившуюся и оттого ставшую ещё красивей. Но чудилось, холодом веяло от милого, ещё несколько минут назад казавшегося близким, образа. Он проследил, как режиссёр взял хозяйку под руку и, сильно пригнувшись к ней, увёл на кухню. Это было



почему-то неприятно, и когда за ними плотно затворилась дверь, Карагодин ушёл к себе.

– Едем, Джемма, – тепло сказал Эттюк, взяв её ладони в свои. Заглянул в глаза. – Будешь прямой... – Наступила пауза. Он нарочно выждал время для главного, что сложилось в голове ещё по дороге сюда, и выстроил мизансцену точно: перебив дыхания, поклон головы, мягкое пожатие рук. Интонация и этот взгляд были пригнаны тютелька в тютельку с текстом, связаны, переплелись, как любил он, рождая едва уловимые полутона, полусцепки, получерты. И последовал ещё ход, он вроде как советовался с другом-единомышленником. – Душа моя, есть задумка ... – понизил голос, откинул голову, не отпуская её рук, прищурил глазки. – Булгаков. Ты – Маргарита. Это будет фурор!

– Так неожиданно. Не поздно ли?

– Ерунда. Нет и ещё раз нет! – Он усилил голос, чувствуя, что заготовка начинает срабатывать; уже охотничий азарт, жажда всегдашней победы, не знающий отказа и отторжения, забирал его больше и больше. Существо его вострепетало, сердце мигом отозвалось, и весь организм заработал слаженно, точно на генеральной репетиции. Включился тот бешеный реактор, что вырабатывал энергию, заряжая окружающих, передавая его мысли, его команды, подчиняя мастеру. Только бы ничто не помешало, не сбило этого ещё зыбкого переломного настроения. Всё разом приобрело странно-перламутровый, дрожащий свет, даже там, где по природе должна быть глубокая тень, воздух зримо колебался. Он видел его токи, они летали меж актёрами, обвивали, словно переносили его, мастера, мысли и подсказывали, как играть. И рождался особый запах, будто кругом разбросаны мягкие головки дивных роз. Он, не чувствуя пола, идёт по ним, поднимаясь легко, выше и выше, к колосникам, к чердаку и дальше парит. – Что может быть прекраснее крутых



поворотов, порывов безрассудства и бесшабашности, тоц-первертоц!.. Это твой шанс, Джемочка, поверь.

Она сжала губы в нерешительности, слегка нахмурилась. Но тут к ним ввалился опьяневший писатель с водкой, предлагая выпить. В ответ ему было молчание. Тогда Юрик выпил сам и стал говорить Джемме, чтобы не верила поэтам, музыкантам, актёрам, а тем паче режиссёрам. Эттюк молча схватил его за грудки и вытолкнул из кухни.

– Только так принимаются судьбоносные решения, – отдышавшись, проговорил он. – Я так сбежал из столицы, так попал на Урал, в Сибирь, после сюда, думал, на один спектакль, а оказалось на два года. Но счастлив, что встретил тебя, Джемма. Ты – прирождённая актриса, не пожалеешь.

– Любовь режиссера переменчива... – она покрутила на пальце карагодинский перстенёк.

– Сказки! Посмотри вокруг: Александров и Орлова, Чурикова и Панфилов, Меньшов и Алентова – масса примеров. Подумай, жду всегда... Ты, увы, зарываешь свой талант, как это ни банально звучит.

Дверь с той стороны приоткрылась, но режиссёр вновь плотно затворил её. Послышались суета, возня в прихожей – писателя выпихнули из квартиры. На улице он кричал, что все сволочи. Затем всунулся в качельную люльку и умолк, а подле стояла покорно маленькая сочинительница сентиментальных романов с большими печальными глазами и тонким носиком.

– Ты делаешь мне предложение, предложение руки и сердца? – неторопливо, взвешивая каждое слово, задала вопрос Джемма.

– Да, Джемочка, да!.. Но приму любой ответ, знай. – Эттюк приобнял её, она не отстранилась. И спокойно продолжил, открыв последнюю карту – будущее. – Ну останешься в университетике вечным старшим преподавателем, тихо уйдёшь на пенсию, сядешь вахтё-



ром и будешь ненавидеть всех и вся, а в первую голову себя за то, что спасовала. Бр-р!.. Ведь не защитишься, покуда не ляжешь в постель к руководителю!

– Обрисовал, нечего сказать. А в Москве должна лечь в твою постель, да?

– Да, но официально. Впрочем, как пожелаешь... Дорогая, говорю одной тебе, журналюги за мою историю отдали бы многое. Тысячу раз я взлетал и падал, меня били, больно били, но терпел, сцепив зубы, унижался и злорадствовал, наглел, хамил, подличал, но всегда знал, что вырвусь и стану великим. Помогало чутьё, мой нос – как говорят немцы, ланге назе. А иначе и жить не стоит, тоц-первертоц!

Видно было, что слова шли от сердца, лишь тон некоторых ещё смахивал на театральность, но и они были правдивы как никогда. Он сам удивлялся, что разговорился. Теперь, забыв прежнюю жизнь и видя лишь что впереди, в мозгу уже шевелились думы и начинал вызревать новый, молодой, словно хрупкий побег, спектакль. Его второй, и третий, и десятый план уже складывались на заднем дворе мозга, выстраиваясь чётко и определённо, будто макеты театрального художника. Всегдашняя сладкая, точно объятия женщины, дрожь забирала его. Эттюк от счастья прикрыл веки.

– А как примут это другие?

– Плевать на других, тоц-первертоц!.. За что уважать олуха-красавца серого кардинала, Василия, который не в силах запомнить текст и его приходится писать на реквизите? За что уважать мать короля Светку-истеричку, самку, тянущую в койку всякого, кто в штанах? Человек двуличен – это аксиома... Я шёл по головам. Я – паук, пьющий кровь у актёров, использованных отбрасывал. Я эгоист, диктатор по замашкам, ибо демократия губит как в театре, так и в стране. По-другому невозможно. – Он продолжал уже не так настойчиво, прикладывая воображение и слегка,



как всегда, приукрашивая детали. Делалось это мастерски: внутри жил и актёр, и сценарист, и композитор, и психолог, и драматург – талант есть талант...

...Едва Эттюк появился в столице, как о нём заговорил бомонд: дерзок, тщеславен, незаурядная личность, ищет себя. Пробовал всё: газета, реклама, юморески, осветитель на телестудии, учился в Шукинском, мечтал о славе, перевёлся на факультет журналистики, бросил, посчитав, что нынешнее образование убивает творческое начало в нём, кропал острые фельетоны, играл в пьесках. Режиссёров привлекала фактура: красив, строен, высок. Но не уживался, давали роли в массовке и однажды, назло, вместо двух слов текста запел «Интернационал». Выгнали, жизнь бурлила, искал острых ощущений, пёк, как блины, сценарии к рекламным роликам, отрастил бороду, покоряться никому не стал, пробовал медитировать.

– Я солгал, прости. Никто меня из Москвы не гнал, сам уехал, была причина.

– Женщина? – спросила Джемма.

Эттюк кивнул, нервно закурил, закурила и Джемма. Почувствовав вдруг в себе что-то новое, как будто преобразилась вмиг: сменились одежда, мысли, жесты. Она смотрела на высокого красивого мужчину в модном ярком костюме спокойно и властно, ощущая его силу. Каждое слово было главным, весомым и нужным, словно последняя высшая фраза гениального спектакля. Джемма плавным движением поправила волосы, стала вольнее.

– Суди меня, как хочешь, но было так... – тихо и покорно, будто виноватый, заговорил режиссёр. – Одно время я увлёкся дзен-буддизмом, познакомился с большеглазой щуплой девушкой, которая, не знаю почему, выбрала меня в Учителя. Пил только французский коньяк, на телешоу любил стравливать людей, один из них во время передачи получил инфаркт,



меня уволили. Строил из себя героя, шёл наперекор общему мнению, твердил, что ТВ закостенело и примитивно. А та неброская тихая девушка писала диссертацию, подчиняясь мне полностью, и вскоре надоела. Она искала встречи, звонила, писала, не отвечал. И как-то случайно встретились. Она спросила, что ей делать, ведь если Учитель отвергает Ученика, тот должен исчезнуть. «Тогда исчезни», – бросил я резко и ушёл... Опять передачи на ТВ, стал популярен. А через полгода вызвали в прокуратуру: та девушка умерла, но не в аварии, не в катастрофе, а от голода, пролежав в квартире больше месяца одна. В дневнике были записи о наших отношениях, о её поиске, о последних часах, обращение ко мне, к Учителю, уже в бреде, в кошмаре, мучимая голодом, сходящая с ума...

Он схватил бутылку, оставленную поэтом, стал пить из горлышка, пока не опустошил. И продолжил дальше о том, что тогда в кои веки крепко надрался, но жизнь не остановилась, девушка забылась, стал медийным лицом, в шоу любимые сюжеты – кровь, политдраки, закулисная жизнь бомонда; мастерски заводил аудиторию, строил дачу в Подмоскovie, спал с кем попало, давал интервью гламурным журналам, рейтинги зашкаливали. Но многие отмечали непрофессионализм, дурновкусицу, провинциальность. И вдруг история с той девушкой получила огласку – враги постарались. От него отвернулись, пришлось уехать в областной театр. А там как раз сбежал режиссёр, взялся он, и получилось...

– Ты, Джемма, очень похожа на ту девушку, позволь сделать тебя счастливой. Я же не машина, не автомат, имею, как у всех, вот здесь, – он коснулся левой стороны груди. – Оно меня за то не прощает. Всё в жизни имеет цену, за всё нужно платить. Только одни расплачиваются деньгами, другие – сердцем, тоц-первертоц...



Эттюк стоял понуро, после закрыл лицо ладонями, потёр его, тряхнул головой так, что развалилась причёска. И не поправил, а вдумчиво поглядел на Джемму.

– Вот так, Джемма, – тихо молвил он. – Вот так.

В ней проснулось что-то тёплое, твёрдость и строгость вмиг пропали, неведомая сила потянула к нему. Джемма мягко взяла его за руку, придвинулась лицом к лицу.

– Открою секрет, Витя: твои мужчины здесь, на кухне, в том числе и Юрик, и критик-бородач, и архитектор, не раз признавались в любви, предлагали стать их женой или любовницей. Даже истеричка Света...

– Что? – Он отстранился. – Что, тоц-первертоц? Лесбиянок мне только не хватало. Уволю к чёрту! И так болтают, что в труппе все друг с другом напропалую спят. Ну, идиотка! Прости, Джемма, сорвался. Не зря говорят: лучше иметь во врагах умного, чем в друзьях дурака!

– Ничего, Вить, я понимаю. Спасибо за откровенность, тебе нужно было выговориться. Я отвечу, очень скоро. – Она легко поцеловала его в щеку. – Вернёмся, неудобно.

– Всё, банда, пора, – громко скомандовал Эттюк, появившись в зале. – Занавес!.. – И в голосе его звучали нотки удовлетворения и спокойствия.

15

Жизнь складывается из множества печальных и радостных событий. И человек над ними не властен, ибо судьба писана, как говорят, на лбу каждого явившегося на свет.

Размышляя над последними днями, Карагодин ходил туда-сюда от двери до окна. На душе было беспокойно: от усталости ли, от непривычки к новому жилищу, то ли в предчувствии каких-то важных дел. Кажалось, ещё один чёрный посыл серого вещества, ещё полчетверть тяжёлой мыслишки – и его, будто от бом-



бового удара, разнесёт на части. Мелькнуло в голове, что вот так, в одиночестве, как баба Ньюра, может окончить свои дни в этой незнакомой комнате с фотографиями и картинами на стенах, с незнакомой мебелью и запахами. От неприятного холодка в спине он поёжился. Обычным способом, чтобы снять напряжение, с силой прошёлся растопыренной пятернёй по голове, потянул за волосы до боли. Не пришло на ум пойти в ванную, переодеться ко сну, разобрать постель. Непонимающе остановился, словно соображая, зачем здесь. «Всё не по душе, не по уму, плохо, – подумалось ему. И подстегнул себя. – Не распускать нюни, сесть за работу, всё образуется». Он сжал зубы, взнуздывая организм, как бывало в чёрные минуты, отгоняя худые мысли. Теперь озадачил стол. Он окинул его придирчивым взглядом, задержался на инструментах, на полках бюро с баночками, коробочками и прочим, будто не понимая, что делать и зачем всё это. Взялся за спинку стула, словно намереваясь сесть. Но вдруг сделалось тихо, пропали голоса за стеной – гости, по-видимому, разошлись. Поймал себя на мысли, что желал этого. И разрешились думы, собралось тело, облегчилась душа, точно здесь и был выход из тупика. Он, лишь секунду поколебавшись, чувствуя сердце, выступил на балкон. И увидел Джемму, будто поджидавшую его.

– Дверь... – тихо молвила она и скрылась.

Карагодин дрожащими руками быстро раскинул диван, выключил свет и ринулся открывать. Объятия Джеммы были горячими, губы упругими, тело податливым и нежным. Когда всё кончилось, они лежали без слов и курили.

– Невежливо уйти, не попрощавшись... Тебе неприятен Эттюк, но там, на кухне, представь, случилось один к одному то же, что и с полицейским, – зовёт с собой. И нужно решать, – прошептала она, водя пальцем по его подбородку, губам, шее. – Нужно решать,



тоц-первертоц... Жизнь идёт. Ладно, проехали. Завтра я покажу тебе город.

Она принялась рассказывать о своём детстве, о том, что часто снится двор, отчего-то всегда в светлый, в солнечный день, беседка, где играла в куклы с подружкой Таней, мамины ласки и скупые отцовские. Из школы её всегда встречал мальчик – сосед на велосипеде, красивый, статный. Он сажал на раму и катал, а его друг Гена, обгоревший в детстве, с обезображенным лицом, стеснявшийся выходить на улицу, смотрел на них из-за забора. Сперва боялась его. Гена же писал записки, открытки к праздникам и ко дню рождения, раскидывал по их лестнице цветы, был влюблён в неё. А она не любила в ответ и не могла полюбить никогда, а при встречах насмеялась, зло шутила. И теперь жалеет...

Джемма тихо приподнялась.

– С Таней почти не вижусь – трое детей, муж, заботы, с хозяином велосипеда рассорилась, любовь прошла, как прошло детство. Лишь Гена писал и писал свои открытки, – продолжила она. – И рассыпал цветы ко дню рождения...

– И сейчас?

– Увы, нет. – Она вздохнула. – Умер Гена...

– Жаль...

Молчали, свет из окна бросал тени на стену, было тихо. Показалось, кто-то тяжело прошёл по лестнице, стукнула квартирная железная дверь.

– Знаешь, – негромко заговорил Карагодин, – я сегодня в детдоме встретил мальчика-сироту с чёрными, как уголь, глазами... Просился ко мне.

– Ну и? – Джемма замерла.

– Это... не просто... Глазёнки его всё время передо мной.

Мысль Джеммы перекинулась к прошлому, слёзы навернулись на глаза. Она резко отвернулась, вытёрла лицо, как можно спокойнее спросила:



– А жена что скажет?..
– Не думал, – помедлив, глухо ответил Карагодин.
– Я бы взяла...– с волнением, почти шёпотом произнесла она и через минуту спросила. – Она красивая?
– Кто? – отозвался Карагодин.
– Твоя жена.
– Конечно...
– Хочешь остаться со мной? – не глядя на него, спросила Джемма.

– Нет, – тотчас, как будто ожидал этого вопроса, ответил Карагодин.

– Всё правильно, – молвила Джемма и резко встала.

В свете окна она была красива, точно статуя древнегреческой богини: неторопливо оделась, провела ладошкой по ребру Высокой полки на уровне глаз и исчезла. Карагодин закурил новую сигаретку. Только что он обладал красивым телом, ласкал его, как мальчишка, впервые испытывавший любовную близость, чувствовал мягкие руки, жар губ, но сердечного трепета не испытал. И горчинка в уголке души томила... Гравёр прошёлся по комнате. У Высокой полки почуял запах точь-в-точь духов прекрасной соседки, шедший от четвёртой снизу полки с фигурным зеркальцем, кремами, тюбиками, баночками, флакончиками, пузырьёчками. Он равнодушно провёл ладонью по лакированному ребру, как пять минут назад Джемма.

...Высокая полка, пересыщенная книгами, задумывалась детским поэтом Леонидом на всю стену. Однако книг было ещё мало, и он усёк её до третьей части, а из остатков смастерил бюро к рабочему столу, на кухне – горку для посуды и несколько полочек в ванную и прихожую. В одну ночь вместе с Филиппом Павловичем тщательно огладили, ошкурили и вскрыли лаком пахучие бока и неширокие, по размеру книги рёбра, отчего в комнате сделалось как будто светлее. Когда Джемма стала его любовницей, Леонид ос-



вободил для её женских принадлежностей одну полку. Поэт был тучным, неуклюжим, неопрятным, писал стишки про котёнка с мячиком, про детей, заплутавших в лесу, про дружбу дворняги и кролика, казалось, вовсе не отвечающие его характеру. Был обидчив, ревнив, ссорился по пустякам и всё кругом ему не так: редакторы – тупицы и самодуры, друзья-писатели – бездари и подхалимы, народ – безкультурный и пьяный сброд, а страна – территория дураков и плохих дорог. Посему и отбыл на историческую родину без сожаления и угрызения совести.

Бывая в ссоре с Джеммой, поэт приводил других женщин. Но запах её духов, как назло, глубоко проникший между книгами, въевшийся в сучки, в лак, в трещинки текстуры, разлился по телу Высокой полки. И перебить его не было никакой возможности. Этот запах стоял всюду и дурманил, сводил с ума. Тогда он звал Джемму, падал в ноги, умолял вернуться, плакал. И она, жалея, прощала... Временами поэт впадал в запой, неделями не покидая своего логова, разговаривал с мебелью, как с живыми существами. Обыкновенно начинал с шифоньера. «Ну что, щекастый, вишнёво-створчатый, объёмно-приземистый, а?.. Молчишь, ясно.– И переводил пьяный взгляд от шифоньера то к дивану, то к столу, то к полкам. – Видите ли, не находит нужным. Конечно, где нам: нос не дорос, рылом не вышел, воспитан по-иному. Тебе по нраву согласие, покой, благородство, любовь? Ведь так?.. Гульки, пьянки, увёртки, хитрость претят. А мне плевать, чхать я хотел, бельмо на глазу!.. – Он начинал бить в створки, пинать ногой, после бессильно падал на колени. – Тупое, безмозглое существо адресом фабрики, номером цеха, бригады, как тавро. И будешь нести его, покуда не развалишься. Ха-ха-ха!..»

Карагодин прилёт на диван, вспомнил чёрноглазого мальчонку в детдоме, поворот его головки с не-



послушным вихром волос, царапнувшие душу слова: «Дяденька, будь моим папой...» и задумался. С Галей они мечтали о первенце-мальчике, но родилась девочка, и сожалений не было. Он прошёл на кухню, заварил крепкого чая. Спать не хотелось, смотрел в окно, думал о себе, о Гале. Мысль, что Джемма бывала в этой комнате, уколола, но держаться её не пожелал. Чай немного успокоил, сел за стол, неторопливо достал камео и приготовился к работе. Но прежде, по привычке, как талисман, взял в руки нэцке – японского божка Ибису – покровителя рыболовов и торговцев, бога удачи и трудолюбия – хитрована-старичка с улыбающейся мордашкой, с большой рыбой тай под мышкой, с веером в правой руке, закрывающим ухо. Огранщик так и не разгадал, что значит манёвр с веером – преграда от чужой болтовни или обычная принадлежность японца. Божок вернул думы к прежней жизни, к дочери, к Гале...

Джемма и всплеск сегодняшних эмоций принялся Карагодиным именно как случайный, приятный и ничего более. Разум и опыт всё расставили по местам. Погладив божка, огранщик вернул фигурку на место и, по-доброму улыбнувшись, подмигнул ему.

16

Когда Загребенко миновал последний светофор в двух кварталах от своего жилища, ему позвонили. Как всегда грубо, низким голосом рявкнули в трубку, что срок платежа сокращён до завтра, и если долг не будет погашен, с ним «разберутся». Вся полицейская туша от носков тувель до козырька фуражки вострепетала, мозг работал трудно, напряжённо, словно там, внутри ворочались змеи, шипели, мешали думать, и нужно было лишь, чтобы не ужалили. Он завертел массивной головой, сдёрнул с неё убор, чуть не сорвал пуговицы рубахи. Казалось, удар вот-вот хватит его,



свет померк в глазах, но ненадолго. Огляделся с опаской, сжавшись, как будто уже окружили те, готовые расправиться с ним, но улицы были безлюдны: семафорили огни на мачтах, мчались, повизгивая на выражах, редкие машины, мелькала реклама, город спал, точно уставший от дневных забот человек. Казалось странным, что в этом покое, ночной неге Земли-матушки, где её красота слилась с красотой неба и мир прекрасен, как свежий раскрывшийся цветок, существует зло, есть люди, звонящие и угрожающие, забывшие, что человек сотворён Богом для радости и счастья.

Ехать было невозможно, он резко сдавил тормозной рычаг, прикрыл глаза, и тяжёлая голова уткнулась в руль, будто на него разом лёг непосильный груз. Ах, случилось бы чудо: разомкни веки, и окажется, что во сне привиделись и долг, и угрозы, и боль сердца, и душевный ступор, и тогда поменял бы жизнь и зажил по-иному! Но мозг не спал. Тотчас, уверовав, что с этой минуты за ним будут следить, позвонил жене, чтобы собрала самоеценное и отнесла через потайную калитку к подруге. Зорко глядяваясь в дорогу, в обочину, в съезды к домам, доехал на малой скорости до угла, вмиг цепко схватил глазами угрюмый чёрный «джип» напротив своих ворот, резко вильнул и стал в тени развесистого дерева. «Значит, слежка уже реальна, капкан сработал», – мелькнуло в голове. Испарина осыпала крутой низкий лоб, губы высохли, и, как зверь, мужлан оцетинился, окаменел холкой, готовый к последнему смертельному броску. Было тесно и душно, приоткрыл дверцу, хлебнул воздуха полной грудью, успокаиваясь. «Шалишь, так просто меня не возьмёшь», – скрипнув зубами, подумал Загребенко, потёр горячее лицо.

Нервная дрожь начинала забирать, вести авто в таком раздрае, в прыгающих нервах, с большим созна-



нием было небезопасно, а что предпринять, не знал. «Решай, кумекай, ищи выход», – заметалось в мозгу и, как обыкновенно, в редкие, пиковые моменты закусил кулак до боли. Имеющейся наличности не хватало. И вроде спасительного канатика, зацепки пришла мысль о старике-председателе с его сейфом. Полицейский достал уложенный женой термос, выпил полную чашку горячего напитка, чуть взбодрился. Пришли думы о жене – тихой, спокойной, заботливой и почти бессловесной землячке, никогда не перечившей и, кажется, утерявшей интерес к жизни. Сердце сжалось – одно горе принёс ей. Ибо знала о его любовных связях и делишках: об отъёме и продаже квартир, о поборах с цеховиков и частников, о рулетке, картах, тотализаторе, долгах, о Джемме и ещё о многом-многом другом. Знала, а молчала – ни недовольства, ни упреков, ни сцен, точно неведомо ей самолюбие, страсть, обида, женская месть. Он же никогда не задавался целью понять, что у этой когда-то быстрой и весёлой певушки и заводилы сельских посиделок Оксанки, а теперь грузной неопрятной женщины, так и не познавшей радость материнства, в душе, в мыслях, на сердце. «Господи, что же даёт ей силы: терпение, любовь, привычка или жалость?» Давно уже не сидели они перед сном, как бывало, на лавочке у дома, не обнимались и не целовались, забыв ход времени, и даже не говорили по душам...

Участковый нахмурился, отринув воспоминания. Думка, что вывернется, обманет, обведёт вокруг пальца этих бритоголовых горилл, хамов, быдло, смягчила душу, вернула уверенность. Он усмехнулся презрительно, как делал всегда по отношению к слабым, но вышло натужно и криво, ибо слабым теперь виделся он сам – Загребенко Фёдор Прокофьевич, когда-то хлопчик с чистыми глазами и мыслями, а здесь – матёрый служака, безжалостный, наглый, загнан-



ный в угол себе подобными особями. Он плавно включил мотор, медленно развернулся и покатил обратно, привычно управляя машиной. Всплыл ход: поводить за нос, погасить часть долга, половину или чуть больше, чтобы успокоить братков, а там «смыться» один или с Джеммой, теперь разницы не было – своя рубашка к телу ближе. Главное – исчезнуть. Таков вырисовывался план. У высотки, какую недавно рассерженный покинул, было тихо. Окна Джеммы не светились, председателя – тоже. Участковый осмотрелся – микрорайон спал.

Не обратив внимания на парочку у качелей – то ли пьяниц, то ли бомжей, твёрдой поступью устремился в тёмный подъезд, энергично взошёл на третий этаж, надавил кнопку звонка квартиры сорок два. Филипп Павлович долго не отпирал, уходил и возвращался, возился с запорами, а когда открыл, полицейский вмиг прижал старое тело в пижаме к стене.

– Ну, дед, пришёл твой черёд. Гони гроши. Мне нужны усе!

– Ты что, сдурел, мент?..

– Я тебе покажу «мент», образина. Долг на мне. Ключи от сейфа, швыдче! – приказал он и стал грубо обыскивать.

Не найдя связку, ринулся в спальню, схватил жену председателя за мягкое горло, затряс не сильно, больше для острастки. Та лишь мычала, не сопротивляясь.

– Не трожь больную, прошу, – тихо проговорил старик.

– Задушу, если не дашь, чуешь? – Загребенко в волнении переходил с русского на украинский язык. Но вдруг заметил: женщина перестала мычать, глаза остановились, тело обмякло.

– Кажи, где ключ? – оставив женщину, прошипел он, сгрёб старика и стукнул головой о бок платяного шкафа. – Прикончу, сука!..



– Под, под... – пролепетал Филипп Павлович.

Битюг в погонах нагло усмехнулся, с остервенением выдернул из-под женщины подушку, ухватил прохладную отмычку с фигурной головкой, заспешил к металлическому ящичку. Старик, переведя дух, добрался до кровати. Нина Степановна лежала недвижимо, как мёртвая; приложил ухо к груди, взял безвольную руку – пульса не было. Кровь ударила в виски. Собрав все силы, он двинулся на кухню. Полицейский, разложив на столе деньги и сберкнижки, подсчитывал сумму, шевеля толстыми губами.

– Утром сымешь в банке до рубля, кумекаю, хватит... – уронил он, не отвлекаясь.

Филипп просунул руку в сейф, нащупал пистолет. И когда мужлан в форме обернулся, твёрдо нажал на спуск. Загребенко рухнул. Старик перешагнул большое тело, вернулся обратно, стал тормозить жену, слушать сердце, но напрасно. Слабой рукой набрал телефон друга Василия и бессильно упал в кресло. Но тут в дверь позвонили. Он вздрогнул, кое-как доплёлся до прихожей. В глазок увидел нового соседа и дрожащей рукой отпёр замок.

– Я собирался к вам, беда, – прошептал Филипп Павлович.

– Мне послышался выстрел...

– Да...да, это я. Вон, – показал он слабым жестом в сторону кухни. – Он... он душил её. Я не стерпел. – И прошаркал в спальню, Карагодин – за ним.

– Надо «скорую» вызвать, – проговорил огранщик.

– Поздно. Сердце отказало. Пульса нет, и ноги... холодеют. Я вызвал Василия.

Товарищ прибыл скоро.

– Значит, так, без суеты, – сказал он, уяснив суть дела, смыл кровь на полу, тщательно obtёр оружие и вместе с телефоном, гильзой, плотно упаковав в пакет, спустил в мусоропровод.



Вернувшись, сказал, что вокруг тихо и теперь главное – вывезти труп и не оставить следов.

– Признаюсь... – пробовал вставить слово Филипп. – Я с ним в связке...

– Дурак. Поздно каяться, пень однозубый. Ведь предупреждал! Поганец Загребенко получил то, что заслужил, больно насолил людям. Карающий меч правосудия, значит. Вперёд.

В час дело было слажено: порядок наведён, труп погружен в багажник «Волги» журналиста и вывезен на край дачного посёлка, деньги и сберкнижки Василий унёс. Похороны Нины Степановны прошли, как и положено, на третий день. Филипп Павлович почти не спал ночами: то вспоминал детство в тёткином доме, молодость, Нину, погранслужбу, работу в тюрьме, а то злобная морда Загребенко лезла в глаза и всплывали в памяти лица тех, у кого обманом захватили и продали квартиры. Тогда рвался идти в полицию, но друг осаживал.

Тем временем жена участкового заявила об исчезновении мужа, сообщила о последнем звонке в пятницу с приказом унести самое ценное к соседям, а через три дня обнаружили тело. И однажды утром к председателю явился быстрый, востроносый, крепкий, с цепким взглядом, только что после вуза, аккуратный причёсанный, всё подробно записывающий, басовитый говорящий следователь. Это было первое дело лейтенанта, прошедшего с ним в кухне съёмной квартиры полночи, к неудовольствию молодой жены Марины. Вскрылось, что Загребенко и председатель в одно время служили в СИЗО, но после смерти заключённого первого отправили в участковые, второго – на пенсию. Нашлись и свидетели, видевшие, как полицейский в ту ночь входил в подъезд дома. Парень изрядно усердствовал, снова и снова, буднично чувствуя, что разгадка в хозяине сорок второй, сыпал вопроса-



ми, но получал лишь ничего не значащие ответы. Он вглядывался в небритое одутловатое лицо, в бесцветные глаза, в жилистые со старческими пятнами руки, и ещё зыбкое, точно у начинающего ясновидца, чутьё шептало: тот что-то скрывает. Он мягко водил ладонью от макушки ко лбу любимым жестом, словно так желал выровнять заплетающиеся мысли. В школьную пору, когда не ладилось с уроками, мама, жалея, также легонько гладила по головке, приговаривая, что справится. И помогало. Следователь зевнул – сказалась бессонная ночь. Заспанное лицо жены, крепкое, манящее к любви тело заслонили образ подозреваемого номер один, как про себя объявил старика. Повторив, что участковый, по всему, был в доме, твёрдо спросил:

– Этот факт что-нибудь говорит, вы об этом знали?

Филипп Павлович держался, как мог. Но внутренний голос подсказывал, что этот дотошный хваткий аккуратист в новеньком с блестящими, вроде золотых, погонами, носом землю будет пахать, перевернёт вверх дном не то что район, весь город, проймёт его до печёнки, сдохнет, а возьмёт своё. И тогда... он не хотел думать, что тогда.

– Ничего не могу сказать... – как можно спокойнее, ответил он. – Я не видел Загребенко.

– Кроме вас, ему некуда было пойти, блин! – сорвался с места следователь, не выдержав тона и строя заранее продуманного допроса. – Это и козе понятно! Ведь был здесь участковый двенадцатого в ночь с пятницы на субботу, был?.. – он гневно стрельнул взглядом в согнувшегося усталого человека. – Странно, в ту же ночь умерла ваша супруга. Как это случилось?

– Сердце...

– Я читал заключение. Она страдала слабоумием, так?

– Десять лет, – ответил председатель и провёл нетвёрдой рукой по глазам: в последнее время стало дёргать правое веко.



– Сочувствую, – чуть спокойнее заговорил следователь. – Но, Филипп Павлович, две смерти в одну ночь... Это наводит на мысль. Вы имели отношения с бывшим сослуживцем?

Старик отрицательно покачал головой, потупился. А молоденький офицер, уверенный, что прав, менял вопросы, путал, но не услышал то, чего ждал. И, нахмурившись, ушёл. Опрос соседей, дворников, сторожа детсада тоже ничего не прояснил. А слова местных пьяниц, видевших якобы Загребенко входящим в дом около полуночи то ли в четверг, то ли в пятницу, были слабой поддержкой. Звонок участкового жене склонял к выводу, что чего-то или кого-то тот боялся. Но здесь ниточка обрывалась: ни писем, ни записок, ни мобильного в протоколе осмотра трупа не значилось, и на домашний телефон не звонили. Не давал покоя лейтенанту выстрел – аккурат в сердце, будто сделан профессионалом, увы, по сю пору не найденным оружием. Сыщик не поленился заглянуть в магазинчики, кафешки, швейный цех, букмекерскую контору. И ему намекнули на поборы участкового с торговых точек, на увлечение тотализатором, на продажу жилья одиноких и пожилых. «Последнее могло связать участкового и председателя, – в думах неторопливо шёл молодой сыщик. – Старик темнит, ох, темнит... Дожать, дожать. И пистолет найти – было б счастье».

Он занёс сведения в блокнот, жирной чертой подчеркнул слово «проверить». Парень ощутил в себе силу, повёл крепким торсом, как будто готовился провести борцовский приём, не ушёл на обед, как всегда, а купив в ларьке пирожков, сел у фонтана, оглаживая, по-обыкновенному, волосики, размышлял и взвешивал факты, взвешивал и размышлял. Но, вдыхая тёплый воздух, чуял запах тела Маринки, пробовал совместить всё, что известно по делу, а лез в голову день рождения жены: раздобыть денег на подарок, может быть, занять



у тестя, чего не хотелось. А ещё решить, кого пригласить, где праздновать, в ресторане или дома.

Парень думал, а ладошка машинально гладила и гладила волосики в надежде распутать узелок. «Маринка, именины, участковый, подарок, улики, тесть, председатель...» Эти слова и так, и наоборот, и вперемежку теснились в голове. Тут же настойчиво ввинчивалась мысль: если чьи-то угрозы, положим, кредиторы, и были, то на что им убивать должника, если не вернут своего. Тогда кто дал смертельный выстрел? Фонтан убаюкивал, возня детишек с мамами не отвлекала, пирожки сами собой исчезали в нём. Лейтенант засуетился, заспешил, словно разрешение дела зависело как раз от этого, бросался то к пункту участкового, то в ближайший сквер, то опять к дому, за чем-то обследовал лесополосу, трамвайную остановку, детский городок, заглянул даже под ели, под лавочки. Что-то сверх человеческого понимания толкало его, но результат был, увы, нулевым. Чувствовалось, что напоролся на «глухарь», «висяк» – нераскрываемое дело. В ведомстве же, где служил, ходило твёрдое, как закон, поверье: начинать службу подобным образом – дурная примета. «Где же выход, разгадка, истина?» – говорил парень себе, но ответа не знал. Не верилось, что его, отличника учёбы, чемпиона вуза по борьбе, умного, способного, напористого сыскаря, обойдёт удача. Самолюбие, азарт, кураж, чуть-чуть наглости, злость, наконец – всё при нём. А значит, как на татами, не уступить, не поддаться, а уложить соперника на лопатки – вот задача. Думы бурлили, но яркой и чётко стоящей, что предпринять, не родилось. С тем упрямый офицерик и покинул злополучный микрорайон.

17

Отметив девять дней, проводив всех, помянувших жену, Филипп Павлович стал у любимого окна в кух-



не. В лёгком предвечернем тумане вполне спокойно по крыше соседнего дома, в распахнутом тонком пиджачке шёл человек и курил, будто прогуливался. И старик решил – пора: сжёг бумаги с данными об одиноких жильцах, какие готовил по указке Загребенко, прибрал в квартире, старьё-хлам выкинул. А утром неспешно отправился к старому кладбищу. Щебет птиц, треньканье трамвайчиков, гудки авто, разговоры встречных слышались, словно впервые. Мимо заново отстроенного собора, взорванного в тридцать седьмом атеистами, мимо сквера с памятником великому поэту, мимо строгого, похожего на офицера-кадровика военоторговского дома, где жила первая любовь, трепетно шептавшая при расставании: «До завтра», стал восходить выше и выше к холму. И легчало тело. Казалось, тепло накрыло землю и от неё идёт благой жар. Запах расцветающих лип мутил голову, а думы о детстве, юности, зрелых годах пронимали душу. Что-то неведомо сильное вело и вело, давая энергию, осветляя мысли, крепя дух; так достиг Лазаревского храма – небольшого, уютного сооруже́нница позапрошлого века – места службы его батюшки. На участке, где хоронили священников, возложил цветы к могилкам родителей, перекрестился широко. Вокруг царило многоцветие. И если не видеть памятников, кажется, что стоишь на бульваре среди цветничков с весёлыми анютиными глазками, скромными гиацинтами, гордыми тюльпанами. Это ещё более добавило тепла в душе. Мальчик-служка, пробегая через двор, держался, окинув его пытливым взором, и заспешил дальше; молодой рыжебородый священник, проводя, осенил крестным знаменем мамочку с дитём, прокашлялся, дав голос, точно перед службой, баском, и, придерживая сильной рукой медный крест, чинно удалился. Филипп поставил свечку, помолился за упокой родных душ и вышел за порог.



Вдруг подала голос звонница, и сразу встала в памяти детская проказа: мальцом, шмыгнув мимо дремавшего сторожа, он прокрался на колокольню, одолев семьдесят пять ступенек, достиг верха и обомлел: совсем близко висели облака, а далеко внизу перемещались едва различимые, точно муравьи, люди. Вдруг увидел ангелов с румяными щеками и белыми крылышками, как на росписи в церкви. От неожиданности и восторга занялся дух. Причудилось: сделай шаг и полетишь вместе с ними. Да сознание, что поймают и накажут, застило чудную картину, толкнуло к главному действию: слабыми ручонками ухватил шершавый канат языка самого маленького колокола-дисканта и дёрнул что было сил. В тот же миг, боясь свернуть шею, ухнул вниз. Свет померк, кружилась голова, ступеньки неслись под дрожащими ногами, а на спину, на уши, на плечи давил тонкий пронзительно-оглушающий звук, как будто колокол тоже падал вровень с ним. Он выкатился наружу и попал точно в руки бабюшки. И хотя его выпороли, то был самый счастливый день в жизни Филиппка, к сожалению, последний. Вскоре тиф забрал родителей...

Старик перекрестился, прошептав: «Прости, Господи, за скверные намерения. Возьму грех на душу», помянул обманутых им с Загребенко: пьяницу Алексея, учителя Бородина, бабу Феню, убитого в СИЗО и двинулся обратно... В душе поселилось тёплое спокойствие, завещание – у нотариуса, признание в убийстве – в сейфе, дел никаких на этом свете не было.

Раньше, после работы, уединяясь в дальнем углу кафешки, наблюдал за игрой струй фонтана, наслаждался свежим пивком с шашлычком, принимал стопочку водки и, отмякая сердцем, приятно ощущая, как из тела и одежды истекает тюремный дух, жадно, пылливо, будто впервые, глядел на мир, на людей и представлялся таким мудрым философом, выгребшим



жизнь до донышка. Вот допьёт пенный напиток, дожует жареные кусочки, спрячется в келье №42 и накропает своим мелким округло-красивым почерком трактат о жизни и смерти, о тлене и бессмертии души. Но дома равнодушно кормил жену, равнодушно провозжал её в кровать, тупо, без мыслей и чувств, заваливался отсыпаться. И отчего-то непременно снились тогда красивые и тёплые, как в детстве сны...

Филипп поднялся в квартиру, в кухне сел на место Нины Степановны. Вполголоса бубнило радио, запах лекарства жены был тут же. Обычно слышалось шарканье её ног, втискивалось полное тело в ночнушке, неухоженная голова мелко тряслась, а тупой взгляд упирался в стол. Тоска залила сердце. Каким стал он, сын попа, всегда таивший происхождение, среди зеков очерстевший и ненавидящий людей, работу, жену, дом, пасынка с невесткой и их отпрысками? Ответа не было. А был густой, липкий мрак. Он презирал себя, неухоженную квартиру с паутиной по углам, с выцветшими обоями, текущими кранами и запахом лекарств, должность, деньги, что копил. Единственное светлое пятно в биографии – дочь, позднее дитя, в которой не чаял души. Но она, не полюбив сердцем дом, город, страну, русскую жизнь, уехала безвозвратно в Америку. И не писала, лишь звонила иногда...

«Жизнь прожита, чего ещё?..» – подумал он. Хотелось закричать так, чтоб содрогнулся дом и сгинул в тартарары. Потемнело в глазах. «Виноват, сам виноват...», – долбила мысль. И поплыли картины: непокорный зек, которого они с Загребенко забили на смерть, а выдали за самоубийство, уход от Нины, её помешательство, возвращение домой. «Чего ж ты ждал, Палыч? – спросил себя невесело, потирая лицо руками жёстко, до боли. – Счастья, денег, славы, власти, долголетия?.. А итог: один, как цепной пёс в вонючей конуре». Он залпом выпил несколько рюмок водки, пере-



оделся во всё чистое, бриться не стал. Подумал было написать дочери письмо, но посчитал лишним. Шаркая ногами, вышел, неловко ткнул звонок соседа.

– Я на минуту, не прогоните... – тихо молвил Филипп, поникший, постаревший.

Карагодин пропустил. Председатель осторожно присел на диван, сказал, что знает, огранщик приживётся тут, взгляделся в портрет Нюры.

– Жаль... – тихо закончил он.

– Что?

– Это я так, про жизнь. Быстро летит время, едрён-ба-тон. Раньше мнилось, что впереди бесконечная дорога. Теперь, оглядываясь, кажется куцым переулком. Да, сосед, спасибо за участие. Воздастся вам за это спокойствием и благополучием. И всё будет хорошо.

Старик погладил журнальный столик, что подарил Нюре, переходя к ней жить, за которым они коротали долгие зимние вечера, играя в дурачки, смеялись, шутили, попивали винцо и были счастливы. Вместе на базаре долго выбирали его, яркий, весёлый, что шаловливый малец, потом обмывали любимым шампанским. Тогда казалось, жизни нет меры, и всегда будут рядом. Но за этим же столиком Нюра под следующий Новый год спокойно, сухими губами выдала ровным жёстким тоном, точно зачитала приговор, не подлежащий обжалованию: я уезжаю, возвращаясь к себе...

«Поздняя любовь, что лишняя рюмка», – подумал он, тяжело поднялся, шагнул к серванту. Слегка дрогнул, блеснул толстыми стёклами этот предмет мебели, служивший одновременно и сейфом, и архивом, и баром, и хранителем редкой посуды. В его жёлтом из натурального дерева теле хранилась вся жизнь хозяйки – от детской семейной фотографии, где пятеро ребятишек сидят на коленях у родителей – бородатого мужчины и миловидной женщины – до портрета зрелой, с выразительным взглядом и волевой



посадкой головы, увеличенная копия которого и висит на стене. Зеркальная полка серванта была отведена немногочисленной посуде – три пузатых фужера с позолотой, китайского фарфора поделки – солонка, пепельница, блюдец, подсвечник, пасхальное разрисованное яичко, группка животных-музыкантов из басни Крылова и вовсе антикварная тарелка с эмблемой РККА и красным стягом – Рабоче-Крестьянская Красная Армия; тут же присутствовали редко затребованные наборы хрустальных рюмок для водки, серебряной чеканки – для коньяка, ликёра. В правой части помещался бар: шампанское никогда в нём не переводилось, ибо Нюра уважала шипучий напиток. Низ серванта был заполнен столовой посудой и прочим.

– А креслиц матерчатых было два... Одно сломалось, – вздохнул старик, окинул ещё раз комнату. – Прощайте, да хранит вас Бог... – молвил он напоследок и удалился.

Не заходя в квартиру, тяжело поднялся на крышу, приблизился к карнизу. Странно защемило в груди, глаза под ветром заслезились. Он закрыл их, а открыв, узрел розовощёких курчавых, тех, что много-много лет назад, там, на колоколенке, звали к себе, ангелочков. Старик перекрестился размашисто, прошептал: «Прости меня, Господи!» и шагнул им навстречу. Уловил лишь чьё-то «ах!», ветер в ушах, во рту и глухой удар... Поливавшая на балконе цветы женщина, мимо которой пролетел человек, ахнув, уронила лейку и забилась в истерике, девушка в доме напротив, красящая губы, застыла с открытым ртом; хмурый мужик в майке и шортах, после ссоры с женой выскочивший на воздух, обомлел, просипев «Ё-моё...»; дворник-азиат, задрав черноволосую голову, уставился в небо, точно ожидая, не упадёт ли оттуда ещё кто-нибудь; Эмилия Борисовна, узнав председателя, вскрикнула, забыв о мопсе, побежала к телу.



А в эту минуту к дому радостный и взволнованный мчался на автозаке следователь. Причин высокого настроения имелось две: жена сообщила, что беременна, и в папке таился хрустящий ордер на арест председателя. Первая весть дала столько волнения, что молодые почти не спали ночью, воображая, как родители завалят подарками и, возможно, на что горячо надеялись, оплатят взнос по ипотеке, а вторая сулила карьерный рост. День назад всплыло орудие убийства – мусорщики нашли; выяснилось, пистолет был табельным оружием старика в пору службы в тюрьме; экспертиза доказала, что из него и был застрелен участковый, подтвердился незаконный отъём и продажа квартир. Лейтенантик млел от счастья: начальство похвалило, тесть поздравил, перспектива рисовалась яркая. Дрожавший, точно дожимающий в последнем захвате соперника борец, едва не вприпрыжку, с жёстким намерением «расколоть» старика на признание, он метнулся к подъезду. Но справа заметил толпу, услышал вскрики и нашёл подозреваемого номер один распластным на земле. Люди отступили. Никто даже не кивнул ему.

– Что, что случилось? – нервно спросил он.

– Видать, поскользнулся на крыше, – ответил кто-то.

Вдруг старик на секунду разнял белёдые веки и будто бы прошептал: «Я убил...»

– Как-как? Громче, громче! – крикнул парень, упал на колени, вцепился в слабое плечо. Но губы председателя замерли, а зрачки остекленели.

Лейтенант вскочил, забыв про испачканные брюки, завертелся на месте, осматривая круг, будто искал кого-то определённого.

– Вы слышали, слышали? – кидался он то к одному, то к другому. – Он признался, да? Я прав, он признался?..

Жители смотрели недобро, как на человека, без причины обидевшего слабого и беззащитного. Хмурый мужик в майке и шортах сильно тряхнул парня за плечи.



– Ты что, сдурел, мент? Человек умирает... умер.
Откуда-то появился кусок серой материи. Эмилия Борисовна осторожно укрыла им лицо старика.

18

Случаются времена, когда мир, будто в непогоду, мрачнеет, теснят недобрые обстоятельства, рушатся планы, не складывается жизнь. Но вдруг, как по-волшебству, всё меняется: светлеет вокруг, дышится легче, приходит удача, и радость наполняет душу.

Вечером Джемма пришла к Карагодину.

– Уезжаю с Этгюком. Все сложилось так, – твёрдо вымолвила она. – И не держи на меня зла, тоц-первертоц.

Карагодин привлёк было её к себе, но женщина разняла его руки.

– Послушай: здесь до тебя жил поэт, мой любовник. Мы не любили друг друга, а занимались, именно занимались, отвратительное это слово, любовью не по-русски, не по-христиански. – Она говорила спокойно и уверенно, не громко и не тихо. Чувствовалось, что речь приготовлена заранее, сложилась, и ничто не могло сбить её с рассказа. Джемма неторопливо, по-домашнему прошла к столу, закурила и подняла взор на Карагодина. – Но какие слова шептал, подлец, сладкие до дрожи!.. Одной было муторно, он поддерживал, пожалел, и я его жалела. Судьба... Еще с первого дня, там, на балконе, поняла, что у тебя на душе покоя нет, что мечешься, не зная, чего хочешь. И пожалела. Убери с сердца камень, станет легче, поверь, я знаю... Прости и прощай. Лучший друг – тот, кто сзади тебя, а лучший враг – тот, у кого ты за спиной. Всё, актум эст фабула – представление окончено, занавес...

– Но, Джемма...

– Нет-нет, ничего не говори... Разве злость, обида принесёт что-либо хорошее?.. Ты – умный, поймёшь. Я ни о чём не жалею и ты не жалеяй.



– Так лучше, – проговорил он, усмехнувшись, и сел на диван, сцепив руки.

Он посмотрел на женщину холодно, отвёл взгляд. И эта связь ничего не прибавила ни сердцу, ни уму. Наплыли думы, что сейчас у него, кажется, имеется всё, чтобы спокойно и достойно жить, ан нет, не получается.

– Да, помнишь ту парочку: длинноволосого поэта и его пассию – маленькую и горбоносенькую романистку?

– Смутно, – обронил Карагодин.

– Приходили вместе с компанией Эттюка. Так вот, в тот вечер они до утра просидели на качелях. Поэт был в отрубе, а женщина видела, как Загребенко входил в наш подъезд, а оттуда не вышел... Следовательно прав, а Филиппыча жаль. Не верю, что поскользнулся...

Карагодин пожал неопределённо плечами, Джемма недоверчиво глянула ему в глаза.

– Ты не показала мне город, – неторопливо молвил он.

– Не беда, сам осмотришь. А мальчонку из детдома заberi... – Она взяла его руку, нараспев продолжила. – Как выпирают вены, у тебя сильная рука, а пальцы тонкие, музыкальные, удивительные. Руки хорошие, а взгляд, точно лёд, и сердце...Ты не способен любить безоглядно, жертвенно, до дна. А хочешь любви, слишком хочешь... Мне жаль тебя, прощай.

Щёлкнул замок, стало тихо и пусто. Карагодин обвёл комнату взглядом, опустил на стул, венский, невысокий, Елабугской мебельной фабрики, единственный из мебели, что не существовал сам по себе, а находился при письменном столе, точно на цепи. В изгибе спинки, в округлости сиденья, в игривом повороте ножек, в легкости всего орехового тела чувствовалась вековая рука мастера с чистой западной улочки краснодеревщиков, столяров, обивщиков мебели, слышался шелест дорогой одежды, шуршание вееров, перчаток и прочих аксессуаров, виделась изящность же-



стов, движений, поз, чудилась божественная мелодия вальса. Такие предметы называются лонгселлерами, что означает мебель-долгожительница. Но, увы, его участь – до скончания дней пялиться на полированное тело массивного собрата, жить его жизнью, служить лишь придатком, довеском, частью рабочего места. Иначе предсказать судьбу этого с круглым сиденьем, покрытого зелёным истёртым бараканом изделия, единственного в своём роде, было бы не сложно. Скорее всего, четырёхногого старичка спровадили бы на кухню, хуже – на антресоли, а вовсе прескверно – забросили бы доживать свой век в сыром подвале в обществе пустых баллонов, банок, ржавых садовых орудий или снесли бы на свалку.

Дерево его устало держать сто два килограмма поэта, устало терпеть ночные бдения, всегдашнее качание со скрипом, будто нарочно желая развалить, устало от запаха алкоголя, табака, пепла, окурков, недогоревших спичек, обрывков бумаги. Тело старело, душа, казалось, наизнанку выворачивалась, шурупы, точно больные зубы, шатались, грозя выпасть, сиденье, прежде нежно-бирюзовое, теперь истёрлось, словно на нём отсидел полк солдат. И с каждым днём прогибалось всё сильнее и сильнее. Стул чувствовал себя неуютно среди старожиллов шифоньера и дивана, кажется, всегда с презрением взирающих на него. Но его более всей мебели любил поэт. По-хозяйски брал за изгиб спинки своей ладонью и почти бросал на балкон и там курил, покачиваясь, закинув толстую ногу за ногу, прищурившись оливковым оком. Большие выдающиеся губы небрежно держали иностранную сигаретку, ровный красивый нос трепетал, выдувая дым, череп блестел, смешно торчали где-то на затылке курчавые волосики. Кончив, щелчком пустив окурочек за балкон, резко возвращал деревянного слугу обратно, цедил сквозь пухлые губы: «Знай своё место!»...



Карагодин покачался на стуле, встал. Осмотрел его, ввернул до упора шурупы, крепившие конусные ножки к нижнему кольцу, и сел. Теперь изгибистый предмет был устойчивее, только от спинки шёл холод да, казалось, кто-то не по-доброму смотрит на него сзади. Карагодин невольно поёжился, повертел в руках божка Ибису, достал заготовку камеи, инструменты. Да не работалось, руки не чувствовали материала. Он с досадой убрал всё и взялся за письмо Гале. В памяти всплыло, как подписывал ко дню рождения жены открытки, которые, знал, хранила в особом альбомчике. Старался не повторять текста, волновался, но всегда степлом в сердце и радостью, задумывался над обращением: милая, дорогая, ненаглядная, драгоценная.

Сейчас начал просто: «Галочка, здравствуй!» Писал неторопливо, хотя окончания слов, знаки препинания выходили корявыми, нервными, и это раздражало. «Но иначе и быть не может», – думал он, выводя конец предложения. Силился увидеть лицо жены с впадинками на щеках. Так, по утрам, хмурая, она молча готовила бутерброды к завтраку, действуя тихо, будто и не было её вовсе. Тишина угнетала тяжелее любой ссоры. Зная, что втянутые щёки – признак крайнего раздражения, чувствуя, как нервная дрожь начинает завоёвывать его все больше и больше, Карагодин быстро ел, быстро выдыхал: «Спасибо», в ответ слышал почти шипящее, ужасно чужое: «На здоровье» и спешил покинуть кухню. Так повторялось изо дня в день, точно кто-то недобрый и злопамятный втиснул в мозги программу лишь из трёх слов. И теперь они были главными, подчиняли себе, заставляли поступать так, а не иначе. «У каждого грешника есть известное прошлое, у каждого праведника – неизвестное будущее», – вспомнил он где-то прочитанное; отложил ручку, потёр друг о друга кисти рук, размял пальцы.



Через минуту продолжил так же неспешно, делая паузу после каждой фразы: о встрече с Виталием, об оформлении документов, о смерти соседа. Жизнь научила не дёргаться, не спешить, быть может, чуть-чуть затягивать действие, взять паузу, а там что бог пошлёт. Он гнал от себя думу, что налицо полный разрыв и ничего не изменить. Да эта гаденькая мыслишка, как привязчивая цыганка, возвращалась. А чего боишься, то чаще всего и случается. Одолевали нехорошие сны: жена уходила, убегала, пряталась, исчезала, а он мучительно искал её и не находил. Наутро голова болела, тело ныло, будто его избили. Он то осуждал, то оправдывал жену, а внутренний голос шептал, что подобные думы, сны, настроение – обман, что всё уладится, что, кроме Гали, ни одна женщина не нужна. Тогда расслаблялась душа, словно в любовной неге, мысли светлели, думалось о хорошем и счастливом. В конце письма обрисовал встречу с Артёмкой и просил сообщить, согласна ли на его усыновление; черкнул несколько слов и дочери.

Затем с удовольствием выпил густого чаю. Подумав, решил навести порядок в квартире: первым делом почистить обгоревший паркет в углу, От чего грозно предостерегал сосед. Но странно: его тотчас взяло непонятное беспокойство. Гравёр оглядел комнату – она увиделась более мрачной, неудобной, чужой, в необъяснимом волнении обвёл пристальным взглядом стены, мебель, картины, фотографии. Резкого отторжения не было, как не было и предчувствия беды, и мысли не отвращали от задуманного. Но внутреннее напряжение не отпускало. Он вернулся к углу, ровными сильными ходами наждака принялся считать горелое. Как вдруг одна паркетина отскочила, точно брошенная пружиной. Он отдёрнул руки, замер, впился глазами в малое углубление, вроде тайника. Явственно слышался ход старых ходиков на кухне,



чьё-то в перебивку дыхание, словно обитатели комнаты, как живые люди, заодно с ним поддались волнению и вот-вот сорвутся с мест, окружают недоброй толпой. Холодок змейкой скользнул по спине. Карагодин резко обернулся. Показалось, комната погрузилась во мрак, точно на землю быстро лёг вечер, портрет бабы Нюры покривился, качнулась люстра, сырой воздух побежал по стенам. Наконец, с опаской сунул руку в глубину и нащупал металлический коробок размером в два спичечных.

Вспомнились предостережение соседа, баба Нюра, Виталий, работа на приисках. Мысли перемешались. Осторожно извлёк находку, вскрыл крышку и... на ладонь высыпал с дюжину крупных алмазов, каких ранее никогда не видывал. Пот густо обсыпал лоб. «Вот оно что!.. Может, поэтому бабушка говорила: богатым станет тот, кто придётся по душе комнате». Его бросало то в жар, то в холод. Захотелось вина. Гравёр открыл бар, достал коньяк, без закуски опрокинул в себя рюмку, заходил туда-сюда. Но какая-то сила остановила напротив портрета бабы Нюры. «Ай, что делают чудные стекляшки!.. – покачал головой, улыбнулся. – Ну, дела!... Вот бабуля так бабуля, выкинула номер, чистый граф Монте-Кристо!» Зачем-то метнулся к входной двери, затаил дыхание – дом вроде спал. Вернулся и не мог наглядеться на клад, то меняя угол обзора, то рассыпая камешки по чёрной бархотке, как в ювелирных магазинах, то вновь рассматривал в лупу, оценивая качество, цвет, чистоту, вес. Наконец вернул драгоценности на место, уложил паркет, дочистил угол. И с детства внушённая мамой-покойницей мысль: не ты клал, не тебе и брать, успокоила сердце и настроила на добрый лад... Да не спалось: странные звуки, и дыхание шифоньера, и необъяснимые волны, исходящие от места клада, гнали сон. Он стал у окна, луна пряталась за наплывающими лёгкими тучами, и, казалось,



что это за тонкой занавеской лик женщины с распущенными волосами, очень похожей на Галю.

А через день заявили родственники: Виталик с родителями-отпускниками. Тётя Лида оказалась средней полноты женщиной, ухоженной и аккуратной, живой и деятельной, главбухом на прииске. Отец Виталия, дядя Игорь, грузный, ширококостный, с тёмным одутловатым лицом, с холодным блеском в глазах и замашками начальника, говорил басом: «Ну, фортуна! Ну, повезло, мать...», стучал лапищами по дверным косякам, по стенам, точно меряя их на прочность, часто вскакивал, морщился, ходил, нервничал. А то кулаком одной руки звучно шлёпал ладонь другой, тряс массивной головой, приговаривая: «Не есть хорошо, это не есть хорошо». И непонятно было, что имелось в виду. Пили чай с привезённым тортом. Дядя Игорь, качая седоватой головой, не понять с одобрением или с завистью, басом повторял: «Ну, повезло. Как говорили древние: фортуна не... Дальше забыл... в руках... А ты, племяш, фортуны ухватил за самое вымя!» Тётя Лида, обдавая запахом французских духов, удивлялась, что объявился наследник, о каком ни сном, ни духом не знали, не ведали: мол, родных, двоюродных ещё как-то почитали за родственников, а троюродных сторонились. И посетовала, что не познакомились раньше; говорила про рассыпанных по стране родных, не поддерживающих связи, ела аккуратно, с достоинством, часто переглядывалась с мужем. Наконец дядя Игорь, прокашлявшись, спросил, как показалось, осторожно, будто чего-то боялся, не затеял ли он ремонта? «Пока нет, – ответил Карагодин и добавил. – Позже». Это как-то резко поменяло в кухне воздух, настроение гостей взлетело, стало шумно, говорили все разом: Виталий – редко, его мама – сдержанно, дядя Игорь – громко и со смехом, походя, ввернул анекдотик, пару крепких словечек и опять ударил ку-



лаком по бугристой ладони. Атмосфера смягчилась, гости улыбались, тискали нового родственника. Тётя Лида прослезилась, помянув бабу Ньюру, дала слово непременно проведать могилку.

– Нелёгкую жизнь мама прожила, – вздохнула она. – Девчонкой 17 лет попасть в органы, работать в лагерях, познать и грязь, и смерти, и несправедливость в самую крутую пору... Как не ожесточиться, не сломаться? Организм всё же не выдержал, долго болела нервами...

Дядя Игорь поддакивал, кивал сокрушённо головой, затем вразвалочку, задевая плечами стенку и холодильник, проследовал курить на балкон. Тётя Лида, допивая чай, расспрашивала о жизни, о работе, о семье. Наконец дядя вернулся, улыбаясь, в хорошем настроении, подмигнул жене, почти приплясывая, мурлыча под нос какой-то мотивчик, потирая пухлые ладони, сказал, что полюбил его, как родного, что теперь они будут общаться, и прижал Карагодина к себе. И тот почувствовал в его пиджаке твёрдый предмет.

– Ну что ж, пора, – в один голос заявили гости. Движения их стали быстрыми, суетливыми, словно не чаяли, как уйти.

Карагодин затворил дверь. Однако что-то странно волновало. Он огляделся, прошёлся по комнате, вновь осмотрел её от двери до окна. Тревога упорно не оставляла его. Захотелось ещё раз взглянуть на чудное сокровище. Он легко снял паркетину и обмер – проём был пуст; обшарил его до стенок, но коробки и след простыл, усмехнулся: «Значит, родственники за этим лишь и явились».

Он заделал наглухо тайник и сел на рабочее место, но мысли не спешили сойтись на камее. За окном ложился мягкий тёплый вечер. Он ступил на балкон, глянул вправо, окно не светилось. Чудилось, что вот-вот отворится дверь и появится, как фея в сказке, Джемма. Пе-



ред глазами встала их первая встреча, другая и третья, её приход к нему. Едва всколыхнулась душа и тотчас остыла. Почему-то вспомнилась дочь маленькой, полненькой, с пухлыми щёчками и губками, несколько неуклюжей, немного плаксивой. Отправляясь на работу через парк, мимо озера, каруселей, тира, Карагодин заводил её в детсад, а по дороге учил математике: то считали шаги, то количество машин на стоянке, то число голубей у лужи. Машка сопротивлялась, капризничала, всячески отлынивала, придумывая различные причины, а то останавливалась, насупившись, и хныкала. Тогда грозил, что бросит её, и намеренно делал несколько решительных шагов прочь. Дочь, насупившись, плелась следом, а то пускалась в бег, и он тоже, будто играли в догонялки. Наконец настигала отца, обнимала колени и смеялась, запрокидывая черноволосую в кудряшках головку.

Карагодин несколько раз глубоко и шумно вздохнул, кинул взгляд кругом. Молодой красноголовый дятел, работая с тупым постоянством, двигался вверх по ветке тополя, иногда вертя пушистой головкой. Но вдруг прилетела большая, точно орёл, сине-коричневая сойка и прогнала молодца, он виновато дал круг и исчез. Неутомимые ласточки и стрижи писали и писали свои круги, как заведённые, то попарно, то поодиночке, то стаяй, почти чиркая крылами о стены домов. И пищали, и щёлкали коротко, будто каждая, соревнуясь, норовила взять на вираже ноту выше и тоньше. И качали, как самолёты, телами, ложась то на одно, то на другое крыло, и завораживали упорным стремлением, колдовским круговоротом. Небо потяжелело. Справа, казалось, совсем близко, виделась тёмным силуэтом невысокая гора, похожая на лежащую женщину. Но вдруг пробежал по деревьям ветерок, нагнал жирную тучу.

Карагодин острее почувствовал запах белоголовой черёмухи у подъезда. «Видно, к дождю», – подумал он.



И тотчас, будто небеса только и ждали его мысленного посыла, дёрнулся под тяжёлой каплей продолговатый лист – один, другой, третий. И зашуршала благодатная влага. Какая-то парочка пробежала внизу по дорожке, смеясь и радуясь, верно, водному явлению, близости, счастью. И что алмазы-стекляшки против людских чувств? Смешно и сравнивать. Жизнь продолжалась. И верилось, что будет мир и достаток в доме, растает несогласие и непонимание, и они с Галей будут счастливы. Припомнилось, что за обиды слабые мстят, сильные их забывают, а мудрые идут дальше... «Артёмка, Артёмка – вот палочка-выручалочка, вот их прочная скрепа». Карагодин умиротворённо и тепло вернул на место дышащую дверцу шифоньера, присмотрелся – пятно, что в первую ночь вывело его из себя, никуда не делось. Лёг на старенький диван, так и не ставший родным, как и другая мебель, щёлкнул выключателем. И снова, как в первую ночь, мощный стук в дверь заставил выпрыгнуть из постели.

– Я – Сазон! Не вздумай продавать квартиру Измайлычу, только мне! Иначе... Усёк? – раздалось из-за двери.

– Почему я должен продавать? – тонко выкрикнул он.

– Потому что пришлый, чужак, всё одно уедешь...

И всё стихло. Карагодин вернулся, раздражённый, долго ворочался. И не легко и не быстро уснул...

19

У победы много родственников, а поражение, по-обыкновенному – сирота.

Карагодин проснулся от звонко-тупого удара об пол, как будто что-то уронили рядом. Включил свет – портрета бабы Нюры на стене не оказалось, он лежал у плинтуса, лицом вниз. Стекло было цело, верёвка на ощупь крепка, в месте порыва не лохматилась, как если б перетёрлась от времени, а будто перерезана аккуратно ножиком. Это показалось странным,



но более странным было то, что из-под картона высу- нулся тонкий серый конверт без марки, явно казён- ный. Он осторожно раскрыл его, извлёк бледно-ро- зовую бумагу с гербом и текстом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Народный комиссариат вну- тренних дел СССР. Отдел актов гражданского состоя- ния. Свидетельство о рождении Нежелского Сергея Николаевича – год 1935, место – г. Москва, имена ро- дителей – Николай Иосифович и Елена Александров- на». На документе стоял гриф «Повторное». Карагодин задумался, никак не беря в толк, что нашёл и отчего бабушка хранила эту казённую бумагу неизвестного Нежелского. Удивительно было и то, что имя и от- чество, год, месяц и дата рождения совпадали с ме- триками отца, а имя и отчество родителей – с именами бабушки и дедушки по отцовской линии. Гравёр опу- стился на диван в недоумении, не выпуская из рук до- кумента. «Что всё это может значить?» Встало перед глазами похожее свидетельство отца. Оба документа виделись как одно, то перекрывая друг дружку, то ло- жась рядом. Он, ни на секунду не забывая о находке, починил обрыв, благо запас имелся, вернул портрет на место. Взгляд бабы Нюры был по-прежнему силь- ным, пристальным, волевым. Карагодин убрал доку- мент в близкий конверт, положил на край стола. Что за сигнал с того света слала загадочная, никогда им не виденная родственница этим старым листком, верно, для неё значимым? И зачем было прятать его столь- ко лет? Почему имя, отчество и дата рождения неко- го Нежелского точь-в-точь родителя?..» «Вопросы, вопросы, вопросы...Что-то в этом есть, но что?..» – по- думалось ему. Он опять взял конверт, явил на свет бу- магу и вчитывался в строки медленно и тяжело. Мыс- ли бегали, но оформиться и определиться им не было никакой возможности. С логикой у Карагодина всег- да не ладилось: загадочная наука манила, иногда пуга-



ла, иногда ставила в тупик, но понять её, уловить сам строй, части, определения, законы, выводы не умел. И теперь свести известное касаясь двух документов, проанализировать, сравнить, взвесить и найти ответ, было невероятно трудно. Не сиделось на месте, он заходил по комнате, то и дело упираясь глазами в серый бумажный прямоугольничек на столе. Присел, снова взял конверт в руки, повертел. А в мозгу встала мысль: две официальные бумаги одного назначения и текстами совпадающие, точно копии, лишь разнятся фамилии. Случайность или какая-то тайна стоит за ними? Опять взялся мерить шагами комнату, нервно, в волнении ставя ноги. Лицо само собой напрягалось, нахмурились брови, свело челюсти, заломило в висках, не понимая, отчего старый листок так сильно держит его в своей власти, вернулся в постель. Сон не приходил, тревога не отпускала, ум завибрировал, как натянутая струна, да так, что закружилась голова, и тело безвольно расслабилось. Ох уж эти мысли: они то камнями мешались в голове, то молниями резали мозг, то горячими потоками бились о стенки мыслящей коробки. И всё же усталость взяла своё.

Утром Карагодин поехал на стардомовское кладбище. Памятник, как и обещали рабочие, был установлен и понравился строгостью и простотой. Возвращаясь мимо детдома, долго стоял у забора, но детей видно не было. Вдруг мелькнула между зданиями та самая дородная симпатичная воспитательница с большими глазами. Он позвал её, поведав, что собирает документы и намерен усыновить Артёмку. Женщина внимательно посмотрела на него, красивым движением откинула со лба чёлку, улыбнулась, сказала, что, увы, поздно, – мальчика вчера забрали в хорошую семью. «Не огорчайтесь, – тепло добавила она. – Есть ведь и другие ребята». И, чуть замешкавшись, будто ждала от него слов или действий, двинулась обратно, легко и, как показалось, ра-



достно неся полное тело. Карагодин не мог сойти с места, сделалось не по себе: рухнуло то здание, какое он в голове уже выстроил, где главным был симпатичный мальчонка. И никак нельзя было принять другую, противную мысль. Настроение сразу упало, он почувствовал себя в этом городе лишним и ненужным, как старая мебель. Безвольно вернулся, в станционном буфете выпил водки и поплёлся по главному проспекту, будто человек, которому безразлично, куда и зачем идти, лишь бы двигать членами, нести тело, менять его местоположение. Он присаживался на скамейки, тупым взглядом смотрел перед собой на проходивших людей, на машины и трамвайчики, после вставал резко, будто уже знал, что делать, торопливо шел, через время в упадке сил еле волочил ноги до очередной кафешки, опрокидывал рюмку и опять устремлялся дальше. Так, миновав главпочту, торговый центр, парк, сквер с памятником поэту, добрался до белокаменного просторного собора. Зашёл в него, светлый, просторный, с узорчатым иконостасом, поставил свечи за упокой души бабы Нюры справа, где поминальный стол, и за здравие живущих родных и близких перед иконой Божьей матери. Неспешно тронулся дальше. На душе посветлело, подумал, что судьбе угодно, чтобы не было в его, в их жизни Артёмки. И следует покориться этому, принять и не жалеть ни о чём. Заметив рюмочную, устроился там в углу, на террасе, обвитой плющом, заказал коньяк.

Тут к нему подсел опрятный седоватый мужчина в шляпе, в галстук, с медалькой на борту чистого пиджака, с тонкими седоватыми усиками на живом лице, с газетой, свёрнутой трубочкой, и негромко и мягко, будто уговаривая, повёл речь о том, что Солнце, дескать, через несколько миллиардов лет увеличится так, что поглотит не только ближайшие к нему Меркурий, Венеру, но и Землю, а значит, человечеству придёт конец.



– Печально, – равнодушно бросил Карагодин. Его мысли были ещё у дощатого заборчика, где встретил черноглазого парнишку и где полчаса назад был поставлен крест на его планах об усыновлении Артёмки. Слова незнакомца, точно слабое эхо, не проникали в сердце.

– Ещё бы! – подхватил старик. – Ещё бы... Это всё меняет, представляете?

Карагодин глянул пристально на соседа, как будто пытался взять все силы и обмозговать услышанное, – что именно меняет и нужно представить? Тотчас вспомнил отца с его телескопом.

– Это что, новая версия? Вы – астроном? – спросил он.

– Нет, любитель. Учёные вывели точно. А как уйти от расширяющегося Солнца: сменить орбиту – нереально пока, поселиться на другие планеты... Задача! – он значительно поднял указательный палец.

Было смешно, что в маленьком городке обычный мужичок приятной наружности, с живыми глазами и живым движущимся лицом, с бокалом вина говорит о чёрте когда возможной мировой трагедии. И переживает вполне серьёзно, и озабочен, и настаивает, что об этом следует думать уже сейчас.

– Земляне, увы, обречены, понимаете! – продолжал сосед, подняв голос в конце так, будто звал Карагодина вот сейчас немедленно бросить всё и заняться спасением человечества и даже привстал с места. – Конец один, ежели мы сами себя раньше не истребим войнами, терроризмом, наркотой. Катаклизм неизбежен, увидите... – он вздохнул и обмяк. – Да и что мы? Миг, песчинка, клеточка космоса, атом!.. Не было нас раньше и не будет – Вселенной от этого ни жарко, ни холодно. Философия... – прошамкал он.

Помолчали. Мужичок сник, как будто выговорился и не знал, как продолжить разговор; нахмурился, вроде что-то неприятное вспомнил, и тяжело вздох-



нул, опёрся сухой грудью о столик, держа двумя руками бокал вина, будто согревая. Пиджак астронома-любителя нелепо выпирал впереди, галстук вздыбился, пальцы слегка дрожали. Он прокашлялся, ещё более накренился к столу и тихо начал, не глядя на Карагодина, а куда-то в пол, мимо столика.

– Я вот бодрюсь, хорохорюсь, взнуздываю себя, словно старого конягу, а на самом деле мне плохо, то-варищ. Можно сказать, хреново.

Карагодин пытливо глянул на соседа. Тот опять вздохнул, не поднимая взора, мелкими глотками, так, что резко дёргался маленький кадык, будто рвался наружу, выпил половину бокала, помял губы.

– Один я, вот хожу на бульвар, понимаешь, в парк, по аллеикам, сижу в скверике, делаю вид, что кого-то жду, газеты покупаю, зачем, не знаю, пью, а на душе тьма... – Он сделал пару глотков. – Жену год назад похоронил, Аллу. Невмоготу бывает, часто снится... Виноват перед ней: не жалел, пил, гулял, не считал ни времени, ни денег, жил только для себя. Сейчас каюсь, мучаюсь, как зверь в клетке, ночами не сплю, на могилку хожу, а что толку... Думал, счастье бесконечно, как Вселенная, и ничего худого с нами уже не будет. – Он вдруг нервно полез в карман, извлек зажигалку, сигареты, закурил, глубоко затянулся несколько раз, прищурил глаза, потёр пальцами виски. Морщинистое лицо ещё больше посерело, глаза потухли. – Верите, думал, умом тронусь, но... Не понял я, гад, этой жизни, понимаете, не понял! А нужно ценить каждый миг, каждый день, как последний...

Он печально усмехнулся, покачал головой, вполголоса повёл речь о том, что два дня назад, как сумасшедший, понятно, под градусом, выбежал на улицу, что остановил первую же женщину, позвал к себе жить, но незнакомка, аккуратная, невысокая, с мягкими чертами лица, очень похожая на жену, улыбну-



лась, молча глянула на него и процокала каблучками дальше; что вчера подцепил шлюшку в кабаке, привёл, но едва с порога глянул на фото жены, понял: ничего не выйдет...

Помолчали, мужчина допил вино, глянул на Карагодина тепло.

– И почему не я раньше?.. Мы строили планы, что умрём вместе через двадцать лет, а вышло... Там, на небе, решили иначе. Простите, Бога ради...

Он выскользнул из-за стола и нервными шагами двинулся прочь...

Карагодина кивнул, молвив еле слышно: «Бог простит», и также покинул заведение. Он шёл по городу, голова наполнилась светлыми думами. Пришло телеграфное сообщение от Гали: «Согласна на усыновление. Готовлю документы. Целую». Он не ответил: судьба в очередной раз сделала выверт, то ли как предупреждение, то ли как наказание. С этими мыслями он возвращался в квартиру.

Вечер незаметно брал землю в свои объятия, зажглись уличные фонари, окна зданий, засуетился люд на улицах, входя и покидая магазины, кафе, рестораны, катились полные трамвайчики, бегали маршрутки, автобусы. Жизнь в городке была ключом. Ещё раз мелькнул перед глазами опрятный мужичок-астроном, открывший перед ним душу, и растаял.

Карагодина долго не мог заснуть. И вдруг под утро почувствовал, что рядом с дивана поднялся высокий, худой и сутулый, кашляющий, как племянник соседа, Анатолий, человек; поскрёбся у обожжённого места старик с сапожной лапкой под мышкой, по всему, Константиныч; покачался на стуле тучный с сигарой во рту, с цветастым платком на шее, мужчина, видно, поэт; явился рыжий субъект в велюровом берете и с палитрой, похоже, художник, сын Константиныча; мелькнул в проёме двери лысый крепыш один в один



чернозубый председатель; шаркающей походкой приблизилась к тайнику, тыча клюкой в пол, в каком-то балахоне согнутая старуха с молодым, как на портрете бабы Нюры, лицом. Ещё какие-то люди, как тени, ходили в прихожей, кухне, ванной... Карагодин обмер: не горячка ли начинается и не грезится ли это ему? Он ущипнул себя, почувствовал боль, значит, все в норме. Показалось, что старушка что-то зашептала в углу, стукнула несколько раз палкой об пол, компания заволновалась, пропел где-то за полотном петух, и всё пропало...

Карагодин проснулся в холодном поту, предметы в комнате были на месте, но что-то изменилось, будто их взяли и переставили местами, да раздумали и кое как вернули обратно; ринулся к тайнику – место было ровным, гладким, таким, как вокруг; обернулся на портрет и заметил, что губы бабы Нюры ещё более сжались, а взгляд ожесточился. Он провалялся в постели до обеда и после никуда не выходил. Не тянули каменья, еда, чтение или прогулки: мысли были только о том, что дальше, и с тревогой ожидал вечера. А ночью всё повторилось в точности: пришельцы, разговоры, движение. Весь следующий день он временами проваливался в беспокойный сон, временами пробуждался, усталый и разбитый. Казалось, сходит с ума. Не хотелось ничего делать. Небритый, со всклокоченными волосами, с красными глазами и расшатанными нервами, он чувствовал себя ужасно. Комната выглядела мрачной и давила, как тюремная камера. Он, как наказанный, мерил комнату шагами: туда-сюда, туда-сюда, когда пол начинал уходить из-под ног, падал на диван, в дрему, в прострацию, опять с раскалывающейся головой поднимался и плёлся на кухню, пил воду, что-то жевал. И третья ночь не отличалась от предыдущих... Чудилось: всё в этом городе, в этом доме, в этой квартире



№43 с обоями в мелкий цветочек, с окнами на запад, с сервантом, рабочим столом, висящим ковром, картинами, фото и портретом бабы Ньюры восстало против него. Мысль витала по мозговому полю и наконец оформилась как единое, будто сквозь мглу пробился лучик солнца – увиделся лишь один выход. Через силу выпив горячего чаю, он торопливо собрал вещи, свёз их в камеру хранения, взял билет на первый же поезд, отослал сообщение Гале, что будет во вторник, и поехал к Виталию. Застал его таким, как и в первый раз, – полуодетым, на кухне за едой, только женщина была другая – полная, опрятная, светло-волосая.

– Чего явился? – грубо, как и тогда, спросил Виталий и отбросил вилку. Жилы на шее выперли, а глаза метали гневные молнии. – Чего?.. Всё из-за тебя!..

Карагодин застыл в дверях, недоумевая.

– Да что стряслось, скажи толком, не брюзжи! Родители где, уехали?

– Нет, твою дивизию!.. Мать – в реанимации, отец – в психушке, вот что!..

– Чёрт возьми! – вырвалось у Карагодина. – Но я-то при чём, Господи?

– При чём, при чём...

Виталий вскочил и стал у окна, нервно закурил, мотнул головой в сторону двери – женщина молча соскользнула с табуретки и исчезла. И рассказал, что после их встречи родители заперлись в своей комнате, долго не выходили, после заспорили, подрались, отец побил мать, обвиняя, что украла клад с алмазами; соседи вызвали полицию и «скорую», а отец вроде двое суток ходил по камере, повторяя, как в беспмятстве: «Мои камешки, мои камешки, мои камешки...» и вчера его увезли в психиатрическую...

– У меня мозги плавятся, – зло проговорил он. – Ничего не понимаю: какие камешки, какой клад?..



– Да, дела... – протянул Карагодин, неторопливо вынул ключи от квартиры бабы Нюры, кинул на пластиковый стол, рядом положил лист бумаги и разгладил его. – Ну вот что, родственник, я уезжаю. Здесь отказ от наследства. Ясно?..

– Да ладно!

Карагодин кивнул.

– Вон оно чего... Ты, ты, эта, погоди... Объясни, что не так?..

Карагодин не ответил, лишь пристально посмотрел в глаза Виталию. Тот отвёл взгляд, нахмурился, заговорил тихо, приобняв Карагодина.

– Ну не ругай меня, брат... Решил так решил, я тут сам, эта, управлюсь. Как-нибудь...

Карагодин вышел на улицу и вдруг почувствовал, что ноги сами повели к блочной многоэтажке, из которой убежал. На душе и в теле была легкость. Он присел на скамейку у качелей, закурил. Вдруг заметил ту, из банка, женщину, про которую говорил покойник-сосед, похожую на Софи Лорен. Что-то чертовски озорное подстегнуло его, он кинулся к ней, помог донести хозяйственную сумку, сетуя, что красивой дамочке приходится носить тяжести, а предназначение её совсем в другом. Женщина приятно улыбнулась, поблагодарила и неторопливо, с достоинством, верно, ни на секунду не забывая, что на неё смотрят, подступила ко входу. И взошла дальше, красиво ставя на каждую ступеньку точёную ножку.

Карагодин чуть ли не вприпрыжку вернулся к своему подъезду, взлетел на этаж и...остыл, вспомнив, что ключа-то нет. Лестничная клетка с отпавшей кое-где синей краской на панелях, с жёлтой плиткой, с облезшими перилами, с мутным окном была та же, и двери не сменили своего вида, положения и номеров. Но было очень тихо, как в больничной палате, все три квартиры: слева – председателя, прямо – его и спра-



ва – Джеммы теперь были пусты. События, что случились на этом малом пространстве обычного дома, в обычных комнатах, познавших и болезнь, и смерть, и сумасшествие, и убийство, и невообразимые явления, и видения, пронеслись перед глазами. Он неторопливо спустился, окинул взором дворик: качели, песочницу, детскую горку и двинул мимо мусорника, мимо фонтана в форме ромашки, мимо сквера с Вечным огнём к трамвайной остановке.

Когда через сутки поезд с Карагодиным затормозил у родного красно-кирпичного вокзала, он, ступив на платформу, сразу увидел Галю. Жена была в том же, что и в день отъезда, красивом тёмно-вишнёвом плаще, с весёлым шарфиком на шее. Улыбаясь, лёгкая и красивая, она кинулась ему навстречу...



О тебе

Мы надеялись, что впереди
 За войной время мира придет.
 Но в моей уцелевшей груди
 Бьется жаркое сердце твое.
 Бог всегда на моей стороне:
 Надо мной не кружит воронье,
 Потому что внутри, в глубине
 Бьется нежное сердце твое.
 Не успели сказать слов любви –
 Ты погиб под весенним дождем.
 Но в моей уцелевшей груди
 Благородное сердце твое.
 Ты во мне – это сдавленный крик,
 Но и вечная сила в борьбе.
 Каждый день я живу за двоих,
 Каждой ночью – молюсь о тебе...



**ВЕРА
 ЧУБЧЕНКО**

НОВОЕ ИМЯ

Не время снов

Наполнен парк осенней сединой,
 Жасмина цвет остался в долгом мае,
 Судьбы мозаика слагается в панно,
 Квадраты постепенно расставляя.

Не время снов, уже горят костры,
 Как будто тайного дождавшись
 знака.

И Ваши речи длинны и остры,
 Как профиль Сирано де Бержерака.





Той невесомой радости любви
Свидетельство безмолвно - писем связка.
Сегодня сердце горестно саднит,
Что на излете оборвалась сказка.

О, сударь, восхитительный роман
Не станет классикой родной литературы,
Не вдохновят Ростанов и Дюма
Две наши одинокие фигуры.

Город вновь разделяет нас
Красных листьев пожухлой россыпью,
Эфемерностью грустных фраз,
Петербургской постылой осенью
Город вновь разделяет нас.
Ты всегда держишь путь на Лиговский.
Среди моря чужих машин
Возвращаюсь на свой Васильевский,
Заплутав в уголках души.
Может, легче играть в невстреченность?
Кто для нас этот Высший суд?
Параллельность и незамеченность
Нас с тобой, как всегда, спасут.
Но зачем-то амурчик с небушка
Мое сердце пронзил стрелой!
И не Пушкин я, просто девушка,
Очарованная тобой.



Мы привыкаем безоглядно жить,
Хвалясь лишь тем, что видели воочию.
Как быстро вырастают наши дочери,
И зреют на ветру колосья ржи.

Мы привыкаем чувства приглушать
И ощущать себя такими взрослыми,
Что ни играть в снежки, ни спорить досветла,
Не можем, как ни просит нас душа.

Мы привыкаем важное скрывать,
Общаться ежедневно недомолвками,
Покровом сплетен, глупыми уловками
Бег от себя пытаюсь оправдать.

Романс

Пусть яркий звездопад накинёт Вам на плечи
Роскошный палантин из снов, стихов и грез.
Парите Вы в мечтах, и в Вашем взгляде вечность
Сменяется дождем или потоком звезд.
По клавишам пройдусь легко и невесомо,
Родится чистый звук и стихнет в тишине,
А после провожу Вас до большого дома,
И мимолетно Вы пожмете руку мне.
Далекий свет луны мне сердце не согреет.
Какая нынче ночь... Светла, как день, бела.
Я побреду с тоской по липовой аллее,
Что разделила мир наш с Вами пополам.



Притяжение сердца

Притяжение сердца сильней притяженья Земли.
К электричке спешу я, едва из полета вернувшись,
В суету мегаполиса вновь, с головой, окунувшись,
Чтоб уткнуться лицом в драгоценные руки твои.
Дорогая, любимая, я без тебя не могу.
Мне и небо родное пустынным на миг показалось,
Ведь такого со мной никогда-никогда не случилось,
И теперь по земле я к тебе, задыхаясь, бегу.
Открывается дверь, отозвавшись на гулкий звонок.
Я вхожу, оставляя снаружи дела и заботы.
Пусть привычным маршрутом летят без меня самолеты,
Мы сегодня вдвоем, мой надежный и верный дружок.



Илья Сургучёв: мифы и реальность

С 2006 года, когда в России и, в частности, в Ставрополе, общественность довольно широко отметили 125-ю годовщину со дня рождения русского писателя Ильи Дмитриевича Сургучева (1881-1956), опубликовано огромное количество исследовательских работ о его жизни и творчестве, читателям возвращена наиболее ценная часть его литературного наследия. Юбилей писателя стал поводом к активной исследовательской работе университетов и институтов Санкт-Петербурга и Москвы, Ставрополя и Саранска, Харькова и Йошкар-Олы, Ульяновска и Волгограда, Майкопа и Элисты, Института мировой литературы им. А.М. Горького... Неоценимый вклад в возвращение творческого наследия русского писателя внесли и продолжают вносить библиотечное и архивное сообщества России. Популярными в научной и краеведческой среде России стали «Сургучевские чтения», которые проводятся ежегодно в Ставрополе – на родине писателя. И всякий раз они несут читателям новые факты о жизни и творческой деятельности Сургучева.



**НИКОЛАЙ
БЛОХИН**

*ЛИТЕРАТУРО-
ВЕДЕНИЕ*





На сцены театров Москвы, Нижнего Новгорода, Курска, Луганска, Ставрополя, Иркутска были возвращены спектакли по пьесам «Осенние скрипки», «Игра», принесшие драматургу мировую славу. В городе Александрове Владимирской области состоялась премьера спектакля по повести Сургучева «Черная тетрадь». Зрители нового поколения увидели фильмы, поставленные известными режиссерами мирового кино по произведениям писателя «Человек, который банк в Монте-Карло» (1935), «Женщина опасного возраста» (1946).

На протяжении 1992-1997 годов популярные российские журналы «Бежин луг», «Роман-газета», «Слово», «Московский журнал», «Наука и жизнь», «Воспитание школьника» печатали повесть И. Сургучева «Детство Императора Николая II». Полюбившаяся читателям повесть о мальчиках – сыновьях Александра III и сыне учительницы Николая II – выходила в России не один раз и отдельным изданием, а в 2008 году в Санкт-Петербурге напечатана книга «Царская дружба», в которую вошли повесть И. Сургучева «Детство Императора Николая II», исследование А.В. Дьяковой «Царская дружба» – о судьбах героев книги И.Д. Сургучева «Детство Императора Николая II», очерк внучки писателя Т.Н. Ильинской «Что в имени тебе моем?» Ранее, еще в 1997 году, газета «Правда» напечатала фрагмент из пьесы Сургучева «Вождь» под заголовком «За чахохбили». Произведения Сургучева печатали «Независимая газета», «Гражданский мир».

К творческому наследию Сургучева обращались и ставропольские издания. На страницах альманаха «Литературное Ставрополье» увидели свет повести «Черная тетрадь», «Мельница», «Ночь», известные ранее лишь зарубежному читателю. В альманахе напечатаны неизвестные широкому читателю рассказы Сургучева. В сборниках «Сургучевские чтения» опубликованы повести «Из дневника гимназиста», «Черная



тетрадь», рассказы «Трешница», «Письмо», «Бред», «Северный Кавказ», «Письмо Перикола», «Мессина», «Студенческие годы». В альманахе «Ставропольский хронограф» печатались рассказы «Китеж», «Дядя Митя». В 2007 году издан библиографический указатель «Живописец души...»: Русский писатель и драматург И.Д. Сургучев», подготовленный к печати Ставропольским государственным университетом и Ставропольской краевой универсальной научной библиотекой имени М.Ю. Лермонтова. Ранее, в 1983 году, в Ставропольском книжном издательстве тиражом 30 тысяч экземпляров напечатана повесть Сургучева «Губернатор». А в 1987 году издательство «Современник» издало книгу «Губернатор», в которую вошли известная повесть, прочитанная и одобренная М. Горьким, и несколько рассказов писателя. В 2003 году «Ставропольская правда» познакомила читателей с находкой писателя и краеведа В.Н. Кравченко, напечатав с его комментарием неизвестный рассказ Сургучева «Прихожане прелестной Мариэтты». В 2006 году «Кавказская здравница» опубликовала интервью с внучкой писателя Т.Н. Ильинской «Вспоминал с любовью...»

Издательство Ставропольского государственного университета опубликовало две очень значимые для отечественного литературоведения книги ученого, литературоведа А.А. Фокина «Илья Дмитриевич Сургучев. Проблемы творчества» (2006) и «И.Д. Сургучев – драматург» (2008). В этих работах Александр Алексеевич рассказал о писателе Сургучеве не только как о значительной личности русской литературы XX века, признанной русской критикой, но и о драматурге, признанном всей Европой, мировую известность которому принесли его пьесы «Осенние скрипки», «Реки вавилонские», «Письма с заграничными марками», романы «Ротонда», «Ночь». В 2015 году театральная общественность России отметила 100-летие со дня



премьеры спектакля по пьесе И. Сургучева «Осенние скрипки» в Московском Художественном театре. И последняя новость: в январе 2017 года в Москве напечатаны первые четыре тома из собрания сочинений И. Сургучева (составитель доктор филологических наук А.А. Фокин). Российские читатели по достоинству оценивают проделанную работу по возвращению в литературный, литературоведческий, исторический и научный оборот имени русского писателя, первоклассного мастера языка и стиля Ильи Дмитриевича Сургучева, его творческого наследия.

Но, к сожалению, у Сургучева есть сегодня и противники, которые призывают «сбросить Сургучева с парохода современности», как когда-то в революционные годы футуристы и их сторонники говорили об Александре Сергеевиче Пушкине: «И мы со спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся».

За что же так не любят Сургучева некоторые авторы? За то, что не принял революцию 1917 года и эмигрировал из России? Так ее не приняли многие: по данным Лиги Наций в 1918-1921 годах из России выехали за рубеж 1,4 миллиона человек. Уехали от власти большевиков, от Гражданской войны и её последствий – от голода и разрухи.

Сургучева не любят за то, что в 1919 году издал книгу-памфлет «Большевики в Ставрополе», рассказывающую о совершенных ими преступлениях с 1 января по 8 июля 1918 года в городе? «Я никогда и никак не мог понять, как седовласые, длиннородые, солидные русские люди, которые прежде не резали, семь раз не отмерив, – теперь шли за мальчуганами, большей частью – выгнанными семинаристами, – шли, не рассуждая, слепо веря, – шли, грабили, уби-



вали своих же братьев по крови, по вере, мучили их и издевались», - это отрывок из брошюры Сургучева «Большевики в Ставрополе».

А вот это мнение доктора филологических наук А.А. Фокина: «Неприятие насилия в любой форме, не важно, с какой целью, как раз и стало причиной того, что по своей внутренней сути духовный, православный писатель, часто цитирующий Библию, не принял разрушительную революцию 1917 года и вынужден был покинуть страну». Обращаю внимание на то, что никто и не опроверг Сургучева: его книгу просто положили в спецхран на долгие годы. А документы Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков, совершенных ими в 1918 году в Ставрополе, Пятигорске, станице Елизаветинской, опубликованы в книге «Красный террор в годы гражданской войны» (книга издана в Москве, в издательстве «Книгобек» в 2013 году под ред. докторов исторических наук Ю.Г. Фельштинского и Г.И. Чернявского) и доступны исследователям, читателям.

Но была и другая книга о злодеяниях большевиков, только совершенных ими в Крыму. Речь идет о романе В.В. Вересаева «В тупике», который в Главлите рассматривали как контрреволюционный. «Я кончил свой роман «В тупике», - вспоминал В. Вересаев. - Он должен был печататься в альманахе «Недра». Возможность прохождения романа сквозь цензуру вызывала большие опасения. Редактор издательства «Недра» Н.С. Ангарский имел какие-то служебные отношения к тогдашнему заместителю председателя Совнаркома Л.Б. Каменеву. В декабре 1922 года Ангарский обратился к Каменеву с просьбой, нельзя ли было устроить у него чтение моего романа». Каменев согласился. Чтение романа состоялось в Кремле 1 января 1923 года. На чтении присутствовали Каменев, Дзержинский, Сталин, Куйбышев, Сокольников, Курский. Присутствовал почти весь



тогдашний Совнарком, без Ленина, Троцкого, Луначарского. На чтении были также Воронский, Д. Бедный, П.С. Коган, окулист профессор Авербах, музыканты Шор, Эрлих, Крейн, жена В. Вересаева М. Г. Смидович. Обсуждение было довольно жестким. Каменев говорил: «Удивительное дело, как современные беллетристы любят изображать действия ЧК. Почему они не изображают подвигов на фронте гражданской войны, строительства, а предпочитают лживые измышления о якобы зверствах ЧК». После выступлений Д. Бедного, профессора П.С. Когана, И. Сталина свое слово сказал Ф.Э. Держинский, председатель ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР, председатель ГПУ (ОГПУ) при Совете Народных Комиссаров СССР. В своей речи он защитил Вересаева и его роман: «Вересаев – признанный бытописатель русской интеллигенции. И в этом новом своем романе он очень точно, правдиво и объективно рисует как ту интеллигенцию, которая пошла с нами, так и ту, которая пошла против нас. Что касается упрека в том, что он будто бы клеветает на ЧК, то, товарищи, между нами – то ли еще бывало!» После обсуждения романа в Кремле за ужином Вересаев оказался за столом рядом с Держинским. В разговоре с Держинским Вересаев напомнил, как вскоре после Перекопа красные, овладев Крымом, объявили, «что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба кончена, предоставляется белым выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с Советской властью». И «молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками», пришло на регистрацию, увидев в этом «выход к честной работе в родной стране». А потом, вспоминал Вересаев, «началась бессмысленная кровавая бойня: всех являвшихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов». В тот ве-



чер, в Кремле, Вересаев спросил Дзержинского, для чего все это было сделано, почему были уничтожены тысячи людей. Дзержинский ответил писателю: «Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия».

Во главе этой расправы, писал Вересаев, стояла так называемая «пятакская тройка»: Пятаков, Землячка и Бела Кун. Когда Вересаев спросил Дзержинского: «Вы имеете в виду Пятакова?», тот ответил: «Нет, не Пятакова». Из этих неясных ответов председателя ГПУ (ОГПУ) Вересаев пришел к заключению, что тот имел ввиду Бела Куна.

Уже, в наше время, именно этот факт стал основой сценария фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар». После регистрации белым офицерам разрешили подняться на палубу парохода. Он вышел в море. И когда крымский берег исчез за горизонтом, пароход взорвали и потопили вместе с людьми. Жестокости войны, прежде всего, а не разногласия с большевиками, побудили Сургучева искать более прочное прибежище, нежели российское. Писатель покинул Россию, а не бежал с Врангелем, как пишут некоторые исследователи. Это был его личный выбор: возврат на родину в Ставрополь стоил бы ему и его семье жизни.

В течение десятилетий исследователи приписывают Сургучеву деяния, которых он никогда не совершал. Вслед за ними и современные авторы утверждают, что «Сургучев И.Д. – эсер-боевик, комиссар Временного правительства 7-ой армии Юго-Западного фронта, делегат Всероссийского учредительного собрания». Утверждают, например, что сохранилось «Донесение комиссара 7-й армии Юго-Западного фронта Сургучева» от 15 октября 1917 года, найденное в РГ-



ВИА, в фонде Кабинета военного министра. В нем данный Сургучев (без имени и отчества, даже без инициалов) сообщает о положении в армии: «...безотрадная картина общего падения духа и дисциплины. Необходимы особые меры поднять армию, оградить от безответственных сил. Положение армии в настоящий момент чрезвычайно серьезно. Нужны теперь смелые и сильные решения, за которыми должны последовать столь же решительные действия».

Здесь несколько ошибок, которые из года в год повторяют исследователи и таким образом вводят читателей в заблуждение. Автором этого донесения, действительно, значится Сургучев (без указания имени-отчества). И он, действительно, комиссар Временного правительства 7-й армии Юго-Западного фронта. Эта «ошибка» идет от книги «История гражданской войны» (М., 1935. - Т. I. - С. 413). Авторы книги М. Горький, К. Ворошилов, В. Молотов. В именном указателе к 1-ому тому напечатано: «СУРГУЧЕВ И. Д. – эсер, комиссар Временного правительства в 7-й армии Юго-западного фронта – 413».

Но подлинным автором этого донесения является Дмитрий Павлович Сургучев. Вот что известно о нем: «Сургучев Дмитрий Павлович (1879, с. Мордово Камышинского у. Саратовской губ. – 27.12.1918, Уфа). Юго-Западный фронт. № 1 – эсер и Совет КД. Из мещан, сын почтового чиновника. Окончил Аткарскую гимназию. Служил письмоводителем. Поднадзорный с 1899, эсер-боевик. Арестован в 1906, был на каторге, затем ссыльнопоселенец в Верхоленском уезде. В 1914 бежал с места ссылки, перешел на нелегальное положение. В 1917 комиссар 7-й армии. Член военной комиссии ЦК. Участник заседания УС 5 января. Делегат VIII Совета ПСР в мае 1918. Убит офицерами-колчаковцами (по версии М. В. Вишняка, расстрелян большевиками)».



Сведения о Д.П. Сургучеве приводятся по книге: Л.Г. Протасов. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008. А эта информация о Д.П. Сургучеве взята из Википедии: «Дмитрий Сургучев появился на свет в 1879 году в селе Мордово Камышинского уезда (Саратовская губерния) в мещанской семье почтового чиновника Павла Сургучева. Окончив Аткарскую гимназию, Дмитрий начал служить чиновником, занимающимся ведением канцелярских дел и делопроизводством (письмоводителем).

Сургучев оказался под полицейским надзором «царской охраны» в 1899 году. Он был членом Партии социалистов-революционеров (ПСР), в которой входил в Боевую организацию (эсер-боевик). Дмитрий Сургучев был арестован в 1906 году и осужден на каторжные работы. Затем он стал ссыльнопоселенцем в Верхоленском уезде. В 1914 году он бежал с места ссылки и перешел на нелегальное положение.

В 1917 году, после Февральской революции, Дмитрий Сургучев стал комиссаром 7-ой армии («Одесская армия»). Одновременно он был членом военной комиссии ЦК ПСР. В том же году Дмитрий Сургучев был избран членом Всероссийского учредительного собрания от Юго-Западного фронта по списку № 1 – эсеры и Совет крестьянских депутатов. Дмитрий Павлович стал участником первого и последнего официального заседания Учредительного собрания 5 января 1918 года, на котором его делегаты были разогнаны большевиками. В мае 1918 года Сургучев избрался делегатом VIII-го Совета ПСР. Он был убит в Уфе офицерами-колчаковцами или расстрелян большевиками (по версии М. В. Вишняка)». Знал ли о существовании комиссара 7-й армии Юго-Западного фронта Д.П. Сургучева драматург И.Д. Сургучев? Оказывается, знал. Летом 1917 года, когда появился «двойник», выступавший от имени писателя в поддержку Февральской революции, И.Д. Сургучев находился в Кисловодске.



«Летом 1917 года, сидя в Кисловодске, - вспоминал Илья Дмитриевич, - я неоднократно читал в телеграммах «Русского Слова, что на фронте, тогда уже разваливавшимся, подвизается социалист-революционер, писатель И.Д. Сургучев, выставивший, между прочим, свою кандидатуру в Учредительное собрание. Ясно было, что какой-то «деятель», присвоил себе мое имя и оперирует им».

Как поступил в данной ситуации писатель И.Д. Сургучев? Вместе с Ильей Дмитриевич в Кисловодске в те летние дни 1917 года находился известный на Ставрополье присяжный поверенный С.И. Манжос-Белый. А дальше послушаем рассказ Ильи Дмитриевича: «Во избежание всяких дальнейших осложнений я тогда же вместе со своим другом, пр<исяжным> по<веренным> С.И. Манжос-Белым, засвидетельствовал свое проживание в Кисловодске в тот именно период, который был обозначен в «Русском Слове» относительно моей работы» на фронте». Но, как писал автор очерка «Илья Сургучев» Д.Д. Николаев из Института мировой литературы им. А.М. Горького, «слухи об эсеровских симпатиях Сургучева оказались столь устойчивыми, что ему пришлось вновь опровергать их почти через двадцать лет, в феврале 1935 г.» Через восемнадцать лет после публикаций в «Русском Слове» Сургучев писал: «На днях, до меня дошли слухи, что и в эмиграции есть люди, которые, конечно, по неведению, смешивают меня с самозванцем. Пользуясь случаем, чтобы еще раз подтвердить, что никогда социалистом-революционером я не был, своей кандидатуры в Учредительное Собрание никогда не выставлял, и уехал с фронта в конце 1916 г.» . «Письмо в редакцию» И.Д. Сургучева опубликовано в газете «Возрождение» 12 февраля 1935 года, но, похоже, о нем знает узкий круг литературоведов.

Некоторыми авторами упорно распространяется еще один миф о том, что в декабре 1942 года И.Д. Сургучев, покинув оккупированный Париж, приезжал



в оккупированный Ворошиловск (Ставрополь). Илья Дмитриевич не мог приехать в Ворошиловск по нескольким причинам: в военное время на такую поездку требовалось особое разрешение немецких властей и документы. Сургучев не был гражданином ни Российской Империи, ни Советского Союза, ни Французской Республики. У Сургучева был лишь один документ, удостоверяющий его личность: нансеновский паспорт, по которому в те годы дальше оккупированного Парижа не уедешь. Во-вторых: на такую далекую поездку нужны были большие деньги. А их у Сургучева в то время уже не было. Спектакли по его пьесам на сценах европейских театров в годы войны не шли, книги не выходили, статьи не печатали и гонораров не было. Заработать физическим трудом, как Н.Я. Рошин землекопом, автор еще одного «Парижского дневника», Сургучев не мог. В 1942 году Сургучеву шел 62-й год, Рошину - 46-й. У Сургучева оставался один способ заработать: продавать на парижском рынке «редкости» из своей книжной коллекции.

«Подсчитал свои капиталы и спел из Варлаама: «Плохо, сыне, плохо, христиане скупы стали, деньгу любят, деньгу прячут». Банки закрыты, почты из Америки нет, хозяин «Возрождения» сбежал, никому не заплативши. Что же делать? Придется продавать вещи, придется заколоть несколько книг, но каких? Легко сказать, «продай книги». Но как с ними расстаться и с чего начать? Легче уж, кажется, в гроб лечь. Или кота продать какой-нибудь ревматической старухе», - с улыбкой писал Сургучев 15 июня 1940 года. Тем не менее, некоторые авторы, не исключают, что Сургучев вполне мог побывать в оккупированном Ворошиловске (Ставрополе) в конце 1942 года с некоей немецкой делегацией во главе с немецким офицером и писателем Эрнстом Юнгером. Ссылаются на его дневник, приводят цитату из него, но не полностью, а так, вскользь



зь, лишь два слова, и закавычивают: «прощупать настроения». На первый взгляд, похоже на правду. А вот о том, кто намеревался «прощупать настроения» и где, тоже ни слова. Но подводка сделана под русского писателя Сургучева. И у читателей складывается впечатление, что пребывание Сургучева в составе такой делегации было «и технически, и идеологически вполне возможным и даже вполне логичным». Расчет верный: ушат грязи на Сургучева вылит, а дневник Эрнста Юнгера никто не читал. О том, что он издан в России и доступен широкому кругу читателей, об этом авторы не говорят ни слова. Открываю дневник «Излучения» (издание 2002 г.; литературоведы считают его первым «Парижским дневником» военных лет), читаю записи, сделанные Эрнстом Юнгером за период с 24 октября по 31 декабря 1942 года. Как видно из дневника Эрнста Юнгера, с 24 октября по 10 ноября он находился в Кирххорсте, с 12 по 15 ноября – в Берлине, с 17 по 20 ноября – в Лётцене, 21 ноября – в Киеве, 22 ноября – в Сталино, а через час – в Ростове, 23 ноября – в Ростове, с 24 ноября по 8 декабря – в Ворошиловске. В дневнике нет ни слова о том, что Эрнст Юнгер возглавляет делегацию. Напротив, он подчеркивает, что приехал в Ворошиловск один. В дневнике в основном бытовые детали: «...удалось раздобыть тарелку супа», «...до отхода поезда на Ворошиловск я спал на стойке буфета в зале ожидания», «...жил в здании ГПУ, выделяющемся колоссальными размерами, как все, что имеет отношение к ведомству полиции и тюрем». В Ставрополе Эрнст Юнгер поднимался на колокольню, рассматривал цепь Кавказских гор, наблюдал Эльбрус, за обедом встречался с генерал-полковником фон Клейстом, сделал прививку от сыпного тифа, осмотрел зоологическую коллекцию в городском музее, видел русских пленных за работой, присутствовал при допросе русского военнопленного, наблюдал похороны, побывал на рынке, в Институте чумы узнал, что немецкая служба безопасности уничто-



жила восемьсот душевнобольных... В дневнике за 2 декабря 1942 года есть запись об этом преступлении: «Дыхание этого мира палачей столь ощутимо, что умирает всякое желание работать, писать и размышлять...»

Эрнст Юнгер называет в дневнике имена тех, с кем ему довелось встретиться в Ворошиловске (Ставрополе). Среди них немецкие офицеры, советские граждане, врач противочумного института, но нигде ни разу Эрнст Юнгер не вспомнил о том, что в поездке его сопровождал русский писатель-эмигрант, уроженец Ставрополя Илья Сургучев.

А Илья Сургучев находился в это время в оккупированном Париже: сохранились его дневниковые записи за 29 ноября и 19 декабря. Ни в дневнике Юнгера, ни в дневнике Сургучева нет и таких слов: «прощупать настроения».

А когда читаешь измышления о том, что в дом по улице Ясеновской в декабре 1942 года приходил «молодой барин... Илья Дмитриевич, сынок Дмитрия Васильевича, старого барина. В меховой шубе и такой же шапке, с узорной палкой в руке...», то оторопь берет. Ни одной фотографии Сургучева в таком наряде не попадается. Да и немолод был Илья Дмитриевич: ему в ту пору было почти 62 года (Сургучев родился 28 февраля 1881 г. - Н.Б.).

Вскоре после нападения Германии на Советский Союз Илья Дмитриевич записал в дневнике 1 июля 1941 года: «Я поеду в Россию? Да никогда. Что я там буду делать? Все, кого любил, давно умерли или казнены. С отцовской могилы снята мраморная плита. Кругом – племя молодое, незнакомое и диковатое... Кто мне нужен и кому я, смешной человек, привидение старого мира, нужен? Нет, уж я как-нибудь в Парижске, в двенадцатом квартале, на кладбище со смешным названием «Тиэ» (похоже на толстовское «тае»), неподалеку от Бориса Лазаревского: вместе грешили, вместе и ле-



жать будем...» (Русский писатель Борис Александрович Лазаревский оставил после себя семитомное собрание сочинений, девять книг рассказов и шестьдесят дневниковых тетрадей, которые напоминают нам о неизвестных фактах биографии Бунина, Куприна, Сургучева. Умер Лазаревский в Париже в 1936 году. - Н.Б.).

Переписка Сургучева с родными оборвалась еще в 1937-м. Из последних писем он знал, что дочь Клавдия вышла замуж за инженера Н.А. Ильинского, и что живет она с мужем в Ростове-на-Дону. Вторая дочь Вера живет в семье Ильинских. В Ставрополе никого из родных писателя не осталось. И ни о каком сотрудничестве Сургучева «с фашистской Германией... на более высоком уровне» речи быть не может еще и потому, что Илья Дмитриевич не был вхож в столь высокие кабинеты руководителей рейха. Его, драматурга, постановщика спектаклей по своим, авторским, пьесам, в те дни его занимала одна мысль: как помочь попавшим в беду коллегам по театральному цеху, как не умереть с голоду самому.

«Пришлось «объединяться», - писал Сургучев в дневнике 11 июля 1943 года. - В объединении сила. Так или иначе, худо или бедно, создалось объединение русских журналистов. Потом включили в него артистов. Устроили в зале Плейель великолепный концерт оперного хора по дешевым ценам: пришли только родственники хористов. Десять тысяч убытка. Эмигрантская элита, работавшая у немцев на великолепных окладах, покупала билеты, выторговывая скидку. Прогорели». Через газету «Новое слово», выходившую на русском языке в 1943 году в Берлине, Сургучев, как он пишет, «крикнул SOS на всю эмиграцию, и тут случилось чудо: в шапку отзывчивые русаки живо набросали свыше 30000 франков. Спаслись. Не подошли с голоду. Даже подлечились». Парижская эмиграция, под черкивал Сургучев, не дала гроша. Деньги присылали из Германии, Италии, Балканских стран, Финляндии.



И еще об одном порочащем Сургучева мифе, муссируемом как в эмигрантской литературе, так и в российской, – об аресте писателя. 3 августа 1945 года газета «Русские Новости» (выходила в Париже взамен газеты Милюкова «Последние новости». - Н.Б.) сообщала: «Ярый поклонник гитлеровской идеологии, человек, лично близкий к Жеребкову, Сургучев был одним из столпов его газеты с первых же ее номеров. (Юрий Жеребков при немецкой оккупации Парижа возглавлял Управление делами русской эмиграции во Франции и под вывеской этого ведомства издавал профашистскую газету «Парижский вестник».) В июле и августе 1942 года он опубликовал на страницах «Парижского вестника» ряд прогитлеровских и антирусских фельетонов под общим названием «Парижский дневник». Позднее, сделавшись, очевидно, более осмотрительным, Сургучев от писания подобных статей воздерживался, но продолжал деятельно работать в газете почти до самого ее закрытия. Арестован Сургучев именно за эти фельетоны, восхвалявшие немецких оккупантов и глубоко враждебные Франции. Его «досье» передано судебным властям, и процесс Сургучева состоится в недалеком будущем. В ожидании его заключенный находится в тюрьме «Френ». Но повесить всех собак на Сургучева, как и громкого процесса, которого так ждали противники писателя, не получилось. Из тюрьмы, точнее из следственного изолятора тюрьмы «Френ», узника вскоре тихо отпустили.

Чтение и литературоведческий анализ военной публицистики Сургучева показывает, что современный читатель не найдет в ней ни одного слова, где бы писатель поклонялся Гитлеру и его идеологии, восхвалял немецко-фашистский режим. Почитаем, читатель, «Парижский дневник» вместе. Дневниковая запись за 17 июня 1940 года, сразу после падения Парижа:

«Цел ли ты, мой милый, единственный и неповторимый город Ставрополь-Кавказский? И при одном этом



имени вырисовывается колокольня на горе, работы архитектора Воскресенского (пожалуй, поинтереснее даже работ самого Растрелли), старая гимназия и дом Извозчикова (его же) – и весь родной город, вся симфония детства и отрочества воскресают с ясностью волшебной и с волнительностью райской. Комбинация работ Воскресенского с бульваром, с фонтаном на Думской площади и свой собственный, обжитой, обкуренный, как пенковая трубка, уголок по Первой Ясеновской начинают сладко петь:

– Как я от дома далеко!..

И эта любовь к дому, неистребимая, несмотря ни на какие Парижи, ни на какие Елисейские поля, прорывается в какой-то милой, но только мной, только моим сердцем рожденной мелодии, и я знаю: так начинается музыка. В сердце всякого человека стоит музыкальный ящик. Всякий может вспомнить свой Ставрополь и, вспомнив, запоёт и, может быть, лучших слов для нас сейчас нет: «Как я от дома далеко!..» И каждый вспоминает, что даже свиньи в доме отца его ели лучше, чем он ест здесь, на Елисейских Полях».

А эту запись Сургучев сделал 5 августа 1942 года:

«Ворошиловск взят... В переводе на наш язык это значит: «Ставрополь взят...» И как неистребима, как упорна эта «Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам!» И как ни корми нас всякими изысканными Парижами, Виарридами и Трувиллями, мы все равно до скончания веков наших, всегда, ныне и присно будем посматривать, как волки в лес, туда, где кривыми закоулками расположены наши Ясеновские, Хоперские, Армянские, Станичные, Подгорненские улицы и переулки, Нижние Базары, Ярмарочные площади, Полковничьи Яры и все то, что так близко к родному пепелищу и к холмика отеческих гробов.

– На улицах, дом за домом, шли бои...

Это легко читать, а вот думать:



– А что же дома Розеньковых, Сургучёвых, Демьяновых, Афанасьевых, Первушиных, Пышненковых, Рубрилиных?.. Целы ли? Батюшка! Спаси и сохрани, дай перед концом взглянуть...

Ставрополь-Кавказский, 700 футов над уровнем моря, царь пшеницы, король винограда, великий герцог бесконечных тучных стад... Богач, лаццарони, творец песен и дерзких пословиц, кум всем королям, озаренный покровом Владычицы Казанской, которая, как святая Женевьева Парижская, день и ночь бодрствовала над распластавшимся у Ея подножья городом... И гнала от него трус, потоп, огонь, меч и междоусобную брань...»

А за такие гимны родному городу под арест? Вот что писал Сургучев о своем аресте. Читаем дневниковую запись Ильи Дмитриевича за 16 мая 1945 года: «Накопец меня вызвали, и я поднялся с отчетливым чувством школьника, вызванного к экзаменационному столу. Привели к какому-то господину, сидевшему за столом. Господин коротко и неодобрительно взглянул на меня и пригласил сесть. Перед ним лежало досье». «Господин» спросил Сургучева, работал ли он «в такой-то газете». Речь, видимо, шла о «Парижском вестнике». И, получив утвердительный ответ, спросил, писал ли он «вот эту фразу»: «.. и господин прочитал какую-то французскую фразу, в которой, несмотря на корявый перевод, я узнал себя». «А вот это вы писали?» - «Писал». - «А это?» - «И это писал».

«И господин как-то внутренне просветлел: он, очевидно, рассчитывал на отрицания, на отпирательство, а тут все потекло, как по маслу. Я почувствовал, что человек проникается ко мне симпатией. И вдруг он улыбнулся и совсем иначе посмотрел на меня, и мы, кажется, впервые увидели друг друга. Вокруг кипела странно напряженная жизнь – иногда появлялись городские в пелеринах и в кепках, и было какое-то неслияние масла и воды. Мы долго разговаривали, курили и вдруг его вызвали к телефону. Когда он ушел, я приподнял кусо-



чек бумаги и увидел, что она подписана известным русским врачом, который часто печатает в газетах объявления о своей лаборатории», – написал Сургучев 16 мая 1945 года. И краска стыда залила ему лицо: «...это был донос невероятный, неожиданный, необъяснимый, дикопроvincialный, болезненный».

Сургучев, в отличие от Иванова, Берберовой и других писателей-эмигрантов, не стал оправдываться. Однако участи отверженного, обреченного на нищету в послевоенные годы, ему миновать не удалось. Насколько справедлива была кара? И насколько тяжка вина? «Вся заграничная публицистика Сургучева военной поры, – считает профессор, доктор филологических наук Александр Алексеевич Фокин, – пропитана идеей гуманизма: Европа в огне, под бомбами гибнут культурные ценности, без которых нет ни нравственности, ни морали, ни преемственности поколений. И в этом себе Илья Дмитриевич не изменил».

От себя добавлю: вся так называемая современная публицистика противников Сургучева, признаться, похожа на донос, на тот самый, который был написан на него в мае 1945 года. Их авторы требуют доказательств, что Илья Дмитриевич Сургучев был и остался патриотом своего родного города Ставрополя-Кавказского, был и остался патриотом России. А доказывать ничего не надо: надо просто читать очерки, рассказы, повести и романы Сургучева, смотреть спектакли, поставленные по его пьесам, приходиться на Сургучевские чтения, посещать книжные и фотографические выставки, посвященные ему и его творчеству. И, я уверен, вы полюбите Илью Дмитриевича Сургучева, замечательного русского писателя, о котором М. Горький писал: «Берегите Сургучева второго, которому столь трудно жить и без людей, и с ними». Берегите Сургучева!



Исторические новеллы

На его дружбу можно было положиться

Валериан Голицын родился в 1803 году и принадлежал к старинному княжескому роду. Учился в частных пансионатах Петербурга и Москвы. Военную службу начал прапорщиком в лейб-гвардии Преображенском полку. В 1824 году уволился со службы поручиком и поступил в Департамент внешней торговли. Годом раньше стал членом Северного тайного общества. Арестован, решением Верховного уголовного суда осужден по VIII разряду, приговорен к лишению чинов, дворянского и княжеского достоинства. Сослан в Сибирь на 20-летний срок. Летом 1928 года отправлен в городок Киренск Иркутской губернии.

Его мать обратилась к императору с просьбой о милосердии и получила ответ управляющего Главным штабом графа Чернышева:

«Милостивая Государыня Наталья Ивановна.

Государь Император, снисходя на всеподаннейшее прошение Вашего Сиятельства, Всемилостивейше повелеть соизволил находящегося на поселении сына Вашего Ва-



**ВИКТОР
КРАВЧЕНКО**

КРАЕВЕДЕНИЕ





лериана Голицына определить рядовым в отдельный Кавказский корпус... 27 апреля 1829 года. С.-Петербург».

Таким образом, для декабриста путь из Сибири лежал на Кавказ, в каком-то смысле, не менее опасный, учитывая, что служил он рядовым солдатом. Валериан Голицын участвовал в Русско-турецкой войне в 42-м егерском полку. Переведен в 91-й Кавказский линейный батальон, который располагался в Астрахани. В 1833 года служил в Грузии в пехотном графа Паскевича-Эриванского полку. Наконец в декабре 1834 года переводится на Кавказскую линию в Кабардинский егерский полк, принимавший активное участие в войне с горцами. И лишь в 1835 году Голицына произвели в унтер-офицеры, а два года спустя – в прапорщики.

Летом 1837 года Валериан Голицын, будучи в отпуске, принимал ванны в Пятигорске, где познакомился с поэтом Михаилом Лермонтовым. В книге об отпуске минеральных ванн в Пятигорске от 24 мая записано: «выдано 10 билетов унтер-офицеру Валериану Голицыну».

Когда закончился сезон на Водах, декабрист поспешил в Ставрополь. И здесь в октябре, он также встречался с Лермонтовым в доме известного на Кавказе штаб-лекаря Майера, ставшего прототипом доктора Вернера в романе «Герой нашего времени». Один из посетителей Майера, офицер Генерального штаба Г. Филипсон, вспоминал об этом периоде ставропольской жизни: «Через Майера и у него я познакомился со многими декабристами, которые по разрядам присылались из Сибири в войска Кавказского корпуса. Из них князь Валериан Михайлович Голицын жил в одном доме с Майером и был нашим постоянным собеседником. Это был человек замечательного ума и образования. Аристократ до мозга костей, он был бы либеральным вельможей, если бы судьба не забросила его в сибирские рудники...».



В июне 1838 года декабрист был уволен со службы по болезни. Ему разрешили служить по гражданскому ведомству в Кавказской области, и он был зачислен в штат управления в Ставрополе. Но хотя это и было значительным послаблением участи, Валериан Голицын всей душой стремился к родным...

Спустя год, осенью 1839 года, он навсегда покинул Кавказ и из Ставрополя отправился к Азовскому побережью, где в окрестностях Тамани, в Фанагории, встречал декабриста Н. Лорера, который вспоминал: «Мрачный ноябрь месяц наступил, я почти безвыходно сижу в своей лачужке. Однажды утром слышу знакомый голос, осведомляющийся обо мне, и через несколько минут обнимаю моего дорогого товарища, князя Валериана Михайловича Голицына, который наконец получил отставку и едет, счастливец, к матери и братьям... На берегу я простился с этим милым человеком и весело возвратился к себе в лачугу, радуясь, что и еще один из наших свободен...».

Местом жительства декабриста был назначен Орел. Наталья Ивановна очень любила своего сына и после перевода его на Кавказ каждый год ездила в Астрахань или Пятигорск. Он брала с собой двоюродную племянницу, княжну Дарью Ухтомскую, которую все звали Долли. Голицын влюбился в юную кузину. Они сыграли свадьбу в 1843 году и поселились в селе Архангельское-Хованщина Епифанского уезда Тульской губернии. Валериан Голицын очень сблизился с жившим в 15 верстах И. Раевским, жена которого, Екатерина писала: «Валериану Михайловичу было уже сорок лет. Большие его черные глаза глядели прямо и строго, но любовь его к семье смягчала иногда до нежности эту обычную строгость. Характера он был прямого, правдивого, высказывал свое мнение без утайки. На его дружбу можно было положиться...».



По амнистии 1856 года большинству декабристов была предоставлена свобода выбора места жительства, ряд иных послаблений. В. Голицыну и его детям возвратили княжеский титул с освобождением от всех ограничений. Декабрист Н. Лорер так вспоминал о последней встрече с товарищем по изгнанию: «В 1859 году я навещал князя Голицына, уже женатого на княжне Ухтомской, и познакомился с его детьми, с сыном и дочерью. Дом их, как и большей частью русских вельмож, был открыт и гостеприимен, и мы часто проводили вечера наши в воспоминаниях о Кавказе». Судьба, однако, выделила Голицыну не слишком много простого человеческого счастья: будучи еще не старым человеком, он скончался 8 октября 1859 года от холеры. Похоронен в Москве в Даниловом монастыре.

Не видеть мне снегов родины

Александр Александрович Бестужев-Марлинский является, бесспорно, самой яркой личностью среди декабристов, отбывающих наказание в отдельном Кавказском корпусе.

А.А. Бестужев родился 23 октября 1797 года в Петербурге. В 1816 году Бестужев вступил юнкером в лейб-гвардии драгунский полк, стоявший под Петергофом, в Марли (откуда и псевдоним – Марлинский). Через год, в двадцать лет, стал офицером. Тогда же занялся переводами, начал печататься – совместно с К. Рылеевым издавал альманах «Полярная звезда». В 1824 году принят в Северное общество. Принадлежал к активным участникам восстания на Сенатской площади.

В материалах следствия указывалось, что штабс-капитан Бестужев *«умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии, возбуждая к тому других, соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии... Лично действовал в мя-*



теже и возбуждал к оному нижних чинов». В письме к Николаю I из Алексеевского рavelина Петропавловской крепости Бестужев с удивительной смелостью заявлял, что, если бы к декабристам присоединился Измайловский полк, он бы *«принял команду и решился на попытку атаки, которой в голове... вертелся уже и план»*. После приговора Верховного уголовного суда Бестужев год провел в крепости Роченсальм (Финляндия), откуда по особому высочайшему повелению был обращен на поселение в Якутск. Там он писал прошения в Петербург о переводе на Кавказ. Просьбу услышали. Граф Чернышов доносил господину генерал-губернатору Восточной Сибири: *«...Его Императорское Величество из уважения к чистосердечному раскаянию сего преступника, снисходя на просьбу его, Всемилостивейше соизволил повелеть определить его рядовым в один из действующих против неприятеля полков Кавказского корпуса »*.

На Кавказе шла война с турками, и Бестужев рассчитывал, блеснув отвагой, заслужить офицерский чин и выйти в отставку. В бесстрашии своем он не сомневался. Однако, наивный, совсем не знал Николая I. Обгоняя декабриста, в штаб корпуса в Тифлисе поступило секретное предписание о том, *«чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только – какое именно отличие им сделано»*.

В июне 1929 года он отправился в тысячеверстный путь из далекой Якутии. *«...Я солдат и лечу к стенам Эрзерума. Путь мой по берегам Лены был труден и опасен, редкий день проходил без приключений, но каждый час сближает меня с битвами за правое дело и я благословляю судьбу. Мужайтесь, уповая на Бога. Желайте мне заслужить царское великодушие»*, – писал он с дороги братьям Николаю и Михаилу, томившимся на торговле в Читинском остроге. От Астрахани свернул на Екатериноград, куда приехал 3 августа – в *«...станцию*



на берегу Терека... Здесь ночевали мы четвертую ночь с выезда из Иркутска, так спешили мы с жаркой волей, чтобы застать победителей эрзерумских еще со взмахнутым мечом...», – сообщал Александр Александрович матушке из Тифлиса.

На Военно-Грузинской дороге Бестужев разминулся с Александром Пушкиным, возвращавшимся из Закавказского края. Позже он с сожалением вспоминал о несостоявшейся встрече: «...Я рвал на себе волосы с досады, – сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него, и случай развел нас на долгие и, может быть, на бесконечные годы...».

15 августа Бестужев писал домой в Петербург: «Я в Грузии. Надо мной тает тлетворное тифлисское небо, и за мной белеют вдаль снежные хребты Кавказа. Наконец, я видел Кавказ, который жаждал видеть с самого детства, и до сих пор не насытился этим великолепным зрелищем».

В действующей армии он встретил младших братьев Петра и Павла, изгнанников-декабристов и вместе с ними участвовал в русско-турецкой войне. С окончанием турецкой кампании братья вновь встретились в Тифлисе, где на зимних квартирах проживали офицеры, в том числе и декабристы.

В январе 1830 года А. Бестужева отправили на Кавказ, в Дербентский гарнизонный батальон, где он прослужил четыре года. Ходил в походы, участвовал в сражениях, был представлен к Георгиевскому кресту, но имя рядового Бестужева вычеркнули из наградных списков. Он, скучает по друзьям, по матери, сестрам, братьям, его мучит тоска, угнетает неизвестность. «Не только башен Кремля, столь горячо любимых мною – не видать мне и снегов родины, снегов, за горсть коих отдал бы я весь виноград Кавказа, все розы Азербиджана» (так у Бестужева – В.К.), – с горечью писал Бестужев Н.А. Полевому.



Время, свободное от службы, он отдавал писательскому труду. В 1830 году журнал «Сын Отечества» напечатал повесть Бестужева «Испытание», затем появились повести «Лейтенант Белозор», «Фрегат «Надежда», «Наезды», «Мореход Никитин», «Аммалат-Бек». Сестра Елена Александровна смогла в 1832 году издать первые пять книг брата. Под фамилией Бестужев печататься ему было запрещено, российские читатели знали автора под псевдонимом А. Марлинский.

Романтическая проза Бестужева-Марлинского была такая же захватывающая, как и вся жизнь писателя. В его литературном мире, созданном на фоне кавказской природы, среди племен и народов, достаточно романтических образов, навеянных горскими легендами, с любовью и разлукой, ревностью и кровной местью, погоней и стрельбой. Однако большинство героев – люди чести, верности клятве и долгу, способные на отважные поступки. Громкая писательская слава поставила А. Бестужева-Марлинского в первый ряд русской литературы. И.С. Тургенев в 1870 году писал, что в 30-е годы Бестужев *«гремел как никто – и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним...»*.

Весной 1834 года Бестужева снова перевели в Грузию, в Ахалцых. Приехав в Тифлис, он встретился с братом Павлом, получившим отставку. Вскоре, к нему пришло приглашение из Ставрополя от генерала А. Вельяминова принять участие в закубанской экспедиции. В июле декабрист впервые приехал в Ставрополь, откуда отправился на правый фланг Кавказской линии, где его ждали отчаянные схватки с горцами. Из письма Борису Шереметеву:

«...Ставрополь – хороший городок... Зимой вероятно, вернусь сюда и постараюсь побывать у вас – но от меня ли это зависит? Вельяминов имел два дельца и уже он 100 потерял из фронту. Перестрелка с



утра до ночи – у Шапсугов есть четыре пушки. Завтра еду – что будет впереди – известно богу...

*Я твой неизменно
Александр Бестужев».*

За осеннюю кампанию декабриста представили к награде, снова безрезультатно. Наконец, летом 1835 года его произвели в унтер-офицеры. Милость царская снизошла через шесть лет, но это не избавило Бестужева от дальнейших тягот бесконечной службы. Сырые холодные ночевки, нерегулярное питание, примитивное лечение, разные недомогания и тропические заболевания постепенно разрушали его здоровье. Летом он выпросился в Пятигорск для лечения. Александр пишет брату Павлу: *«...мы здесь уже месяц знаем, что я произведен в унтер-офицеры. Я еще не был на кислых. Но дней на пять необходимо съездить. Теперь принимаю первый номер Александровских и уже сварился вкрутую.»*

Курс лечения Бестужев не закончил, пришел приказ о переходе колонны на Кубань, пришлось оставить Пятигорск и мчаться в Екатеринодар. Он сообщает брату Павлу: *«Хочу отведать, не лучше ли поможет горный воздух и дым пороха, чем Воды, которые, и впрочем, я не успел брать, как следовало. Бивуаки – плохой верстак для поэзии, а дух мой чернее, чем кто-нибудь»*. С первыми холодами выехал в Геленджик, где стоял его 3-й Черноморский батальон, прикомандированный к Тенгинскому пехотному полку.

В прапорщики Александра Александровича произвели на следующий год и перевели в Гагры, в то время самое губительное место на всем Черноморском побережье. Радуя своих братьев Николая и Михаила, он с горечью замечал: *«...Не знаю, как-то перенесу подлежащее мне испытание в Абхазии, куда я назначен. Батальон этот расположен в Гагре и Пицунде, в самых гробовых местах Черноморского побережья.*



Места эти имеют только морем сообщение между собою, и то чрезвычайно редко. Нет ни зелени, ни живности, потому, что за вал нельзя высунуть носа, а в самой крепости ходить – пули врагов с окрестных скал бьют людей даже на койках. Полтора комплекта в год поедается там цингою и лихорадками, и не было примера чтобы кто-нибудь выжил там более двух лет или после двух лет возвратился без страданий до конца жизни, – а жизнь коротка после Гагр. Впрочем, я полагаю надежду на Бога и на милость царскую».

Производство в офицеры не принесло Бестужеву ни облегчения службы, ни отставки, о которой он мечтал. Хлопоты графа М.С. Воронцова о переводе Бестужева в статскую службу с тем, чтобы предоставить возможность занятий литературой, оказались безуспешными. Император начертал резолюцию: «...Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью; он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы».

На время осенних военных действий Бестужева прикомандировали к Тенгинскому пехотному полку, а потом ... опять Грузия. Он пишет брату Павлу: *«Мы кончили экспедицию, любезный Поль, и, слышав чуму, держим двухнедельный карантин на Кубани. Скучна была война, но это испытание еще несноснее. Холод, снег, слякоть, а мы в летнем платье и в летучих палатках, к довершению благополучия, почти без дров...»*.

1837 год, последний в своей жизни, Бестужев встретил в Екатеринодаре, в январе проехал через Ставрополь, а в Тифлисе узнал о кончине А.С. Пушкина. Потрясенный он пишет брату Павлу: *«Я чувствую, что моя смерть будет также насильственной и необычайной, что она уже недалеко – во мне слишком много горячей крови, крови, которая кипит в моих жилах слишком много, чтобы ее оледенила старость...»*.

Александр Александрович успевает посвататься к княжне Ухтомской: *«очень умная, бойкая, светская*



девушка. Мила, но не хороша, sera bien lotee. Не знаю, удастся ли; но если и нет, то не с ее стороны будет отказ.» (Дарья Андреевна – Долли – станет женой декабриста Валериана Михайловича Голицына в январе 1843 года – **В.К.**).

7 июня 1837 года Бестужев принял участие в десантной операции на мысе Адлер. Командующий – генерал В.Д. Вольховский (лицейский друг А.С. Пушкина – **В.К.**) уговаривал Александра Александровича «... Отличиться или умереть вы всегда и везде успеете. У вас и без того довольно славы. Ваша жизнь дорога для России». Однако Бестужев просил неотступно. В рукопашной схватке прапорщик Бестужев был буквально растерзан горцами.

Павел Бестужев, служивший в то время в штабе военно-учебных заведений, первый получил горестную весть: ему же и выпала тяжкая обязанность известить всех членов большой семьи Бестужевых о кончине дорогого человека: *Судьба, которая так заботливо берегла его в стольких опасностях, вдруг так неожиданно и безвременно, среди его заветных дум, и мечты его возвратиться на родину, похоронила его на чужбине».*

Под строжайший тайный надзор...

В семье военного министра, героя Отечественной войны 1812 года, графа Петра Петровича Коновницына и его супруги Анны Ивановны было четверо сыновей и дочь Елизавета. Старший сын Петр, 1803 года рождения до 17 лет воспитывался дома, в службу вступил колонновожатым в Свиту Императора по Квартирмейстерской части, в 1825 году – подпоручик, член Северного общества. Иван, 1806 года рождения из Пажеского корпуса был выпущен прапорщиком весной 1825 года. Служил в лейб-гвардии Конной артилле-



рии. Знал о подготовке восстания на Сенатской площади, оказал сопротивление присяге Николаю I.

После подавления восстания братьев арестовали. Первое время они содержались в заключении в Кронштадте, откуда были перевезены в Петропавловскую крепость. Петра Коновницына осудили по IX разряду к лишению чинов, дворянства и к разжалованию в солдаты с определением в Семипалатинский гарнизонный батальон. Ивана Коновницына перевели из гвардии в конно-батарейную роту № 23 под строжайший тайный надзор. В Семипалатинском гарнизоне Петр Петрович задержался ненадолго. Спустя полгода его перевели в Отдельный Кавказский корпус в 8-й пионерный (саперный) батальон. 26 января 1827 года он пишет матушке из Владикавказа: «...Дорогу отсюда до Тифлиса буду делать верхом, что по моему нетерпению быть на месте и читать ваши дражайшие письма. Участь Лизы бедной меня ужасно тревожит (сестра – жена декабриста М.М. Нарышкина, последовала за мужем в Сибирь – **В.К.**). Ивана надеюсь видеть здесь, говорят, что роту его ждут сюда. Оканчиваю письмо, ибо конвой, с которым мы идем по горам, уже выступил, и мы спешим его догнать. Ваш по гроб покорный сын Петр Коновницын».

В связи с началом русско-персидской войны мать обращается к императору с просьбой о переводе сына Ивана Петровича в Грузию. 2 мая 1827 года «Государь Император высочайше повелеть соизволил конно-артиллерийской № 23 роты прапорщика Коновницына перевести в одну из рот Кавказского корпуса действующих войск...сие сделано по просьбе матери Коновницына».*

14 августа из лагеря в горах Салварети Петр Коновницын сообщил матери о встрече с братом: «Дражайшая Маменька, наконец, приезд милого Ивана обрадовал меня. Я теперь у брата в гостях. Он живет



в ауле и дом его (дымная землянка) нам кажется великолепным чертогом, ибо в ней дождь не мочит и солнце не жарит...».

Летом и осенью 1827 года братья принимали участие в осаде и взятии крепостей Сардар-Абада и Эривани. Из донесения командующего генерала Паскевича от 30 ноября 1827 года: «За время блокады крепостей Сардар-Абада и Эривани было мною дозволено всем офицерам и разжалованным изгладить усердной службой прежнее свое поведение, находиться при открытии траншей, поощряя прочих нижних чинов своим примером... Одежда Коновницына прострелена тремя пулями». За русско-персидскую войну Петр Коновницын был произведен в прапорщики. По отзывам сослуживцев он был одним из талантливых саперов батальона.

Анна Ивановна по совету родственников переехала ближе к Кавказу, в Ахтырский уезд Харьковской губернии, в принадлежащее ей село Никитовка. Зимой и весну 1828 года братья провели вместе в Тавризе и Эривани. В мартовском письме он сообщает матери: «Дражайшая Маменька, насилу мы выехали с братом 9-го числа из Тавриза и после семидневного путешествия верхом благополучно прибыли в Эривань». В мае Петр Коновницын расстался с братом «...который благополучно верхом отправился в Тифлис для исходатайствования себе отпуска к Кавказским минеральным водам...». В следующем письме Петр сообщает, что «Иван здоров и отпущен на Воды, ибо их рота, кажется, не будет участвовать в Турецкой войне. Спешу на турецкую границу в надежде, что после похода я получу в награду отпуск к Вам, маменька»

15 августа 1828 года начался штурм крепости Ахалцихе, совпавший с праздником Успения Пресвятой Богородицы. 8-й пионерный батальон выступил с Ширванским полком. Смелость Коновницына была



вновь отмечена в рапорте командующего корпусом: «... посланные двадцать сапер под начальством прапорщика Коновницына срубили палисады для прохода и из них устроили переправу через ров». За храбрость, проявленную во время штурма крепости, Петр Коновницын был награжден орденом Анны 4-й степени.

Летом 1829 года в Закавказский край приехал Пушкин. О своей встрече с декабристом Александр Сергеевич упоминает в «Путешествие в Арзрум»: «Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума».

В декабре Петра Петровича произвели в подпоручики, а весной 1830 в поручики. Он дождался, наконец, ожидаемого отпуска в Ахтырский уезд Харьковской губернии для свидания с матерью. В августе, возвращаясь из отпуска, заболел холерой и скончался 3 сентября во Владикавказе, где и был похоронен.

Иван Петрович Коновницын немало лет прослужил на Кавказе и вышел в отставку штабс-капитаном в 1836 году.

Он более виновен, чем другие

Михаил Александрович Назимов происходил из старинного дворянского рода Псковской губернии, он родился 19 мая 1801 года. В семье было две дочери и пятеро сыновей. После смерти отца вдова надворная советница Марфа Степановна смогла дать образование всем детям. Младший сын Михаил получил блестящее образование, окончил Санкт-Петербургский частный институт протоирея М.Б. Каменского. Юный Назимов начал военную службу очень рано, в пятнадцать лет юнкером, в 1817 году – он уже прапорщик, в 1820 – подпоручик. В сентябре 1825 года, будучи штабс-капитаном Конно-пионерного (саперного) эскадрона, стоявшего в Петербурге, вдруг подал



в отставку. В 1817-1818 годах Назимов служил в одной части, расквартированной у города Павловска Воронежской губернии, вместе с К.Ф. Рылеевым. Позже связь их возобновилась в Петербурге. В 1823 году вступил в Северное тайное общество, стал его деятельным членом. Во время восстания 14 декабря находился в отпуске в Пскове. Он выехал в Петербург, где был арестован. За отсутствием улик его освободили. Однако в ходе следствия над членами тайного общества, фамилия Назимов упоминалась несколько раз. 27 декабря Михаил Александрович был допрошен самим императором Николаем I.

Он находился в камере Петропавловской крепости, откуда ему было суждено 13 июля видеть казнь на Кронверкском валу повешенных пятерых своих товарищей.

Назимов был осужден по VIII разряду, приговорен к лишению чинов, дворянства и 20-летней ссылке. Мать обращается с прошением о свидании: «В вдовстве моем я оплакала потерю сына моего пушечным ядром под Данцингом в компании 1812 года раздробленного...». Марфе Степановне и брату Сергею позволили свидание. Больше им не суждено было встретиться – мать и брат умерли до возвращения Назимова на родину.

Ссылку Михаил Александрович отбывал в Верхнеколымске Якутской области, а с января 1827 года – в слободе Витим Киренского уезда Иркутской губернии.

В 1829 году Назимов подал прошение на имя Николая I: «Всемиловейший Государь, не лишите со свойственной Вам благосклонностью удостоить меня места в рядах храбрых воинов действующих армий Вашего Императорского Величества. Счастливым себя почту, если могу заменить в них собою рекрута...».

Мая 7-го дня 1829 г.
Слобода Витим.



Однако, Высочайшего соизволения не последовало. 24 июля 1829 года Военный министр Чернышев сообщал Иркутскому гражданскому губернатору, через которого было подано прошение, что «Высочайшего соизволения не последовало».

В августе 1830 г. Назимова из Витима перевели в г. Курган. В 1832 г. штабс-капитан лейб-гвардии саперного батальона Илья Назимов обратился к шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу с ходатайством о дозволении брату поступить рядовым в Отдельный Кавказский корпус. Ходатайство было отклонено Николаем I. В резолюции говорилось: «Он более виновен, чем другие, ибо мне лично во всем заперся, так что, быв освобожден, ходил в караул во внутренний и был на оном даже 6-го января 1826 года».

Только в 1837 году последовало разрешение на перевод Назимова рядовым на Кавказ. Из Кургана он в сопровождении урядника 8 октября прибыл в Ставрополь. В штабе войск Кавказской линии и Черноморья Назимов получил назначение в Кабардинский Егерский полк, стоявший в станице Пашковской, и 16 октября покинул Ставрополь. В эти дни в городе находился М.Ю. Лермонтов. Можно с полной уверенностью заключить, что знакомство Назимова с поэтом могло иметь место в первой половине октября 1837 года.

Весной 1838 года Михаила Александровича перевели в прикубанскую крепость Прочный Окоп, в 65 верстах от Ставрополя. В письме к декабристу И.Ф. Фохту в Курган Назимов делился своими планами: «А я жду разрешения по просьбе моей отправиться в большую экспедицию на берег Черного моря, там будет сделан десант для построения двух крепостей. Здоровьем своим доволен: раз только схватил лихорадку, в три дня отделался от нее одним голодом. Климат здесь здоровый, ветры беспрестанные, как в Кургане. Чем ближе к Черноморью, лихорадка чаще



и сильнее; там места низменнее и сырее. За Кубанью же начинается край подле большого снежного хребта, который лежит отсюда в полутораста верстах и в ясную погоду очень красиво рисуется под темной синевой неба на южном крае здешних далей...».

Летом Кабардинский Егерский полк участвовал в экспедициях в горы. Назимова, как специалиста по саперному делу, полковые командиры использовали при строительстве мостов, дорог, фортов.

В апреле 1839 года Назимов был произведен в унтер-офицеры. В 1840 году Назимов служил в Лабинском отряде под начальством командующего Кубанской линией генерала Г.Х. Засса. В плане отряда предполагалось устройство трех укреплений на Лабее. 25 апреля 1840 года отряд собрался в Прочном Окопе. А.П. Беляев вспоминал: «Из наших товарищей-декабристов в отряде были М.М. Нарышкин, М.А. Назимов, А.И. Вегелин и К.Г. Игельстром. Когда мы приехали, то в юрте Нарышкина всех нас помещалось пять человек».

В ноябре 1840 года Назимова произвели в юнкера. Служба его на Кавказе продолжалась около девяти лет. Только в 1846 году, когда все его товарищи вышли в отставку и он сам дослужился до чина поручика, Назимова уволили с военной службы. 22 июня 1846 года был подписан приказ об отставке Назимова «с производством в поручики».

Таким образом, декабрист полностью отбыл 20-летний срок наказания по приговору Верховного уголовного суда. В письме к И. Пущину Назимов сообщал: «На вопрос твой, кто из наших остался на Кавказе, кажется, я уже отвечал тебе, что никого. Я последний оставался там и возвратился оттуда...». (Последним оказался А.И. Сутгоф, переведенный рядовым из Сибири в 1848 году и окончивший свой жизненный путь капитаном в 1872 году в Боржоми. **В.К.**).



В 1840-1841 гг. Михаил Александрович неоднократно встречался с Лермонтовым в Пятигорске и Ставрополе.

О высоких моральных качествах М.А. Назимова сохранилось немало добрых отзывов его сослуживцев. К его словам и мнению прислушивались и нижние чины, и офицеры. А.П. Беляев так отозвался о нем: «По своему уму, высоким качествам, серьезности, прямоте характера, правдивости М.А. Назимов слыл и был каким-то мудрецом, которого слово имело для многих большой вес». Такого же мнения о Назимове мы встречаем в воспоминаниях декабриста Н.И. Лорера: «Немного людей встречал я с такими качествами, талантом и прекрасным сердцем...».

В декабре 1846 г. М.А. Назимов прибыл в г. Псков и обосновался в родовом имении Быстрецове Псковского уезда. По ходатайству псковского губернатора в 1853 г. с Назимова сняли полицейский надзор, разрешили въезд в Петербург, чем он сразу же и воспользовался.

П.Х. Граббе в звании генерал-лейтенанта был командующим войсками на Кавказской линии и в Черномории, знал многих ссыльных декабристов. Он оставил мемуары в форме «Памятных записок», в которых, в частности, упоминает М.А. Назимова: «12 февраля (1854) утром был у меня Назимов, бывший в мое время на Кавказе рядовым в Кабардинском полку по делу 14-го декабря, теперь в отставке, седой и глухой старик, но с душой, еще не усталой. Он хлопочет здесь о принятии изобретенного им для кавказских рек походного моста, поскольку понтоны там не годятся».

М.А. Назимов прожил долгую жизнь. Он скончался 9 августа 1888 года на 88-м году в Пскове.



«Я горжусь своими кандалами...»

«Дуэль была назначена на Михайлов день, 8 ноября 1824 года. Стрелялись члены Южного тайного общества подпоручики Михаил Бестужев-Рюмин и Владимир Лихарев из любви «pour une belle brune» (к красавице брюнетке).

В 1823 году пятнадцатилетняя Катенька, дочь сенатора, генерала Андрея Михайловича Бороздина, впервые появилась на балу в Киеве, сразу покорила сердца и вскружив головы молодым офицерам. Красавица ответила взаимностью Бестужеву-Рюмину. Он посещал имение Бороздиных и спустя год предложил Екатерине руку и сердце. Однако родители подпоручика не дали благословения. Исполнив волю отца и отказавшись от женитьбы, Бестужев-Рюмин тем самым скомпрометировал ни в чем не виноватую девушку... Итак, 8 ноября дуэлянты, секунданты и штабной лекарь в колясках выехали за город. Проследовали по тракту с пол версты, свернули на боковой проселок, миновали густые заросли подлеска и выехали на покатую лужайку. Утро было прозрачное, солнце угадывалось только по золотому краю неба. Дуэлянты поклонились друг другу и отошли на отмеренное расстояние в двадцать шагов, в напряженной тишине прозвучала команда по французски: «Attention! Approchez-vous!» (Внимание! Сближайтесь!).

Лихарев стрелял первым, и его пуля сорвала левый эполет с плеча противника. Ответная пуля пробила тонкое офицерское сукно и застряла в мягкой ткани правого бедра. Громко закричали вороны на деревьях. Владимир Николаевич медленно опустился на снег... В городе, осмотрев внимательно рану, лекарь посоветовал не трогать пулю. И только через десять лет пуля будет вынута.

Владимир Лихарев происходил из дворян Тульской губернии. В большой семье было четыре бра-



та и пять сестер. Владимир появился на свет осенью 1803 года. Воспитывался дома, в селе Коншинка Каширского уезда. В 1819 году поступил в Московское учебное заведение колонновожатых, основанное Н.М. Муравьевым, откуда был выпущен по экзамену прапорщиком и назначен в Главную квартиру 1-й армии. В июне 1821 года Лихарева командировали на топографическую съемку земель военного поселения Бугской и 3-й Уланской дивизий, где он увидел подлинную жизнь крепостной деревни:

«Разъезды по поселениям колонистов дали мне возможность непосредственного общения с крестьянами. Я увидел, что они угнетены и несчастны. Я принялся писать против этого учреждения с жаром и горячностью».

Лихарев стал принимать участие в собраниях Каменской управы Южного общества. Весной 1825 года к Лихареву подослали провокатора, коллежского советника Бошняка, который сумел завоевать доверие офицера и узнать о существовании тайного общества. Бошняк доносил: «Лихарев писал многие статьи и приобрел доверенность Пестеля и даже имеет некоторое влияние на полагаемые им решения...»

Исторический факт: 18 октября 1825 года в Таганроге командир 3-го кавалерийского корпуса генерал И. Витт объявил Александру I о раскрытии им заговора офицеров. В числе подлежащих аресту значился подпоручик квартирмейстерской части В. Лихарев. А в это время Владимир Николаевич наслаждался своим молодым счастьем. 17 августа он обвенчался с Екатериной Бороздиной. Супружеская чета поселилась под Киевом в селе Яновка Чигиринского уезда в доме Иосифа Поджио (члена тайного общества), который был женат на Марии Бороздиной, сестре Екатерины.

29 декабря в Яновке послышался звон колокольчика. За кем едут? Ждать ответа пришлось недолго.



Две сестры, беременные, вышли на крыльцо. Коляска стояла на дороге против ворот. Фельдъегерь представился и предъявил документ на арест Лихарева. (За И. Поджио приедут в январе).

Владимира Николаевича доставили в Петропавловскую крепость. На допросах он держался стойко, утверждал, что целью его вступления в тайное общество было просвещение народа, а обвинение в призыве к свержению монархии начисто отвергал. В письме к сестре Елизавете писал: «Несчастье, которое другие оплакивают во мне, не способно меня убить, я горжусь своими кандалами... Я смогу остаться с поднятым челом перед судом Божеским и людским».

Обращаясь к председателю комиссии военного суда генерал-адъютанту В. Левашову, Лихарев эмоционально объяснял свои поступки как проявление патриотического чувства: «Все мои действия имели цель, которую я не боюсь высказать перед Богом и людьми – любовь к Отчизне. Должен ли я погибнуть из-за любви к ней? Мне двадцать два года, и история моей жизни перед вами...»

Верховный уголовный суд приговорил Лихарева к лишению чинов и дворянства, каторжным работам сроком на год и дальнейшему поселению в Сибири.

Екатерина Лихарева родила сына. С грудным ребенком, без согласия отца, она переезжает на жительство к свекрови Пелагее Петровне, в Коншинку, оставляет маленького Коленьку, а сама спешит в Санкт-Петербург на свидание с мужем.

В феврале 1827 года декабриста отправляют в Сибирь, а весной 1828 г., по окончании срока каторги, переводят из Читинского острога в Кондинск Тобольской губернии. Год спустя на имя Николая I поступает всеподданнейшая просьба: «Приносим прошение Вашему Императорскому Величеству о повелении поступить виновному в рядовые одной из действующих



армий, дабы мог он кровью своей смыть преступное заблуждение.

Пелагея, Петрова дочь, вдова ротмистра Лихарева; Екатерина, Андреева дочь, жена бывшего подпоручика Лихарева».*

На сие прошение Высочайшего соизволения не последовало, но Лихарева переводят в Курган.

Екатерина Андреевна жила несколько лет в Коншинке, имении родителей мужа, затем переехала в Ялту, где служил ее отец. Там А. М. Бороздин добился развода своих дочерей с декабристами Лихаревым и Поджио. В 1836 году Екатерина Андреевна стала женой гвардейского прапорщика Льва Шостака.

А через год по ходатайству наследника престола Александра Николаевича, посетившего в июне г. Курган, Лихареву вместе с товарищами его М. Нарышкиным, М. Назимовым и Н. Лорером было Высочайше разрешено вступить в военную службу рядовым в Отдельный Кавказский корпус. По пути, в Тобольске, к ним присоединились А. Одоевский и А. Черкасов.

В Ставрополе рядовой Лихарев получил назначение в Куринский пехотный полк. Владимира Николаевича зачислили в отряд генерала Н. Раевского, и он участвовал в течение двух лет во всех десантных операциях и строительных работах на берегу Черного моря. Из письма Лихарева сестре: «Милая и дорогая Катя! Я заболел гораздо серьезнее, чем раньше, после моего последнего письма, которое, как помнится, я Вам писал почти больным. Генерал заставил меня покинуть отряд, где я, конечно, умер бы, ибо трудно представить себе, что такое лагерная жизнь на войне. Итак, теперь я в Тамани, в госпитале и до сих пор не могу вернуть ни здоровья, ни сил. Я никогда не решился бы просить об этом переводе и обязан им исключительно дружбе генерала; этот перевод, может быть, спасет мне жизнь. О, дорогая сестра, не могу ска-



зять Вам, как я страдаю и не столько от физических немощей, сколько от нравственных мук, которые разрушают здоровье вернее, чем все телесные мучения...»

В сентябре М. Федоров, однополчанин Лихарева, встретил декабриста в Таманском госпитале и говорил, «что на вид ему было не более как 35 лет»: он был худощав, болезненного вида, молчалив и постоянно или читал, или раскладывал пасьянс... вообще же заметны были в нем глубокая тоска и душевные страдания...»

Весной 1840 года Владимира Николаевича возвратили в Куринский пехотный полк на левый фланг Кавказской линии. Он пишет письмо Н. Лореру, оставшемуся в отряде Раевского: «...Настоящее мое положение незавидное: ты это ясно увидишь, если немного обратишь на него внимание. Право, не на радость я живу и жизнь тяготит меня: дни и годы уходят, производство мое что-то приостановилось, представление пошло – ответа нет, все это тревожит, беспокоит меня. Когда будем на милой свободе?»

За участие в экспедициях Лихарева произвели в унтер-офицеры, но приказ о производстве уже не застал его в живых. 11 июля, после боя при Валерике, Владимир Николаевич погиб от шальной пули на глазах М. Лермонтова. Н. Лорер, также участник валерикского сражения, сделал позже приписку на письме Лихарева: «Этот милейший человек был убит в экспедиции против черкесов. Кончились его страдания. Помню жаркое дело. Они стояли вместе с Лермонтовым, спорили о философии Канта, из них один был убит».

Здесь уместно привести воспоминания еще одного очевидца: по словам жены сына декабриста Зинаиды Сергеевны Лихаревой, Николай слышал подробности смерти отца от Н.С. Мартынова, который утверждал, что в день кончины Владимир Николаевич ехал с ним после боя, когда, увидя вдруг какой-то неболь-



шой неприятельский отряд, поскакал стремительно туда и мгновенно был убит. Мартынов был убежден, что это было своего рода самоубийством...

Среди вещей Лихарева нашли превосходной работы миниатюрный портрет красивой женщины с печальными глазами – Екатерины Андреевны Бороздиной.

Оценка, данная Н. Лорером, не требует комментария: «Лихарев – один из замечательных людей своего времени. Он был выпущен из школы колонновожатых в Генеральный штаб и при аресте состоял при графе Витте. Он отлично знал четыре языка и говорил, и писал на них одинаково свободно, так что мог занять место первого секретаря при любом посольстве. Доброта души его несравненна. Он всегда готов был не только делиться, но «что еще труднее, отдавать свое последнее».

***P.S.** Сын декабриста Николай Владимирович Лихарев спустя 6 лет после гибели отца поступил добровольно на службу рядовым, т. к. не смог доказать своего дворянского происхождения (напомним читателю, что Владимир Николаевич был лишен дворянства). Он приехал на Кавказ и принял участие в войне с горцами. Николай Владимирович был во множестве мелких стычек, рекогносцировок и сражений в течение 1846-1848 гг. и был произведен в прапорщики, словно продолжив боевой путь отца.*

Автор приносит благодарность Элеоноре Борисовне Лихаревой (г. Москва) за предоставленные материалы из семейного архива.



Друг пестеля и Лермонтова

Николай Иванович Лорер, 1795 года рождения, принадлежал к дворянам Херсонской губернии. Предки Лорера – французы, которые переселились в Германию. Отец – Иван Иванович, херсонский вице-губернатор, выходец из Пруссии – женился на грузинской княжне Екатерине Евсеевне Цициановой. Отец умер рано, оставив семерых детей. Вдова вынуждена была отправить некоторых из них на воспитание к более состоятельным родным и знакомым. Николая взял богатый полтавский помещик П.В. Капнист.

Николай Иванович начал военную службу в лейб-гвардии Литовском полку, в составе которого участвовал в заграничных походах 1813-1814 гг., вплоть до вступления русской армии в Париж. Поручик в 1818 году, майор – в 1822.

В начале 1824 года Лореру пришлось оставить службу в гвардии «по недостатку в содержании». Князь Е.П. Оболенский, принявший Лорера в члены тайного Северного общества, посоветовал ему просить перевода в Вятский пехотный полк к П.И. Пестелю. Павел Иванович назначил майора Лорера командиром 1-го батальона своего полка, квартировавшего в Подольской губернии. Так Николай Иванович стал одним из самых близких друзей руководителя Южного общества и ревностным его помощником. Лорер выполнял обязанности секретаря Пестеля, участвовал в создании «Русской правды», программного документа Южного общества.

После подавления восстания на Сенатской площади, Лорера, как и многих его товарищей, доставили в Петропавловскую крепость. В донесении на имя команданта от 3-го января 1826 года говорилось: «Присылаемого при сем Лорера содержать под строжайшим арестом».

В последний раз Лорер увидел руководителя Южного общества при оглашении тому смертного приго-



вора. Они столкнулись в смежной комнате. Пестель обнял Лорера:

– «Прощай, друг!»

– «Прощайте, Павел Иванович!»

Их развели конвойные.

Николай Иванович был осужден по IV разряду и приговорен в каторжную работу на 8 лет в Читинский острог. По указу в ноябре 1832 года Лорер был обращен на поселение в город Курган Тобольской губернии. Спустя 5 лет в судьбе Николая Ивановича произошел крутой поворот. По высочайшему повелению его и других декабристов перевели рядовыми в полки Отдельного Кавказского корпуса.

По поводу своего перевода Лорер сказал: «если это новое наказание, то должны мне объявить мое преступление, ежели милость, то я могу от нее отказаться, что и намерен сделать.

– Ничего не знаю, – ответил городничий. Я получил депешу, по которой Вас требуют в Тобольск, для отправки оттуда на Кавказ солдатами».

В Ставрополе Лорера определили на правый фланг Кавказской линии в Тенгинский пехотный полк, штаб которого находился в Екатеринодаре.

В 1838 и 1839 годах произведенный в унтер-офицеры Лорер участвует в закладке и строительстве фортов на Черноморском побережье: Вельяминовского, Лазаревского, Тенгинского, Головиновского, Раевского.

С октября 1840 года Лорер – прапорщик. В декабре, находясь на лечении в Фанагорийском военном госпитале, вблизи Тамани, Николай Иванович познакомился с М.Ю. Лермонтовым. Общение их продолжилось летом 1841 в Пятигорске, куда Лорер прибыл для «пользования кавказскими минеральными водами».

Как известно, великий поэт с большим интересом и сочувствием общался с декабристами и они отвеча-



ли ему взаимностью. Им довелось затем проводить Лермонтова в последний путь после печально знаменитой дуэли.

На похоронах поэта 17 июля Лорер присутствовал как представитель от Тенгинского пехотного полка. Осенью Николай Иванович покинул Пятигорск и зиму провел в Керчи. В апреле 1842 года он дождался отставки и отправился на родину в Херсонскую губернию.

19 апреля 1842 года, в письме к декабристу А.Ф. Бриггену в Курган декабрист М.А. Назимов сообщал друзьям Лорера: «В заключение порадою Вас доброю вестью о нашем Циммермане (Шутливое прозвище Николая Ивановича среди декабристов, приписывавших ему любовь к уединению. Циммерман Иоганн Георг – немецкий писатель, автор философского трактата об уединении – **В.К.**). Будучи уволен в отставку, он с нынешнего месяца отправился из Керчи на покой в деревню своего брата. Там уже приготовлен ему хорошенький домик со всеми удобствами и даже прихотям по его вкусу. Брат и невестка его отлично добрые люди, как Вы знаете.»

Николай Иванович скончался в 1873 году, оставив «Записки декабриста» – историческо-литературное наследие декабризма.

ДРУЗЬЯ НАЗЫВАЛИ ЕГО БОРОДА

В тринадцать лет от роду он уже воевал с Наполеоном. В 1825 г. подозревался в причастности к декабрьским событиям на Сенатской площади. А спустя еще тринадцать лет стал губернатором в г. Ставрополе.

В статье «Очерки моих воспоминаний», опубликованной в журнале «Русская старина» за 1906 г., некая Неведомская-Динар пишет: «Родилась я в Петербурге. Отец мой был декабрист. (Вот так сразу! – **В.К.**). В первый год женитьбы его заключили в Петропавловскую



крепость. Как ему удалось быть освобожденным, нам не было известно, тогда, в николаевское время, все держалось в тайне, и разоблачение такого рода наводило страх. Мать моя была урожденная Львова, семейство, известное своею многочисленностью и своим музыкальным дарованием, сестра Алексея Федоровича Львова, знаменитого скрипача, композитора народного гимна и многих церковных и светских сочинений. У моей матери был чудный, единственный в своем роде голос, контральто, который восхищал всех; она воспитывалась в музыкальном семействе у своего отца, Федора Петровича, директора дворцовой певческой капеллы. Она давала мне первоначальные уроки музыки; я помню себя на Кавказе в Ставрополе, где мой отец был губернатором, мне тогда было семь лет, и я играла Крамеровы этюды наизусть, мать моя много там пела и иногда предлагала послушать свою дочурку. Я была еще так мала, что нос трогал клавиши рояля, но это не мешало с восторгом петь мамины романсы.

Воспитывали нас очень строго; мать моя, несмотря на свое официальное положение, с раннего утра занималась нами... На праздниках приучала нас думать о бедных, немущих, старых, больных. Елки не для нас готовились, а мы сами их украшали для бедных города и детей приюта – в этом все было наше удовольствие и счастье... Из Ставрополя отец мой был назначен губернатором в Вильну...».

Надежда Алексеевна Неведомская-Динар (ее сценический псевдоним) была дочерью Алексея Васильевича Семенова. Москвич А.В. Семенов, ровесник Пушкина, родился в 1799 году, воспитывался в Московском университетском пансионе. Алексею было всего тринадцать лет, когда началась Отечественная война, но он поступает на военную службу прапорщиком 1-го казачьего полка в Калужское ополчение. Делает это 2 сентября, в день вступления Наполеона в Мо-



скую. Юный защитник Отчизны участвовал в боевых действиях Отечественной войны и заграничных походах. В его формуляре есть запись: «...в сражении против французов в Смоленской губернии при местечке Хмары: 15 и 16-го числа октября 1812 года, с 12 августа и по 21 число декабря 1813 года во время блокады и осады г. Данцига как в ночных неприятельских вылазках с действием, так и при блокировании города, будучи при производстве траншейных работ находился».

Именно там в 1813-1814 гг. были закреплены дружеские связи будущих членов «Священной артели». Друг А.С. Пушкина – Иван Пущин вспоминал: «Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Калошин и Семенов (Пущиным названа лишь часть ее членов. – В.К.). Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими в тайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком; я сдружился с ним, почти жил в нем...».

Артель, возникшая сначала как средство улучшения материального положения среди гвардейских и армейских офицеров, превратилась в «мыслящий кружок», явилась ранней преддекабристской организацией, а может быть, и первой тайной декабристской, т.к. имела политический характер и конспиративные черты. Члены «Священной артели» были настроены республикански, многие положения, разработанные ими, вводились затем в уставы тайных обществ «Союза Спасения» и «Союза Благоденствия», т.е. они возникли не на голом месте, их подготовили в какой-то мере и те, кто ранее был в артели. Список членов Коренной управы образованного в 1819 г. «Союза Благоденствия» (по работам академика М.Н. Нечкиной) насчитывал 29 фамилий. Среди них особенно знако-



мые нам Граббе и Семенов. Оба они принимали самое активное участие в деятельности тайного общества. Спустя почти двадцать лет судьба свела их на Кавказе, в Ставрополе.

В 1826 г., отвечая на вопросы следствия, А. Семенов писал: «...Долго находился я в военной службе, которую продолжал двенадцать лет, с 1815 г. служил в лейб-гвардии Егерском полку, из коего по болезни уволен в отставку 1824 г. декабря 28-го...» (капитаном. – **В.К.**). Он упорно отрицал свое участие в совещаниях общества: «В 1825 г. пробыл я в Москве не более полутора месяца и ни в каких совещаниях не бывал, о намерениях Северного общества на 14 декабря не знал, да и знать не мог... Жил большей частью в деревне под Москвою в Калужской губернии. 15 сентября прибыл в Петербург насчет службы и женитьбы... Знаком был с Рылевым, у коего ночевал однажды во время его болезни, с Оболенским и Пуцциными (Иваном и Михаилом. – **В.К.**). Но никогда от них ничего не слышал, могущее подать мне... малейшее подозрение о их намерении...».

Вот как вспоминал об этом же периоде И. Пуцин: «Прошлого года возвратился я из Петербурга в Москву в феврале месяце (1825 г. – **В.К.**) в бытность там в отпуску Евгения Оболенского. С ним начали рассуждать о средствах действовать для общества в Москве... Тогда он сказал мне, что надобно собрать тех общих знакомых, которые, по наблюдениям нашим, принадлежали к обществу... Тут назначил он день, в который приехали к нему двоюродный брат его Сергей Николаевич Кашкин, свиты отставной подрядчик Алексей Алексеевич Тучков, титулярный советник Иван Николаевич Горсткин, Бородинского полка полковник Михаил Михайлович Нарышкин, отставной капитан Алексей Васильевич Семенов, титулярный советник Калошин и я. Таким образом, соединившись, составили управу, в которой я поименованными членами избран председателем для сношения с



Петербургом». То же самое подтверждает и декабрист С. Кашкин: «В 1825 г. приезжал в Москву князь Оболенский, который пригласил меня на совещание общества. Здесь нашел я Пуцина, Алексея Тучкова, полковника Михаила Нарышкина, Павла Калошина, Алексея Семенова...». Рассуждали, кстати, о возможности ввести в России конституцию, правда, оговаривали, «что общество не имеет средств к производству оногo». Безусловно, роль московской организации, ее членов была не такой активной, как в Петербурге, но организационная и практическая работа велась. Таким образом, показания А. Семенова об отсутствии его в 1825 г. в Москве являются... не совсем верными.

К. Рылеев, отвечая на допросе Высочайше Утвержденному Комитету, сказал: «Надворный советник Алексей Семенов к тайному обществу принадлежал, но о намерении общества произвести 14 декабря известные неурядица не знал... никто ему о том не сообщал, а равно и на совещаниях у меня, ни у Оболенского он ни разу не был». Разумеется, А. Семенова арестовали. Находясь под арестом на главной гауптвахте, он сообщил родственникам, что ему назначена очная ставка с Оболенским и Пуциным и «тут должна участь его решиться».

Шурин Семенова Алексей Федорович Львов вспоминал: «Пуцин, лишь вошел, спросил Семенова, здорова ли его жена, и тотчас объявил, что все им сказанное на его счет было вымышленно, и отречение свое подписал. Благородный поступок несчастного Пуцина спас Алексея Васильевича. Дней через несколько вечером мы были с Дарьей Федоровной (Семеновой. – В.К.) у ее друга, как прибегает плац-майор с объявлением, что он свободен...». Именно ли ответы Пуцина принесли Семенову освобождение – сказать трудно. Ведь даже дочь Надежда Алексеевна на склоне лет не назвала причину оправдательного приговора.



Об обществе знал и принадлежал, но не донес. Только за одно это император Николай I расправился со многими декабристами. Известны слова А. Раевского в ответ на обвинения Николая I в том, что Раевский изменил присяге, не донес о тайном обществе: *«Государь! Честь дороже присяги, нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще!»*.

Семенов не донес, потому что был человеком чести. Приговор гласил: *«...4-го числа сего июня освобождены по высочайшему повелению из-под ареста содержавшиеся по делу о злоумышленном обществе нижеследующие лица: ...коллежский асессор Грибоедов, ...служащий в Департаменте внешней торговли надворный советник Семенов...»* и другие. Прошли годы. После кончины А. Вельяминова весной 1838 г. в Ставрополе командующим войсками Кавказской линии и Черномории, начальником Кавказской области стал генерал Павел Христофорович Граббе. Напомню, что из-за своей причастности к «Союзу Благоденствия» он был привлечен к следствию по делу декабристов в 1826 г. и просидел четыре месяца в крепости. Гражданским губернатором Кавказской области назначили действительного статского советника А.В. Семенова. Здесь, в Ставрополе, он прослужил два года: 1838-1839. На Кавказе в то время служило еще немало ссыльных декабристов. Оба высших начальника, конечно, знали многих: М. Нарышкина, А. Розена, М. Назимова, В. Голицына, Н. Лорера и др. И оба делали все возможное, чтобы облегчить их судьбу. Деятельность П. Граббе и А. Семенова на Кавказе была достаточно активной как в военной, так и в общественной жизни. К примеру, А. Семенову принадлежала мысль об издании «Ставропольских губернских ведомостей». 26 октября 1839 г. он представил ходатайство П. Граббе. Тот, в свою очередь, отнесся одобрительно и поддер-



жал его со своей стороны перед Главнокомандующим в Грузии генерал-адъютантом Головиным. Однако из-за отсутствия средств вопрос был отложен.

Покинув Ставрополь, А. Семенов, как уже было сказано выше, служил губернатором в Вильне и в Минске. С 1850 г. – сенатором в Москве, а затем в Петербурге. В 1861 г. издал книгу «Движение законодательства о Внешней торговле и промышленности в течение 5 лет с 19 февраля 1855 г. по 19 февраля 1860 г.». И до конца своих дней, занимая высокие должности, Алексей Васильевич сохранял дружбу с декабристами – друзьями своей молодости. Недаром Иван Пущин, вернувшийся из сибирской ссылки, в феврале 1858 г. писал жене Наталье Дмитриевне: *«Ужели я никогда не говорил тебе о Семенове-бороте (таково было у нас во время оно прозвище Алексею Васильевичу, которого ты встретила у старого полкового командира, твоего дядюшки)? Когда-нибудь миллион смешного тебе передам о бороде».*



Сведения об авторах

Блохин Николай Федорович. Родился в 1952 г. в селе Калюжном на Ставрополье. Журналист, литературовед. Лауреат премий им. Б. Горбатова Союза журналистов Украины, Всероссийской журналистской «Пегас-2004». Исследователь жизни и творчества выдающихся соотечественников. Живет в Ставрополе.

Дедусенко Идиллия Владимировна. Родилась в Сталинграде. Окончила Ставропольский пединститут. Преподавала в школе, дальнейшая судьба была связана с журналистикой. Многие годы работала в газетах «Ставропольская правда» и «Кавказская здравница». Член Союза журналистов СССР. Член Союза писателей России. Автор многих книг. Лауреат краевой журналисткой премии им. Г. Лопатина и международного фестиваля «Золотой витязь». Живет в Ставрополе.

Кравченко Виктор Николаевич. Родился в Тбилиси. Выпускник Пятигорского института иностранных языков. Работал переводчиком, преподавателем, экскурсоводом, инструктором по туризму, старшим научным сотрудником краеведческого музея. автор многих книг по историческому краеведению, исследователь жизни выдающихся россиян. Отмечен медалями Российского Лермонтовского комитета и Кавказской академии. Член союза писателей России. Живет в Ставрополе.

Маслов Анатолий Михайлович. Родился в 1950 году на хуторе Веселом Ставропольского края. Служил в армии. Окончил Ставропольский пединститут. Много лет учительствовал в сельской школе. Занимается крестьянским трудом. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живет в поселке Передовом.



Мосиенко Александр Алексеевич. Родился в 1935 году в станице Зольской на Ставрополье. Окончил Пятигорский институт иностранных языков. Многие годы возглавлял вузовскую газету. Прозаик. Поэт. Драматург. Автор многих книг. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии губернатора Ставропольского края. Живет в Пятигорске.

Петров Владимир Григорьевич. Родился в 1946 году в Пятигорске. Окончил Борисоглебский пединститут. Преподавал в школе, многие годы проработал в проектном институте. Автор многочисленных публикаций в периодике. Автор четырех книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Пятигорске.

Подольский Станислав Яковлевич. Родился в 1940 году в Кисловодске. Окончил Новочеркасский политехнический институт. Автор многих книг стихотворений и прозы, которые получили высокую оценку коллег по перу и читателей. Трижды лауреат премии губернатора Ставропольского края. Признанный воспитатель литературной смены. Член Союза российских писателей. Живет в Кисловодске.

Чубченко Вера Павловна. Родилась в г. Георгиевске Ставропольского края. Окончила Ставропольский государственный университет. Работает юрисконсультантом. Публиковалась в периодике. Автор поэтического сборника «Притяжение сердца». Живет в селе Краснокумском.